

МУЗЕЙ ОДНОГО РАССКАЗА

МУЗЕЙ ОДНОГО РАССКАЗА

АНТОЛОГИЯ



БИБЛИОТЕКА «КРЕЩАТИКА»
ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА



ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР
ОЛЕГА ФЕДОРОВА

Андрей ГУЩИН (*Киев*)
Игорь ШЕСТКОВ (*Берлин*)
Анатолий НИКОЛИН (*Марнуполь*)
Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ (*Кёльн*)
Станислав БЕЛЬСКИЙ (*Днепр*)
Борис МАРКОВСКИЙ (*Бремен*)
Людмила ЗАГОРУЙКО (*Широкий Луг*)
Григорий ВАХЛИС (*Иерусалим*)
Михаил ОКУНЬ (*Аален*)
Елена МОРДОВИНА (*Киев*)
Марк ЗАЙЧИК (*Тель-Авив*)
Геннадий КАЦОВ (*Нью-Йорк*)
Александр МОЦАР (*Киев*)
Олег НИКОФ (*Киев*)
Александр СПРЕНЦИС (*Киев*)
Сергей КОРОЛЁВ (*Аугсбург*)

МУЗЕЙ
ОДНОГО
РАССКАЗА

Антологія

Друкарський Двір
Олега Федорова
Київ, 2025

УДК 821.161.1-32(100)

М 44

СЕРІЯ «Библиотека “КРЕЩАТИКА”»

Заснована у 2023 році

М 44 Музей одного розповіді / Антологія — Друкарський двір
Олега Федорова. Київ, 2025 — 312 с.

ISBN 978-617-8484-05-7

В антології «Музей одного розповіді» зберігаються дагерротипи
сломавшегося часу, зарисовки ушедшей реальності, котра
ніколи більше не повториться, картини життя, завжди зали-
шеної в минулому. К шкоду, один із авторів антології остали-
ся в тому часі завжди.

УДК 821.161.1-32(100)

ISBN 978-617-8252-14-4 (серія БК) © Складання, Б.Марковський С., 2025

ISBN 978-617-8484-05-7 © Федоров О.М., видавець, Київ 2025

Андрей ГУЩИН

(*Киев*)

СТРЕЛА ЗЕНОНА

Вступление

Слышишь, как шумят смереки? Наступают сумерки, и во дворцах зажигают камины.

Грациозные доги вытягиваются на звериных шкурах и наблюдают за хозяевами, бьющими хрусталь и выясняющими невыяснимое — отношения.

1. НВП

Куксов носит зелёную военную рубашку, частенько плохо выбрит. Щетина седая, а лицо ещё бодрое. Взгляд хитрый. Был ли он на войне — неизвестно, но шрам вроде бы от осколка на подбородке имеется. Его любимый вопрос на НВП: «Что такое строй?». Отвечать нужно: «Строй есть установленное уставом размещение военнослужащих... в пешем порядке и на машинах». Из-за ранения или дефекта речи вопрос звучит так: «То такой строй?». Это уже философская постанковка. На НВП мы изучаем устройство автомата Калашникова, разбираем и собираем его на время, стреляем в подвале из винтовки. На занятиях строевой нужно тянуть ногу и впечатывать ботинок в асфальт. Девчонок обычно отпускают на время этих уроков, и они с любопытством наблюдают за нашей нестройной шеренгой. Занятия на улице бывают ранней осенью или

весной. Светит солнце, хочется убежать к морю, зайти в «Ореанду», посидеть в новеньких финских креслах, выпить чаю. Но нет — «На первый-второй рассчитайсь!».

На 9 мая Куксов пьёт водку, играет на баяне. Крашенная шевелюра с зеленоватым оттенком, как у Воробьянинова. Из каптерки доносится нестройный хор голосов, в том числе женских. Куксов часто ругается с Верой Леонидовной, нашей директрисой:

Она:

— Я на вас в горком буду жаловаться!

Он:

— Да пиши ты кому хочешь, так твою растак.

Она:

— Не выражайтесь при детях.

Единственный человек, который может осадить Куксова, это наш трудовик. Однажды в ответ на брань Куксова трудовик заорал страшным голосом: «Молча-а-а-ать». И тот осёкся.

Нас Куксов не любит. Все у него в прошлом: «Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах...».

А вот его дружок, похожий на персонажа из сказки братьев Grimm. Мы зовём его «дядя крот». Он кочегар, зимой и летом ходит в пыльных стоптанных ботинках и халате мышинного цвета. Всегда выпачкан в угольной пыли, молчалив, небрит. Росточка махонького — метр пятьдесят, не больше. Вход в его угольный подвал — напротив старого разросшегося кедра. Девчонки расчерчивают асфальт, чтобы поиграть в классики. Он ругается и прогоняет их, потому что они загораживают проход.

Возле этого самого кедра я однажды подрался с парнем из параллельного по фамилии Король. У турника собиралась «мужская» компания. Акселераты курили, а я ещё был недорослем и говорил дискантом. Мама даже водила меня к фониатру. Тот, осмотрев меня, спросил строго:

— Куришь?
— Нет, — честно ответил я.
— И не кури, не надо.
— Идите, — сказал он матери, с ним будет все в порядке.

Прошли годы. Новые Куксовы с красными сморщенными личиками возвещают миру о рождении — кричат о своей крошечной боли, потере внутриутробной тишины. Затем изгнание, заброшенность в мир и зелёная армейская рубашка. Призраки грядущих войн. Всегда одинаковых. Круги ада от Трояды до Украины. Как в арии «Гений холода» Перселла: «Кто потревожил мой дух, вызвал к жизни от вечного хлада?». А может, дух его уже в эмпирее, небесные соловьи затянули бесконечное «аллилуйя», а нам впору писать новый акафист.

2. Зе Сити оф Ландан

О, Большой Бен! И не такой уж большой, а скорее внушительный, таинственный страж Времени. Неподалёку памятник Боадикки, королеве варваров, давшей бой римским культуртрегерам. В конце концов смелые кельты под её началом пали под ударами железных легионов. А ей воздвигли памятник.

В Лондоне я писал верлибром: «Пикты — от слова пищать, а Евросоюз однажды вольётся в Соединённое королевство». Правда, вышло наоборот, но ещё не вечер. А шотландцы навели такого шороху, что римляне возвели Адрианов вал.

За Биг Беном, за мостами — другая жизнь. И англичане другие — попроще. Здесь сохранился трущобный дух. И положение не спасает ни ультрамодный Каунти Холл, ни Колесо Тысячелетия. Тут саксы, там — рыцари, норманны с удлинёнными лицами и овсянкой. Здесь рожи круглее, носы краснее. Эль льётся из кранов в уютных семейных пабах.

Я часто гулял по этой набережной с Луквесой. Назовём ее афро-англичанкой. В будущем она станет известной тележурналисткой. А сейчас она просто Луквеса Бурак — коренная жительница, дарящая мне глянцевые бесполезные блокноты «для стихов». Аквариум. Вестминстер чудовищный и таинственный. Конные статуи забытых монархов. Марсиане, и те, наверное, ближе нам по духу.

А в Бате — развалины Римских терм. Водоём с неестественно синей купоросной водой. И тянет помолиться Деве озера, как в стародавние времена, принести ей терракотовый вотив.

Я каждый день хожу на работу мимо Сент-Пола. В англичанах ещё теплится христианский дух. Служатся торжественные мессы. Королева председательствовала на праздничных богослужениях как глава англиканской церкви. И все же меня не покидает ощущение, что из холмов вышел малый народец. Дети с удовольствием молятся Гарри Поттеру. Видимо, недалёк тот день, когда король Артур вернётся из длительной командировки на Авалон.

Французский ресторан *Le Palais du Jardine*. Однажды я заказал морепродукты. Официант вынес огромное блюдо с неочищенными креветками и половинкой неразделанного омара. К блюду прилагался набор специальных щипцов и молоточков для разделывания и выуживания из раковин нежной плоти. Устрицы жалобно пищали, обливаемые лимонным соком. В этом же ресторане я горько разрыдался перед отъездом.

Видите того сутуловатого йоркширца, расплачивающегося с официантом? Йоркширец обводит взглядом беспечных посетителей, уплетающих изысканные яства, и покидает зал. Так, не прощаясь, по-английски уходит Время.

Сегодня солнечно. И вообще дождь здесь, вопреки устоявшемуся мнению, редкость.

3. Институт

Римма Михайловна, репетитор по английскому, так напутствовала меня: «Поезжай, конечно. Не поступишь — осенью продолжим с тобой заниматься». Но я поступил! Река промыла иное русло. Что ждало бы меня, останься я в Симферополе? Ведь была уже Катя Тимкина, которой я посвятил чудовищный вирш «Турчанки дочь». Стал бы переводчиком или учителем английского. Был уже в нашей школе один такой Белобров. Слушал «Deep Purple». Поговаривали, что изгнан за аморалку из института Мориса Тореза. Он научил нас говорить вместо постного «уес» шикарное «sure». Это словечко не из пыльных словарей, а живое, пахнущее трансатлантическими перелётами. После 8-го класса я проходил практику в институте «Магарач». Ребята уехали на сбор розы, придумывали рок-группу «Freens», дрались с местными и мылись в вонючей (оксюморон) совхозной бане. А я ходил в скучнейший читальный зал и заставлял там молодую женщину, писавшую диссертацию. Была она хорошенькой, но научные труды лишали её свежести. Отяжелевшая, с кругами под глазами, была она для подростка олицетворением рутины, царящей в научных коридорах. Нет, говорил я себе, ни за какие коврижки не стану просиживать штаны в подобных стенах. Но потом окончил юрфак и стал просиживать. Не в накоплениях суть. Оставим их скопиdomам. А в новых впечатлениях, встречах. «В движеньи мельник жизнь ведёт. В движеньи». Глуповато по форме, но верно.

Газон с зеленеющей травкой, по траве бродит человек в коричневом костюме, коричневых туфлях и таком же берете. Он наклоняется периодически и что-то внимательно разглядывает на земле. Знакомьтесь — доцент кафедры философии. Институт огромен и запутан, как лабиринт Минотавра. Дима вынашивает идею нарисовать подробный план ходов-выходов и продавать его

первокурсникам. Перестройка на последнем издыхании. Приезжает Тэтчер. Аудитория рукоплещет идеологическому врагу.

Нашу языковую группу посылают на стажировку в Италию. 19-летних парней принимает кардинал Тосканский, селит на виллу, открывает закрома. Потом Ватикан, приветствие Папы Войтылы. Иезуиты дарят библии на итальянском. К группе примазалась 16-летняя дочка функционера. Загорелые ножки, белёсый выгоревший пушок. Прелесть южного побережья. Пинии. Красивая итальянка. Бросаемся с Димой к ней. Можно с вами сфотографироваться? Улыбается — конечно. Была ли она действительно так красива или только казалась? Просто мы были влюблены в Италию, в её древнее язычество — католичество. А может, слишком жгучими были её чёрные волосы. Маленький мальчик тянет за руку спешащую по делам мамашу: «Mamma, guarda com'è bello». Он указывает пальчиком на фронтон здания. Мальчугану пять лет, откуда в нем настолько развитое чувство прекрасного? Древняя Этрурия, загадочная, забытая. Дав толчок Риму, сама исчезла, провалилась в тартарары вместе с погребальными гладиаторскими обрядами и одержимостью загробной жизнью. Не родственница ли Египту?

От поездки остались фотографии. На одной из них я, Дима и Андреа стоим, обнявшись и сверкая пока ещё белозубыми улыбками.

4. А вот и долгополый...

Когда вдруг все стало совсем плохо, я отправился на Афон со священниками и воцерковленными людьми, к которым себя причислял. Отцу Флавиану было 26 лет. С ним долго беседовал один из иерархов Великой лавры и предсказал ему большое будущее. Флавиан умер через несколько лет от воспаления лёгких. На самом деле сим-

птомы были очень похожи на ковид, только за три года до эпидемии. Другой священник возмущался (а спали мы все в общей палате):

— Нет, ну за что Флавиану такая честь, почему не мне?

Во время пятичасовой ночной службы мы устали и начали с ним перешёптываться. Речь шла об очень высоких материях. Флавиан всегда подчёркивал важность здравого рассуждения даже в вопросах вероучительных.

Один старый монах прожил в монастыре всю жизнь, был любим и уважаем братией. Однажды он слёзно взмолился о немедленной исповеди.

— Я был ещё ребёнком. Жил с родителями в большом доме. В один прекрасный день я вышел погулять в сад. Светило солнце. Я увидел певчую птичку, поднял камень и убил её, — каялся старый монах.

— И это все, авва? — улыбаясь в усы, спрашивал исповедник.

Но старец не унимался и продолжал:

— Я убил безобидное существо просто так. Не из страха, ревности либо мести. И этот грех самый тяжкий. Зло может гнездиться в любом человеке, даже в ребёнке.

Паломники с недоумением выслушали притчу, рассказанную протепистатом Карьеса и вежливо удалились.

5. Ялта

Я родился в Ялте, где меня катали в колясочке по гравиевым дорожкам Массандровского парка. Наш дом располагался там же. В школу номер 12 я ходил по Пушкинской улице вдоль речки Водопадная. У меня был красный немецкий ранец. На нем красовался переводной чебурашка. Я им гордился. Но какой-то старшеклассник содрал наклейку. До революции в нашем здании была женская гимназия. Здесь училась в 90-е Ника Турбина. Однажды

мы вместе с её родителями поехали на Казантип, строили песочный замок. Она вела себя как обычный ребёнок, без тени экзальтированности. Через много лет у нас была ещё одна встреча в Москве. Но о ней я умолчу.

На Казантипе меня покусал сторожевой пёс. Так как у нас дома тоже была собака, я подошёл к нему и стал кормить с руки. Рана была небольшая и быстро зажила, двадцати укулов от бешенства не потребовалось. Костя Бугай ходил за мной на переменах и просил показать «вавку». Я снимал повязку и показывал заживающую рану.

Глубокая ночь, Казантип, разнотравье. Мы только что приехали на новеньком «олимпийском» ЛАЗе. Над головой россыпь звёзд, невидимых в городе. Терпко пахнет полынь, нагретая за день земля, отдаёт тепло. Ликует живущий во мне индоевропейский кочевник. Ночь тёмная, но не страшная. Собака Эра носится, как щенок, ошалев от новых впечатлений.

6. Лесхоз

Александра Ивановна была из дворян. С моим прадедом покинула революционный Петроград и оказалась сначала в Старом Крыму, а затем в Ялте. Семейная легенда гласит, что до войны жили они неплохо. Прадед служил главным лесничим, выращивал саженцы и высаживал сосны на горных склонах, имел дом и солидное жалованье. Александра Ив. сама правила брочкой, отчитывала прачку за плохо выстиранное белье и сохраняла некоторые дореволюционные привычки. Всё изменилось с приходом немцев. Прадед не ушёл с партизанами в горы, но держал с ними связь, помогал. Это не убергло его от ареста после войны. Как коллаборант, он 20 лет провёл в лагерях. Партизаны написали Сталину, и режим содержания ему смягчили. Вернулся он больным и вскоре умер. Александра Ив. была очень строгой женщиной. Я её откровенно боялся. Как-то совсем маленьким я остался на огороде собирать

малину. Вечерело. Пахло сосной. Бор шумел грозно и таинственно. Эту картину я снова увижу в полусне, болея гриппом за тысячи километров от Лесхоза. Явственно чувствую солнечное тепло, смолистый запах, вижу вертолётную площадку, весь в мазуте трактор, будто из романа Стругацких. Мы с бабушкой копаем ямки в песке, ищем медведок. Бабушка ещё молодая, на ней белый болоньевый плащ. Вот медведка на миг показывается из норки и ещё глубже зарывается в землю.

В Лесхоз иногда приезжают мои друзья Серёжа, Димка, Илюша. Мне очень нравится старшая сестра Серёжи Анечка. Мы играем на улице с ней и соседкой Элей, которую теперь зовут Эвелина Бледанс. Её младшая сестрёнка Майка всюду бегаёт за нами, не поспевая. А играем мы в открывание дверей: берём палочки — воображаемые ключики, и открываем иллюзорные двери — кусты буксуса.

7. Гостиница

В тот день приехал я пообедать к маме на работу. Гостиница «Ялта» была туристической Меккой, где было сосредоточено самое лучшее. Мы спустились на цокольный этаж в столовую для сотрудников. Котлета с пюре, слоёный пирожок с мясом — все очень вкусное. Потом мама проводила меня до остановки, и мы ещё некоторое время посидели на скамейке. Мама с причёской а-ля Мирей Матье, в джинсовой юбке и жёлтой кофте с рукавами-реглан. Никогда она ещё не была такой красивой, цветущей, улыбающейся, как в тот день. К остановке подходит 23-й автобус, мне пора домой.

8. Харакс

Харакс — древнеримская крепость начала нашей эры в Тавриде. Я долго стою на дне раскопа, представляю, что было на этом месте. Казармы? А кто воздвиг стену из

циклопических валунов неподалёку? Точно не римляне. На горе Кошка раскопали стоянку древнего человека. Как они выглядели? В шкурах или уже в кожаных штанах? Разглядывали небо и понимали в созвездиях побольше нашего. Тавры, савроматы, готы. Велик их список, нескончаема чередка. И вот он я — ещё один осколок исчезнувшей цивилизации.

9. Пункт приёма стеклотары

За частным домиком псевдо-капитана первого ранга Погребного была хибарка, пункт приёма стеклотары. За заборчиком — частный сектор, сохранившийся с татарских времён. Посторонним вход воспрещён.

До войны на месте улицы Кривошты была татарская деревня, текла речка. Она протекает тут и по сей день. Подтопила однажды подвал нашего дома, отчего пропали уникальные ёлочные игрушки. На горке среди зарослей инжира и алычи зеленеют разбитые могильные плиты, покрытые татарскими письменами. Здесь дед выгуливал собаку Эру, бросал ей палку в глубокий овраг. Зброшенный сад, кипарисовая аллея, журчание родника. Махровая зелень улиц Найденова и Мисхорской. Следы костра, в который шпана ради забавы бросала несчастных ужей.

А за обводной дорогой — источник, из которого мы по совету травника Александра Ивановича набирали пахнущую сероводородом воду. Ялта, как в колыбели, лежит у подножья гор. Их суровые гряды синеют над алыми октябрьскими виноградниками.

10. Общежитие

Наташа слушала твои стихи, написанные смелым верлибром. Потом она потеряет рукописи в Нью-Йорке. Ты звонил ей из Лондона и рассказывал про Остров бессмертных. Она говорила, что не ожидала такого финала,

и что в реальности древние греки вовсе не были похожи на изваяния героев и богинь. Будто она их видела. На самом деле я встречал таких Аполлонов и Менелаев. Одного на Корфу. Он подавал нам *мезе*, и гордый разворот плеч был великолепен. А от другого я не мог отвести глаз на студенческой вечеринке в Милане. О, этот чудный овал! Это было первое, что я вспомнил, продрвав глаза на следующее утро.

Афганцы заказывали дешёвых шлюх. К Витасу красотки липли сами. Я протискивался в 144-й автобус и встречал там медсестру Лену из Тёплого Стана с большими, как блюдца, синими глазами.

11. Английские ботинки

Роман Александрович Конбрандт, работавший на Мосфильме, был дружен с моим дедом. И вот в сложные времена Роман Александрович презентовал бедному студенту рыжие английские штиблеты с пряжкой. Мне они очень понравились, хотя были далеко не новыми. Со временем они все больше ветшали, трескались и приходили в негодность. Но я их берег, чинил и начищал до блеска. И вот, как-то сижу я в коридоре на корточках, начищаю любимые ботинки — и вдруг чётко осознаю: все, кончились ботиночки, дольше носить их невозможно. Перешли, так сказать, количественные изменения в качественные.

Ещё был у меня дареный чёрный плащ с Диминого плеча. Поехал я с девушкой в лесопарк за Тёплым Станом. Признаюсь ей в любви, хочу поцеловать, а она молчит и отворачивается. А когда все же поцеловал, от радости побежал что есть духу по аллее. Плащ за спиной хлопает, как парус. Она говорит: «Ты бежал быстро, как ветер». И правда, так легко не бегал я ни до, ни после. В плаще и старых стоптанных английских ботинках с пряжкой.

12. «Командирские»

Роман Александрович устроил меня подработать переводчиком итальянского на Московский кинофестиваль. Переводить мне толком не довелось, зато я сопровождал Софи Лорен, общался с кинопродюсером Ди Биози. И вот стоим мы как-то после показа вчетвером: я, переводчица Вера, одна смазливая работница посольства и сын итальянского бизнесмена. Итальянка говорит Вере: «Как же обожаю таких римских блондинов». Парень, несмотря на летнюю жару, в костюме-тройке. Хвастается подарком отца — золотыми часами *Rolex*. Я гляжу наивно на это дело. Лезу в карман и достаю свои «Командирские» без ремешка.

13. Карловы Вары

Я часто думаю о тебе, будто снова оказываюсь с тобой в подмосковном лесу. Никакого берёзового сока. Мрачный еловый лес и свежераспаханное поле. Поднимается пар и таинственно окутывает округу. Что-то заветное, родное чудится в пейзаже. Также прекрасен сумрак чешских грабовых лесов под Карловыми Варами. А «Бехеровка» — это вообще отдельная история...

14. Порт-Льигат

Испания, восточная ее часть, где Дали жил в пору своей молодости. Неподдалёку цветёт роскошный Кадакес, а тут — пустынные причудливые холмы. Яркий космический свет заливают округу. Трамонтана гонит облака за горизонт. Контурные предметов режут глаз. Пиренейские горы кончаются и тонут в Средиземном море. Маяк на мысе Креус (в древности Афродизиум) — последний их отрог.

Порт-Льигат — не только город, но особое место из творчества Дали. Подобно Атлантиде, Острову и небесной Ялте, он сюрреален, то есть существует, но не здесь, не в этом мире.

15. «Новый Гильгамеш»

«НГ» появился на свет в 2012 году в Коктебеле на Волошинском фестивале. Мы (Ира Волкова, Рубен Ишханян, Ира Горюнова) присутствовали на презентации журнала «Русский Гулливер» Вадима Месяца. И в шутку придумали «Нового Лилипута». В первом составе мы альманах так и не выпустили. Энтузиазм иссяк, и пионеры-первопроходцы отошли от иллюзорных дел. Своё второе рождение альманах получил уже в Киеве. Художник Николай Сологуб в 90-е уже имел опыт издания журнала. Почему бы не попробовать снова? Позже в Булгаковском Доме на Андреевском я познакомился с Еленой Малишевской, Алексеем Никитиным и Татьяной Ретивовой. Окончательно идея альманаха оформилась после присоединения к нам Елены Мордовиной и Бориса Марковского из журнала «Крещатик». Так гротескный, раёшный «Новый Лилипут» стал сначала авангардной «Ностью» (от «Ю-ности»), а впоследствии «Гильгамешем».

Вот что я писал в редакторской колонке первого номера: «Юность проходит и наступает “Ность”. Еще не кость. Промежуток. Межа. В “Ности” встречаются стар и млад, умен и заумен, свеж и второсвеж. Мы встречаемся, чтобы отдать должное эпохе перемен. В моде сама Жизнь. Киев как заголовок. Знакомые как объекты. Память как страж. Вступи, дорогой читатель, и ты в эту “Ность” дважды!».

16. Альберта

Мне 15 лет. С 3-го класса нас, учеников английской школы, возили на встречи с иностранцами в гостиницу

«Ялта». Сначала мы пели и танцевали перед пожилыми английскими социалистами. Повзрослев, мы стали знакомиться с нашими сверстниками. И вот однажды на встречу в погребок «Массандра» заглянули сногшибательные блондинки из канадской провинции Альберта. Они сами предложили встретиться вечером и погулять по набережной. Но в межсезонье пойти решительно некуда. «Русский чай» закрыт, а на ресторан нет денег. Мы с товарищем ждём их у входа в «Ореанду». В куртках и шапках. И вдруг — о ужас — появляются наши девочки. На дворе середина марта, а они в шортах. Мне стыдно. Рома читает им лекцию о международном положении, девушки откровенно потешаются над нами. Это полный провал. Под конец из зарослей тамариска вылезает комсомольский вожак и с заговорщицким видом осведомляется: «Ну как все прошло?».

17. Бродский

В 1989 году в Москве впервые массовым тиражом вышел сборник Иосифа Бродского. Я хорошо помню эту строгую брошюрку цвета хаки. Пик увлечения стихами Бродского приходится на 1990 год. Форос, пляж, за холмом дача Горбачева. Я лежу под пинией и перечитываю строчки про волны с перехлёстом и крик ястреба. Грустные шедевры. Сложно избавиться от их подспудного влияния. Да и нужно ли?

18. О поэзии

Поэзия — терапевт, лечит, как время. В каждом есть ген поэзии, ещё не обнаруженный учёными. Можно пить поэзию, как вино. Она — афродизиак, прочтите стих и зажгите в себе огонь. Поэзия очистительна. Поэзия — архитектор. Созидает, а не крушит. Поэзия сродни мистериям

древности, она — сплав дионисийства и аполлонизма. В безбожные советские времена люди находили в ней отдушину, твёрдую духовную опору.

Поэзия делает смыслы осязаемее, объёмнее. Она — золотой ключик от дверцы нашего «Я». Неправда, что она для избранных. Она — на каждый день. Она — мелос, ритм, мысль: три в одном. В рэпе тоже есть своя поэзия. Услышать, почувствовать ее в обыденной повседневности — вот наша задача.

19. Василиса Прекрасная

Волшебная сказка — осколок верований давней эпохи. История, рассказанная в аллегорической форме. Литургические черты стёрты, но поддаются реконструкции. Культурный герой совершает боевые и нравственные подвиги. Кощей — это холод и смерть. Дабы его одолеть, герой должен научиться смирению, взяв в жены лягушку, во всем положившись на Провидение. Не хватило выдержки — отправляйся в Тридевятое царство на поиски суженой. Баба Яга — это Сидури из «Эпоса о Гильгамеше». Герой щадит зверей, а те взамен помогают завладеть волшебной иглой. Сундук качается на ветвях Мирового древа. Заяц, утка — хтонические персонажи из загробного мира. Смерть, где твоё жало? Кощей, где твоя победа?

20. Холод солнца

Ветер брал за шиворот и тащил меня в черные подворотни прочь от освещённой набережной и винноцветного моря. Но я упорно продвигался к цели — кафе «Спарта».

Раньше возле платана был прокат детских педальных автомобильчиков. Их вечно не хватало, они часто

ломались. А сейчас здесь стела в честь репрессированного народа и кафе. Старый платан помнит царя, большевиков и убиенного Порошина. Пращур платана застал тавроскифов. Море тоже повидало многое. Но глух его голос, невнятен язык.

Дурманяще пахли магнолии. Она перекрасилась в брюнетку, надела коричневые брючки, модный вязаный берет. Он не узнал её поначалу, хотя не видел всего несколько месяцев. Тогда она провожала его в Хитроу. Он покидал землю бриттов с лёгким сердцем. Чёрный кэб попал в пробку. Кажется, случилась авария. Они слушали его музыкальный сборник. Прошлое рассыпалось на глазах, как битое стекло.

И вот Ялта. Иной пейзаж и обстоятельства. Ветер раздувает угли. Те сверкают, как глаза Цербера. Если углубиться в дебри пережитого, то, пожалуй, можно понять, почему они расстаются. Но им уже не хочется копаться в себе. Сегодня она уедет. Они ещё будут видеться, но уже иначе, как старые знакомые.

Она смотрит на часы.

— Я скоро уезжаю. Давай отметим твой приезд и мой отъезд.

— Тебе нравится Земфира?

— Не очень.

— Ты знаешь, когда ты вдруг позвонил вчера, я впервые в жизни почувствовала, как болит сердце.

— А помнишь, я приехал к тебе на квартиру? А тебя не было дома. Соседка впустила меня. Я не дождался, уехал, а ты потом обнюхивала, как собачонка, телефонную трубку, пахнувшую моим парфюмом.

Вечер закатывался за горизонт. Мерк, истончаясь, закатный луч. Ты поцеловала меня.

— Холодно. Дальше не провожай.

Конечно, ведь ты приехала не одна. Ты всегда любила кокетничать с иностранцами.

21. Сон

Снится мне сон. Будто попал я на буддийский ретрит. Кругом много людей, я хожу на семинары, занимаюсь практиками. Вдруг я отстаю от группы и чувствую, как некая сила подхватывает меня и несет над землёй. На встречу мне бегут люди и спрашивают: «Ты видел парящий в небе дацан?». Я говорю: «Да, маленький такой, как на картинке». Они улыбаются. Налетает ветер, громадная серая туча на глазах превращается в бегущего во весь опор скакуна, круп испещрён восточными письменами. Но попадаются и православные иконы — Св. Николая и почему-то Михайлы Ломоносова...

Игорь ШЕСТКОВ

(*Берлин*)

В МУЗЕЕ

I

В канун Рождества проснулся поздно, после одиннадцати. Точнее — в одиннадцать часов одиннадцать минут. Нехорошее время для пробуждения. Колючие эти единицы на моих электронных часах предвещали недоброе. Хотя, что может быть хуже того, что уже случилось? Я постарел, одряхлел, жизнь больше не горела, не светила и не радовала, а тлела... остаток моего мира висел на тоненькой ниточке, раскачивался как паучок на ветру и готов был в любую минуту провалиться в тартарары.

В спальне было холодно и сыро. На стенах то и дело появлялась зловещая черная плесень. Я соскребал ее ножом, мазал стену керосином, сушил феном, красил, но это мало помогало.

Еле встал. Болели шея и суставы, тянуло и ныло в животе, кололо и резало в коленях и где-то у позвоночника. Боли гуляли по моему телу свободно и бесцельно, как туристы по Колизею и уходить не собирались. Хотел было написать банальность — «старость не радость», но вспомнил одну мою родственницу, повторявшую эту мантру раз по десять за пятиминутный телефонный разговор, и писать не стал. Ну ее к лешему. Вспомнит меня и начнет названивать с того света.

Подошел к широкому, давно не мытому окну в спальне, выходящему на громадный двор, ограниченный десятью одиннадцатизэтажными бетонными прямоугольниками, осторожно его приоткрыл, глотнул холодного воздуха, пахнущего марганцовкой и одеколоном, посмотрел на давно надоевшую матрицу окон и неожиданно вспомнил свой сон. Не весь сон, а только маленький его отрывок.

Гуляю я по роскошному музейному залу. Колонны, арочки, лепнина, старинная мебель с интарсиями, витражи. Крыша сделана из ажурных стеклянных полукружий. На стенах висят картины в стиле маньеризма. Распятия с изящным Аполлоном-Христом, святые, побежденные бесы, геркулесы и омфалы, серьезные мужчины в черном с печальными глазами, распаренные матроны в дорогих платьях, их пухлые дети и бесконечные, похожие на гувернанток или гетер мадонны с лебедиными шеями и вызывающими нечистые мысли младенцами.

Символический пейзаж на заднем плане. Гора символизирует то, пальма — сё, а море — это.

Мимо меня пробегает покойный Нуриев в балетной одежде. Прыгает, прыгает. Крутится. Вздымает и вздымает выразительные мускулистые руки. Парит... Приземляется — удивительно мягко. Оглядывается, пристально и зло смотрит на меня, а затем кидается на стену, прямо на картину, изображающую Страшный суд. Там он мгновенно преобразается в демона-мучителя с козлиной мордой и рогами, поддевает багром трясущегося грешника и прыгает вместе с ним в адское пламя. Прежде чем Нуриев окончательно исчез из виду, я успел помахать ему рукой. А он погрозил мне указательным пальцем с длинным острым когтем.

В центре зала на невысоком прямоугольном постаменте стоит старая, коротко подстриженная, дородная

женщина. Обнаженная выше пояса. Увесистые ее груди похожи на музыкальные юлы моего советского детства. От них исходит мелодичный гул.

Метров пяти ростом дама. Вокруг нее — свита, с десяток атлетически сложенных юношей в набедренных повязках и с копьями в руках. Команчи?

Что это за дама? Экспонат? Есть такая мода в современном искусстве — ставить или класть на музейный пол громадную гиперреалистически сформованную нагую фигуру жирного старика или старухи из стеклопластика. Художники, выставляя подобные чудовища, эпатируют публику, наслаждаясь вседозволенностью, купленные на корню критики подгоняют их под быстро ускользающую злобу дня, с невероятной ловкостью высасывая из пальцев концепции и интерпретации, галеристы, тихо посмеиваясь, подсчитывают барыши, а посетители музея жадно глазеют на скрытые обычно от посторонних глаз дряблые половые органы и морщинистые лица размером с таз с ничего не выражающими искусственными глазами и бровями из лошадиного волоса.

Нет, не экспонат. Вполне себе живая старуха. Только исполинская. И спутники ее тоже живые. Подняли копьяд... могут и продырявить.

Дама на постаменте смотрит на меня проникновенно и говорит каркающим осиплым басом: «Приходи сегодня в музей Боде, Гарри, у нас тут гала-представление. Специально устраиваем для таких как ты, отчаявшихся фрилансеров. Искушаем тебя в семейной ванне. Позволим тебе пощупать нежные груди послушниц и монахинь. Насладишься мягкой шерстью черного козла. Отведаешь небесного бланманже. Язык проглотишь от удовольствия, недотепа...»

Старуха хохочет, громко хлопает в ладоши, взлетает и парит в музейном зале как дирижабль, ее спутники кружатся вокруг нее как трутни вокруг пчеломатки.

Откуда-то сверху на меня обрушивается голубой теплый водопад, я испытываю давно позабытое детское блаженство.

Тут мое воспоминание прерывается. Ничего дальше не помню. Хотя и подозреваю, что самое интересное началось потом, после моего свидания с Нуриевым и женщиной-дирижаблем.

Нежные груди послушниц? Мягкая шерсть черного коза? Бланманже?

На завтрак поел овсяной каши со свежей перуанской малиной. Выпил полстакана кипяченой воды. Принял таблетку от «легкой деменции». Гинкго. Вроде бы помогает. А может и нет, откуда мне знать. В голове моей давно висит желтоватый липкий туман, руки трясутся, забываю имена, мысли перестали прыгать как кузнечики, они теперь ползают как гусеницы... и часто застывают, так и не дойдя до пуанта, на душе непроходящая тоска, прерываемая только редкими вспышками ярости.

К снам я отношусь серьезно. Ценю их больше своих дневных фантазий. Ведь сны посылает мне кто-то другой. Так утверждает мой внутренний голос. А я к его словам прислушиваюсь, других собеседников у меня нет. Но даже если он лукавит, и сны посылает мне мое собственное подсознание, то бишь я сам — то это все-таки не тот «я», который мне так хорошо известен и каждый раз ужасно осточертевает к вечеру.

Поэтому — решил съездить в музей и во всем разобратся на месте. Да и бланманже хотелось отведать. (Какое бланманже в музее Боду? Спятил, кретин?)

Да, да, мне так хотелось отвлечься от бесконечных новостей об изнасилованных, сожженных, расстрелянных, разорванных ракетами, бомбами и дронами людей.

Фон нашей жизни сейчас так ужасен, что даже шерсть черного козла представляется чем-то приятным. Не говоря уже о грудях послушниц и монахинь в семейной ванне.

Сон? Не уверен, что это был обычный сон.

Прогулка по музею... по несуществующему, призрачному музею... путешествие по метамирам — очевидная метафора внутренней жизни. Особенно часто нас заносит в два мира, в зал страхов и ужасов, там материализуется и случается то, чего мы больше всего боимся, и в зал исполнения наших тайных желаний. Иногда обе эти сферы непостижимым образом соединяются или слипаются, превращаясь в одно многосложное пространство.

Уже в детстве я понял, что моя истинная жизнь будет проходить не на юго-западе брежневской Москвы... не в школе за универмагом, не в МГУ, где я учился и работал, даже не в кооперативной квартире, в которой жил вначале с первой моей женой, потом со второй и с дочкой, а в этом реально не существующем, но страшном и желанном мире-оксюмороне. В фатально противоречивом абсурдном лабиринте, по которому мне придется бегать туда-сюда под лающий гогот целой стаи минотавров.

Нет, это видение не было сном, лабиринт звал меня, призывал явиться на место последней радости и казни. И я не мог его послушаться. Хотя и не был до конца уверен в том, что это мой лабиринт зовет меня, а не тот, заповедный ирргартен, в котором обитают мои герои.

Поездка в музей Боде для меня не очень обременительна. Если конечно по дороге не происходит что-то скверное. Трамвай не ломается, демонстранты-леваки не блокируют улицу, и марсиане не приземляются.

Полчаса на трамвае, прямо от дома, потом небольшая прогулка по набережной Шпрее — и вот передо мной он,

красавец музей. С полукруглой архитектурной мордой и в медной шапочке с эллиптическими отверстиями. Вход для таких как я — свободный. Грундзихерунг.

Перед тем, как выйти из квартиры, — осмотрел все три комнаты, в которых прожил с покойной женой двадцать восемь лет. Долго? Ну да. Только пролетели они как поезд-экспресс мимо одинокого пассажира на подмосковной платформе. Потому что писал, жил в тексте... наслаждался выдуманном миром, а реальную жизнь проворонил. И вот... нет больше никого. Один. Один на один с моими литературными героями. А это та еще публика. Хорошо еще, что они заняты своими делами, и до меня им дела нет. А не то... они пострашнее индейцев с копьями, потому что слеплены из знакомых или близких мне людей. Из моего прошлого. И из меня самого. Знают, куда кидать копье.

Внутренний голос шептал: «Ты сюда больше никогда не вернешься, простишь...»

И, хотя он всегда перед отъездом шепчет мне что-то подобное, перед глазами само собой появилось воспоминание. Старенькая моя жена сидит в кресле и кашляет. Маленькое ее тело конвульсивно изгибается в борьбе за воздух, за дыхание.

Погладил кресло. Там, где обычно лежала ее рука. Не выдержал, раскис, заплакал... но потом сумел-таки взять себя в руки. В последний момент, перед тем как шагнуть в пропасть.

Вышел из нашего дома мышиноного цвета. Металлическая дверь за мной противно клацнула прощальным аккордом. Как всегда, поразили вонь от выхлопных газов и мусор на улице. Ничего не поделаешь, третий мир.

Входящий в подъезд жилец с десятого этажа, молодой сомалиец, посмотрел на меня безразлично, как на валяющийся на асфальте окурок, на мое вежливое приветствие не ответил.

Медленно пошел к трамвайной остановке, стараясь успокоить трепыхающееся в груди сердце. Спасибо небесам и ангелу хранителю, удалось.

В трамвае сел на удобное широкое сидение и задремал. Старался, как можно реже открывать глаза, чтобы не видеть пассажиров, прохожих, дома и рекламные плакаты на берлинских улицах. Все это, кроме детских лиц, давно вызывало во мне рвотные позывы.

Да, да, господа читатели, вы имеете право на все не лестные эпитеты по отношению к моей персоне, которые пришли, вероятно, сейчас вам в головы. Но и я имею право быть тем, кто я есть — эмигрантом-антигероем, хроническим мизантропом, расистом, брюзжащим стариком, ненавидящим к тому же вслед за дядюшкой Вольфом, столицу Германии, ее жителей и ее архитектуру. И старую, имперскую, и новую — бездарную восточную, и послевоенную западную, тоже бездарную, но на другой лад.

И получасовая поездка с закрытыми глазами в трамвае, и прогулка по набережной Шпрее окончились вопреки логике этого рассказа благополучно. Я дотащился до музея. В кассе мне дали бесплатный билет. Кассирша, вручая мне бумажку, улыбнулась как пантера, обнажив длинные красноватые клыки, и промурлыкала: Хорошо, что вы приехали, Гарри! Представление еще не началось. Встречаемся как всегда у статуи Венеры Провансальской. Той, с виноградными кистями. В Эдемском саду. Оттуда пойдём в термы, чтобы согреться и смыть с себя яды этого проклятого города. Впрочем, вам не обязательно гулять по музею с группой. Я слышала, вы предпочитаете одиночные прогулки. Для таких как вы мы приготовили несколько особых сюрпризов. Постарайтесь не сойти с ума. Да, еще одна мелочь: Его королевское высочество принц изволил передать вам этот кулон. Наденьте на шею и не снимайте. Он защитит вас от... и принесет вам счастье.

Кассирша сверкнула оранжевым бездонным глазом и соблазнительно высунула изо рта маленький синий язычок. Облизала им узкие сухие губы и усики над ними.

Я кивнул, стараясь подавить в себе желание спросить ее о бланманже.

Кулон повесил на шею. Это был небольшой овальный опал в скромной оправе на серебряной цепочке. Переливающийся желтым, розовым и зеленым огнем.

Счастье? Мне бы пожить хоть денек без этой тоски, разъедающей душу как кислота. Хоть часок. Я думал, принц давно меня забыл. Или не хочет иметь со мной дело. После той дикой истории в конюшне герцога, закончившейся скандалом. А тут — кулон с опалом. Да, помню, опалы безумно любит его конкубина Лоретт. Неужели он взял этот камень у нее? Зачем? Что ему от меня надо? Неужели во мне осталось что-то, что может представлять ценность для другого человека? И не просто человека, а принца, обладающего влиянием и капиталом, настоящего магната. Или дело вовсе не во мне, а в моих текстах? Точнее — в одном моем герое, с которым принц, возможно, захотел встретиться?

Внутренний голос тут же начал ехидничать: «Не обольщайся, Сервантес! Не строй воздушные замки из гнилой соломы. Ты сам — постаревшее больное чудовище, ветряная мельница без муки, динамо, а твои книги — никому не нужная макулатура. Позорно устаревшая и с амбициями. А герои твои...»

— Заткнись наконец!

Аккуратно сложил куртку, вязаную шапочку, шарф и перчатки в стопочку и положил ее в закрывающийся на ключ шкафчик камеры хранения. Внутренний голос конечно и тут не смог промолчать: Зазнался после подарка

принца? Кстати, зря стараешься, барахло это тебе больше не понадобится. Музей сожрет тебя с потрохами. Вместе с твоим опалом. Хи-хи.

— Пошел ты знаешь куда.

— Отлично знаю... но сейчас гораздо важнее то, куда ты сам пойдешь.

— Куда, куда, сам видишь куда, для начала в купольный зал с фиолетовыми колоннами и круглыми лестницами, ведущими в буфет, и конной статуей, не помню кого. Да, да, в этот зал, куда же еще? Посмотри, как хорошо видны отсюда задница и яйца коня.

— Это статуя Великого курфюрста, копия работы Андреаса Шлютера, невежа. А теперь посмотри-ка еще раз повнимательнее на зал и на статую. Ничего не замечаешь?

— Замечаю, замечаю. Не надо орать у меня в голове. Дай осмотреться.

Голос недаром бил тревогу. Круглый купольный зал — прямо на моих глазах — превращался из светлой ротонды в сумрачную базилику, увенчанную готическими сводами. А массивный бронзовый Великий курфюрст — уменьшившись в размерах — в адского грифона. Рогатого и крылатого. Явно готового прыгнуть с пьедестала и разорвать меня на части. Кроме того, из зала исчезли статуи Юпитера, Геракла и других классических персонажей, но появились статуи неизвестных мне темных богов и богинь.

Как попасть в Эдемский сад, я не знал. От него у меня осталось только смутное воспоминание. Похожее на воспоминания от картин Клода Лоррена.

Никогда не понимал, как человечество смогло полюбить после всех этих чудес грубых мазил импрессионистов и прочих профанаторов...

Видимо и мастерство, и чудеса, и совершенство — тоже постепенно осточертевают.

Решил побродить по первому этажу, надеялся на то, что ноги сами приведут меня к Венере Провансальской. С виноградными кистями или без. Ну, или куда-нибудь еще. Поближе к ваннам с послушницами и бланманже.

Направился в зал, где хранились работы Шлютера с крыши виллы Камеке. Нептун. Амфитрита...

Зал этот сохранил свою продолговатую форму, остался широким и высоким коридором. Только стены его лишились окон, а потолок — мягких эллипсоидальных арок. Пропали некрасивые плоские псевдоклассические колонны, всегда лишние розетки, исчез мраморный пол. На его месте появился пол из твердой глины. На этом полу стояли на круглых постаментах высокие скульптуры из мерцающего желтоватого камня... беременные обнаженные женщины средних лет с воздетыми руками. Кто они? Неужели монахини или послушницы?

Не смог удержаться, осторожно погладил одну из них внизу живота. И тут же услышал голос, исходящий из ее каменной утробы: «Сколько раз тебе говорили, Гарри, не трогай музейные экспонаты, а ты опять за свое. Сам знаешь, маркиз не любит наглости и амикошонства. Может и руку оторвать».

Нервно отдернул руку, вежливо извинился и дальше пошел. Меньше всего мне хотелось бы повидаться тут с маркизом или с кем-нибудь из его людей. Воспоминание о нашей последней встрече — в Ватиканских гротах, где я чуть не умер от клаустрофобии, до сих пор не стерлось в моей памяти, хотя это и произошло лет сто назад.

Вот и базилика. Раньше я ее обычно проходил, не задерживаясь у предметов искусства... ну разве что делал небольшую паузу у чудесных бело-голубых майолик флорентийца Андреа Делла Роббиа, вспоминая свои юношес-

кие мечты о собственной керамической мастерской, в которой я бы изготавливал и обжигал фигурки полудемонов-полулюдей-полумеханизмов. Я хотел иметь мастерскую, на стенах которой висели бы подобные фигурки. Чтобы играть с ними как с куклами, разыгрывать эротические и страшные истории. Что-то подобное я делал со своими героями в своих рассказах...

Да, да, майолика. Фаянс. Новое тело для воскресшего Христа, для умершей когда-то Богоматери.

Как чувствуют они себя — в керамической оболочке?

Что есть на самом деле Воскресение?

Воскрес и опять стал человеком? Чтобы еще раз умереть? Это дурная бесконечность. Воскрес и стал белой обожженной глиной, обработанной мастером и покрытой глазурью.

Бессмертие...

Мы вновь стоим на карачках перед идолами. И не слушаем больше Нагорную проповедь, а истово кричим хором: «Велика Артемида Эфесская!»

И вся наша новая цивилизация, все общество потребления — не что иное как новый храм этой богине. В нем все и знакомо, и понятно, и правильно.

А христианство... чем оно было?

Как можно строить храмы-колоссы проповеднику, который говорил: «Войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне...»

Как можно устраивать многочасовые службы Христу, который специально клеймил многословие. Бесстыдное, пустопорожнее, существующее для порабощения тела и духа прихожанина попами. Очевидно извратившими в угоду церкви и сами Евангелия. Чуткое ухо слышит в евангельском повествовании слово Христа, слышит и вставленные в него как вставные зубы тирады жадных до власти первосвященников.

Как можно было именем Спасителя... завоевывать... жечь... преследовать...

Внутренний голос не мог не усть: «Как недалёко видны твои слова... Ты же знаешь, никакого христианства не было бы и в помине, если бы люди вроде апостола Павла не построили бы церковь. Организацию. Позже превратившуюся в грандиозную машину принуждения. Люди иначе не умеют. Хи-хи».

— Скажи мне, что я должен сделать, чтобы ты заткнулся?

— Как будто ты этого не знаешь. Разбегись и треснишь башкой о мраморную стену.

— Спасибо за совет.

— Всегда к твоим услугам.

Раньше базилика была пуста, просторна, светла. Теперь она потемнела и наполнилась публикой. За невысоким круглым ограждением сидела по-турецки громадная пластиковая женщина. Стекланные ее зрочки вращались. Голова, руки и ноги — неприятно шевелились. Из ее ушей, рта, из сосков ее груди и из ее уретры лилась пенящаяся жидкость, напоминающая молоко.

Кто эта женщина-фонтан? Неужели Артемида Эфесская? Или та самая Венера? Персефона?

Сотни людей, посетителей музея, молча боролись друг с другом за ее молоко.

Слышно было сопение, крики, вздохи, всхлипы.

Люди отталкивали друг друга, пинались, дрались. А дорвавшись до вожденной жидкости — жадно ее глотали, мыли ей глаза и уши, втирали в кожу.

Похоже, они фанатично верили в то, что молоко это — средство от всех болезней, омолаживающее тело, дарящее вечную жизнь. Иначе их безумное поведение нельзя было объяснить.

Поддавшись всеобщему порыву, я грубо оттолкнул нескольких стоящих передо мной женщин и мужчин, пролез между ними, подпрыгнул, дополз по плечам и головам до груди женщины, из сосков которых брызгало молоко, жадно глотнул его и вылил себе на голову несколько пригоршней. На вкус оно было похоже на медовуху, алкогольный напиток, который я попробовал много лет назад во время путешествия в Суздаль. Сладкое и хмельное.

В следующем зале посетителей не было.

Раньше тут была выставлена позднеготическая пластика Южной Германии. Обычно я подолгу простаивал здесь рядом с вырезанными из дерева «Четырьмя апостолами» Рименшайдера, его же «Битвой святого Георгия с драконом» и «Явлением Марии Магдалине воскресшего Спасителя», а также фигурой страдающего Христа Эразма Грассера.

Сейчас же тут не было ничего подобного. На стенах висели большие картины с изображениями непонятных сложносоставных демонов. Мужчина со шкафом вместо туловища. На его голове помещалась еще одна голова, маленькая, но с большими ушами, похожими на крылья летучей мыши. На другой картине была изображена гуляющая по бульвару с колясочкой женщина с тремя ногами и щупальцами вместо рук. Ее голова была похожа на дольку чеснока, нос отсутствовал, а пасть была усеяна зубами. В коляске вместо младенца лежал ухмыляющийся робот-идиот.

В середине зала стояла модель христианского храма. Высокая, почти до потолка. Или это стоящая на задних лапах гигантская рептилия? Обошел модель и нашел низенькую и узкую дверку, ведущую внутрь. С трудом в нее протиснулся.

И очутился в замкнутом пространстве... в странном месте...

Нет, назвать это пространством или местом нельзя. Я не знаю, что это было такое. Желудок людоеда? Гнездо дракона? Вагина лесбиянки?

Красные, влажные, покрытые слизью стенки; потолок и пол колыхались, вибрировали, грозили схлопнуться. Пахло невыносимо. Хлором и кровью.

У меня началась паническая атака. Я с трудом сдерживал себя. В отчаянии тер пальцами опал в кулоне. Умолял богов пощадить меня.

— Ради чего тебя щадить? — спрашивал голос извечного прокурора.

— Может быть, напишу еще что-нибудь хорошее.

— Сам-то веришь в это? Время твое прошло.

— Мое время еще не настало. Когда-нибудь эти безмозглые существа, уставившиеся в смартфоны, начнут опять превращаться в людей. Тогда и я буду востребован.

— Ишь ты как заколбасил, Савонарола...

Слава небесам, я не забыл, где находилась та самая дверка. Открыл ее и бросился в узкий проход. Вырвался на волю.

И оказался... нет, не в том зале музея, где прежде были выставлены Рименшнайдер и Грассер, а в небольшом уютном театральном зале, состоящем только из партера и сцены. Я сидел в кресле в седьмом ряду. Театр был полон. Невидимый оркестр играл незнакомую мне бравурную музыку.

Многие зрители носили пышные парики, пахнущие помадой, почти все они были одеты в дорогие карнавальные костюмы, имитирующие французскую придворную одежду 18-го века. Некоторые мужчины носили карикатурные маски с носами Сирано и шпаги. Недалеко от меня, впрочем, возвышался как кремовая гора турецкий султан

в немислимом тюрбане, похожем на яйцо тиранозавра, и с двумя кривыми кинжалами на поясе. Спутница его изображала маркизу де Помпадур. Недалеко от этой гротескной парочки сидел, посверкивая золотым шитьем, не менее гротескный Людовик XV со своей дамой, оказавшейся при внимательном рассмотрении юношей-пажом.

Вместо люстры на потолке висел на цепях тяжеленный жернов. За партером, там, где в обычных театрах располагается амфитеатр — находилось целое собрание оружий пыток. Колесо, Железная дева, дыба...

Стены театра украшали картины в стиле Фрэнсиса Бэкона с изображениями сатанински оскаливающихся епископов и кардиналов.

На сцене установлен высокий, грубо обструганный, деревянный крест, на котором распята обнаженная пожилая женщина с отвислой грудью и выпирающим животом. Руки и ноги ее были не прибиты к кресту гвоздями, а привязаны к нему толстыми веревками. Пятки опирались на небольшую горизонтальную планку. Женщина непрерывно сквернословила и плевала на зрителей первого ряда, которые не оставались в долгу.

В глубине сцены виднелась виселица, на которой висели семь механических кукол, изображавших повешенных нагих женщин, видимо, ведьм. Куклы эти комично тряслись и дергались. Рядом с ними ходил туда-сюда лысый, безносый, но бородатый шут-палач в красном плаще и красных сапожках и зверски хлестал кукол плеткой. После каждого удара он делал неприличный жест и громко пускал ветры. Зрители что-то кричали ему по-французски. Я не понимал, что.

— Они призывают его хорошенько отделать плетью по филейным частям старую чертовку на кресте,

любительницу маленьких мальчиков и отравительницу — произнес сидящий правее меня гость в малиновом кафтане... с удивительно породистым лицом, показавшимся мне знакомым.

— Спасибо за объяснение. Извините, мы с вами уже встречались? Не могу вспомнить, где, когда.

— Неужели ты ничего не помнишь, Гарри? Мы познакомились в начале тридцатых годов в шикарном парижском борделе, украшенном фресками ван Донгена.

— Эээ... В Сфинксе... на Монпарнасе?

— В нем самом. Я заходил туда несколько раз по делу. Некоторых моих клиентов можно было застать только там. Их находили потом в отдельных кабинетах... с перерезанным горлом. Или повешенными. Каждому свое. А что ты там делал, лучше тебе вспомнить самому. Мне ты, пожалуй, не поверишь, если я все тебе расскажу, и вообразишь черт знает что. Ты опасный человек, Гарри. С тобой надо быть осторожным.

— Я опасный? Чуть городите, господин хороший. Вы вообще кто? Киллер?

— Ты так меня и не узнал?

— Нет.

— Ну хорошо, начнем с начала.

— Валяйте.

— Ты знаешь, где мы сейчас находимся?

— Знаю. В музее Бодэ в Берлине.

— Прелестно. В этом случае нам не о чем говорить.

— А по-вашему, где?

— По-моему? В нигде. Во дворце монсеньора.

— Ага... Узнаю ваш стиль. Маркиз звал вас, кажется, шевалье? Это вы изволили слепить меня своим перстнем?

Он не успел ответить. Неожиданно для нас театр развалился как карточный домик. С треском и хрустом.

Все исчезло, исчезли распятая и виселица, палач и шевалье, и публика, а я сам оказался в большой мраморной купальне, устроенной в просторном музейном зале. Семейная ванна?

Один. Голый. Блаженный. С опаловым кулоном на груди.

Проплыл в теплой голубоватой воде несколько раз от одного конца купальни до другого. Нырнул. Купальня была около метра глубиной. Дно подсвечивалось снизу.

Купальня в музее. Бывают же чудеса на свете!

Как будто для того, чтобы утвердить меня в этой мысли — купальня вдруг заполнилась прекрасными женщинами всех возрастов и цветов кожи.

Они плавали, мило хихикали, плескались, гонялись друг за дружкой, дурачился...

Некоторые подходили ко мне, и я осторожно трогал их за груди, теребил указательными пальцами розовые соски.

Послушницы и монахини? Или работницы Ле-Шабане? Громадные девицы с Ораниенбюргерштрассе выглядят иначе.

Но что это? Как в страшном сне женщины начали превращаться в злобных фурий. Набросились на меня, начали царапать, кусать, бить. Чуть не оторвали мне нос, уши и гениталии.

Как ошпаренный выскочил из купальни, мгновенно превратившейся (так часто бывает в семейной жизни) из рая в ад, и побежал как затравленный заяц к ближайшей двери. Воющие мегеры кинулись за мной.

В последний момент успел захлопнуть дверь и защелкнуть задвижку.

С той стороны двери доносились шип, брань и зубовой скрежет.

Огляделся. Интуитивно поискал глазами столик с тарелочкой бланманже. Не нашел.

Стены этого зала были увешаны еще более странными изображениями, чем в зале позднего германского средневековья. Не только демонические фигуры, среди которых было много известных персонажей, были экспрессивно деформированы и состояли из несочетаемых элементов, но и сами мизансцены как будто были специально составлены из никак друг с другом не связанных частей. Похоже, их рисовали не люди, а искусственный интеллект.

Трудно узнаваемый Ричард третий летел на кадиллаке Эльдорадо пятидесятых на Луну в компании с почти квадратным Наполеоном, треугольной Джинной Лоллобриджидой, слепленным из пастилы Кришной и огромной соковыжималкой, на боку которой была выгравирована надпись: «Сделано в СССР».

Сложенный из доминошных костей Иван Грозный работал зазывалой на Репербане и пел песни Битлз. Аккомпанировал ему игольчатый истукан Будда Шакьямуни.

По небу летел хвостом вперед деревянный самолет Боинг, из шестиугольного иллюминатора которого высывал кирпичную голову президент и громко квакал как лягушка. Его оранжевая чёлка развевалась на ветру. Из другого иллюминатора высывалась сделанная из маленьких шариков Мела, похожая на постаревшую чеширскую крысу... или на черную курицу... в круглой шляпе, сделанной из крышки сковородки. В руках она держала небольшой монитор, на котором можно было прочитать: «Поверьте, гадко жить с огромной пузырчатой жабой в этом кошмарном доме с портретами управляющих на стенах. Гораздо приятнее купаться в болоте — с маленькими золотыми тритонами».

Взгляд мой невольно уперся в стоящего в одном из углов зала на задних копытах черного козла. Длинная его ухоженная шерсть отливала в синеву. Морда была скорее дьявольской, чем козлиной. Черные глаза сверкали как бриллианты. Он внимательно смотрел на меня. Как будто что-то ждал.

Я, признаться, оторопел. А затем, сам не знаю почему, подошел к козлу и погладил его ладонью по лоснящемуся шёлковому боку. От меха его отлетали, как мухи, синие электрические искры.

II

Приятно идти по песчаному пляжу. Маленькие волны норвят намочить нам ноги своим ласковым пенистым наплывом. Верена босая, не боится воды, а я в ботинках... приходится отбегать. Когда я бегу от волны, Верена смеется. Потому что я кудахчу, высоко поднимаю колени и хлопаю локтями, как испуганная курица — крыльями. Смешу ее.

Башмаки Верены лежат у меня в рюкзаке. И носки. В горошек. И майка, и куртка, и шапочка. Она сама засунула все это в рюкзак. На ней только легкая светлая юбочка. А я — в темном пальто, перчатках и шляпе «хомбург». Но мне не жарко, а моей спутнице — не холодно. Почему?

Кстати, я понятия не имею, что еще лежит в моем рюкзаке. Так уже получилось.

И я не знаю не только это... Я не знаю, кто я, где мы, откуда и куда идем и зачем. Не знаю, какой сегодня день. Месяц. Год. У меня нет наручных часов. Нет календаря.

Знаю только, что сегодня чудесный солнечный, но не жаркий день. Что Солнце застряло где-то у зенита и вроде бы не собирается плыть по небу дальше, что воздух пахнет свежестью и йодом, что я прекрасно, не по годам, себя

чувствую, что Верена идет со мной и что она моя родственница — внучка, дочка или племянница. И я присматриваю за ней.

Да, как меня зовут, где мой дом, и как я прожил свою жизнь...

На все эти настойчивые запросы, мои память и совесть отвечают равнодушным молчанием. Что, конечно, не только тяготит, но и освобождает.

Верена называет меня — опа. Дедушка. Говорим мы с ней по-немецки. Но думаю я на другом языке.

Думаю? Нет. В голове у меня вместо мыслей набор или скорее последовательность образов, констатаций, рефлексий и еще чего-то, вовсе не поддающегося определению. Летающего под облаками или спускающегося в глубину земли или воды и не имеющего ни формы, ни смысла...

Не человек, а проходной двор.

Говорить мне не легко, я не могу рассказать Верене веселую сказку или страшную историю, даже шутить с ней не могу. Потому что шутка требует метафоры, сравнения или ложного, смешного обозначения. А с чем я могу сравнить то или это, если у меня в голове нет ничего кроме обрывков, клочков, кусочков, сухих как семечки имен и дат.

Хорошо еще, что вокруг нас не космическая пустота, не однообразная степь или пустыня, а волнующийся, полный движения и жизни ландшафт.

Море. Синева... волны... барашки... ветерок.

Круизный лайнер дымит тремя могучими трубами в миле от нас. Сколько же у него палуб? Семнадцать. Вот махина! Несколько контейнеровозов и танкеров везут куда-то свой скучный груз. Наверно в Роттердам. Интересно, есть ли в этом мире Роттердам? Есть ли тут Голландия? Европа? Мы вообще на Земле?

Несколько пузатых военных кораблей стоят на якоре. Опустили свои громадные пушки. Белые яхты как большие белые тараканы...

Чайки пронзительно кричат. Песок шуршит. Синерозовые крабы ползают под ногами. Верена ловит их загорелыми пальцами, подносит к самому носику, смотрит им в их мутные глазки на ножках и что-то взволнованно говорит.

В небе беззвучно парят несколько дирижаблей. С рекламой Колы на серебряных боках. Значит, тут покупают и пьют эту сладкую темную жидкость. Значит мы на Земле. Или нет?

Вдоль моря вьется не широкая асфальтированная дорожка. По ней гоняют велосипедисты, бегают джоггеры, разгуливают туристы в пестрых одеждах. Дорожка украшена могучими гипсовыми статуями неизвестных мне богов. Головы их похожи на глобусы или на пирамиды, а туловища — на чемодан или пылесос. Когда мы проходим рядом с этими фигурами, слышим какие-то приглушенные крики. Как будто кто-то заперт в них, как в тяжелых кувшинах, и бьется, и кричит, просит о помощи. Что мы можем поделать? Разбить статую камнем я не решаюсь. Кто-нибудь донесет, нагрянет полиция... кто знает, как ведет себя в этом мире полиция? Попробуй им что-нибудь объясни. Не обращаем внимания на крики, шагаем дальше.

Вот... мимо нас на небольшой высоте пролетел четырехмоторный винтовой самолет. От его рева у меня заложило уши. Моя голова завибрировала и — о, чудо — неожиданно начала работать. И я тут же вспомнил. Самолет этот — Фокке-Вульф «Конкорд», на таком летал Гитлер. Тьфу! Из клочков и ниточек в моем черепе — тут же соткался Адольф. И какой мерзкий! Ситцевая крыса.

Он тут же вытащил из небытия Геббельса с Герингом и еще целую армию своих поклонников, и Аушвиц с Собибором...

Мне почему-то стало труднее идти. Я почувствовал свой возраст. Посмотрел на руки... пигментные пятна... заусенцы... тремор.

Встряхнулся как пес и постарался выкинуть Адольфа из головы.

Полегчало.

Да-с, на горизонте горы синеют. Некоторые вершины покрыты снежными шапками.

Наверняка и снежный человек там бродит.

Ну вот... стоило только подумать... и снежный человек материализовался в моей голове. Поднял дубину и зарычал на Солнце.

А дальше все пошло автоматически, как на конвейере.

Снежный человек приволок в охапке Катрин Денёв. Видел их давным-давно на рекламном плакате. Ужасная седая обезьяна обнимает французскую «дневную красавицу» за рулем роскошного ситроена «богиня». Катрин притащила с собой за руку упирающегося Бунюэля. А Бунюэль — принес в неподъемном бауле не только «Скромное обаяние буржуазии» и «Призрак свободы», но и других, громко спорящих о чем-то сюрреалистов, а затем и Испанию, и Францию, и Мексику. И еще — он притащил за руку Хичкока. А тот в свою очередь прикатил, как огромный светящийся шар, — весь двадцатый век. И заодно впустил в пространства моей памяти тысячи разных птиц. От их клеткота, чирикания и щебета у меня чуть не началась мигрень.

Да-да, кое-что я вспомнил. Но, чем ближе мои воспоминания приближались к моей персоне, тем более неясными они становились. Вокруг моей монады висел незна-

дежный туман. Так что кто я, как мое имя, чем я всю жизнь занимался, и что я тут делаю, на этом пляже — оставалось для меня тайной.

Ничего лучшего не придумал, как спросить об этом Верену.

— Солнышко, Верена, как меня зовут?

— Опа.

— Скажи мне мое имя и фамилию, прошу.

— Я всегда звала тебя опа. А что такое фамилия?

— Постарайся вспомнить, что было с тобой и со мной до того, как мы отправились на прогулку по пляжу. У нас есть дом? Где мы живем? Кто твои мама и папа?

— Не знаю. У меня есть ты. Мы всегда гуляем с тобой тут. Что значит до того? Мне тут нравится.

— Верена, любовь моя, а что мы пьем и едим?

— Как это пьем и едим?

— И где мы спим по ночам?

— Спим? Тут никто не спит. И что такое ночь?

— Это когда совсем темно.

— Тут всегда светит Солнце, посмотри, вон оно, наверху неба.

Больше я ее ни о чем таком не спрашивал.

Решил попробовать расспросить бегуна или туриста...

Стал искать глазами подходящего человека. И нашел. Метрах в пятидесяти от нас прямо в море стояла мило-видная рыжеволосая женщина в смешном открытом платье с цветочками. Вода была ей по колено.

Подшли к ней. Я вежливо поклонился и сказал по-немецки:

— Извините, не хочу вам мешать... но, не могли бы вы мне ответить...

Она поняла меня. Кивнула.

— Спрашивайте.

— Где мы находимся? В какой стране, на каком континенте?

— Вы это серьезно?

— Да, вполне. Где мы, черт возьми? В Италии, Испании, Анатолии? Или во Франции? Или на каком-нибудь острове в Адриатике?

— Скорее на острове.

— Скорее? Вы что, тоже не знаете, где мы?

— Знаю, знаю. Но наше местонахождение не определяется физической географией.

— А чем же оно определяется?

— Кармой.

Все ясно, она чокнутая буддистка. И толку от нее грош. Хотел ей посоветовать засунуть эту самую карму в... но не стал. Поблагодарил и дальше отправился.

А рыжая крикнула мне вдогонку: «Вы свою милашку спросите, мистер, она вам скажет, где мы. Она точно знает, вижу по глазам».

Некоторое время мы шли молча, потом я все-таки спросил Верену: «Солнышко, эта тетя думает, что ты знаешь, где мы. Скажи мне пожалуйста».

Верена ответила сразу: «Не беспокойся, опа. Мы тут, на пляже. И нам хорошо. Посмотри, как сверкают брызги».

И побежала ловить краба.

Километрах в пяти от нас на невысоком холме возвышается колоссальное мрачное здание — то ли замок, то ли храм. Чем ближе мы к нему подходим, тем выше и мрачнее оно становится.

Эклектика. Башни, башенки, колонны, купола, минареты, фронтоны, аркбутаны...

Смесь Агия-Софии, Тадж-Махала, Галатской башни, Мон-Сен-Мишель и Рокфеллер-Центра.

Похоже, что оно, это странное сооружение, и является нашей целью. Туда мы идем. Но до него еще далеко. Идти и идти. Поэтому и я и Верена ведем себя так, как будто у нашей прогулки никакой цели нет... дурачимся, брызгаемся, бросаем камешки в воду, играем в догонялки.

Так легче.

Я пользуюсь тем, что моя память частично восстановилась. Рассказываю Верене сказку о великане-людоеде Блендерборе.

Веселость наша, однако, улетучилась после того, как на нашем пути возникли непонятно откуда взявшиеся странные существа. Не Блендербор с Кормораном, но тоже довольно неприятные.

Ничто не предвещало их появления. За несколько минут до этого я с удивлением отметил про себя, что на пляже... от нас и до самого замка — никого нет. В потемневшем небе не висели дирижабли, корабли скрылись за горизонтом, пропали бегуны и туристы. Статуи темных богов зловеще молчали.

Прибой не шумел. Застывшее море представлялось мне студенистым чудовищем, готовым подняться громадным горбом до небес, зависнуть над нами и броситься на нас, раздавить своей свинцовой массой.

Темный замок или храм занимал половину горизонта... он выглядел так, как будто хотел поглотить всю вселенную.

Я поехал, с трудом отогнал неприятные мысли, бросил в море камешек... Камешек вошел в воду бесшумно, без всплеска. Не упал, а исчез в синей пустоте.

Три живые металлические фигуры. Антропоморфные.

Яйцеголовые. Нагие, но без каких-либо признаков пола, босые.

Все трое — в круглых темных очках, с чем-то вроде антенн с шишечками на конце на голых черепках. И ростом метра в три.

Роботы из эластичного металла? Чья-то идиотская шутка?

Меня они испугали, а Верене — скорее понравились. Она подошла к одному из них и потрогала его шершавую ладонь. А потом положила руку на его живот. И погладила. Рассмеялась по-детски звонко и весело. Существо никак не отреагировало. Верена пожалала худенькими плечами и спряталась у меня за спиной. Уцепилась за рюкзак и повисла.

Я растерялся, но постарался не показать это моей спутнице.

Спросил осипшим голосом, чуть было не пустив петуха: «Что вам угодно, господа? Вы заблудились? Могу ли я вам чем-нибудь помочь?»

Тот, которого Верена гладила по животу, ответил ужасным компьютерным голосом. Только не мне. Он обращался к своим друзьям.

— Подумайте только, этот человек спрашивает, не может ли он нам помочь. Нам! Он спрашивает, не заблудились ли мы тут, на пляже! Как будто тут можно заблудиться!

Те закивали свои своими большими круглыми головами и глумливо захмыкали. Да, мол... это нечто.

— Что же, в таком случае мы пойдем дальше.

И опять мой голос, несмотря на все мои старания, прозвучал неуверенно и жалко.

Я оторвал руки Верены от рюкзака, поставил на песок, взял ее за руку, и мы побрели к замку.

Металлические существа гулко захохотали. Их антенны гадко задергались. Я видел это, потому что обернулся.

Представляете себе хохочущих и дергающихся металлических матрешек высотой со светофор.

Минуты через две я оглянулся еще раз. Существа исчезли.

А в море неожиданно появились и круизный лайнер, и военные корабли, и яхты. Прибой приятно шумел. Небо прояснилось. Море больше не грозило подняться и броситься на нас. Его теплая водичка освежала грязные перламутровые пальчики на ножках Верены. А по асфальтовой дорожке побежали джоггеры и заходили разодетые в пух и прах туристы.

Солнце так и стояло в зените. Похоже, время тут не шло.

На полпути к замку мы встретили процессию, состоящую из сотен обнаженных женщин. Они шли организовано, по четыре в ряд.

Мне сразу стало ясно, что эти женщины побывали в замке-храме, и там с ними что-то произошло, что-то необычное, возможно ужасное. Выглядели они так, как будто кто-то зарядил их как аккумуляторы — особой яростной энергией. На их лицах читалась решимость... нет, фанатичность, даже лютость. Нагота их вовсе не смущала. Казалось, дай им сейчас мётлы, они тут же вскочат на них и полетят. И устроят в небесах побоище с войсками архангела Михаила. И неизвестно, кто победит.

Впереди вышагивала властная, уверенная в себе дама лет шестидесяти. Ее массивные отвислые груди болтались как боксерские груши, когда их бьют своими тяжелыми кулаками боксеры. Причинное место заросло густыми кудрявыми волосами. Казалось, из этих джунглей вот-вот выглянет жуткая зубастая рожа. Ее фигура, ее движения отражали не только целеустремленность, сосредоточенность на миссии, но и готовность убивать или быть убитой ради неизвестной мне, но пугающей своей заведомой бессмысленностью цели. Кошмарная тётка.

За ней маршировали женщины помоложе... топали так, как будто раньше служили солдатами на этой проклятой, никогда не кончающейся войне.

Последней в процессии шла симпатичная белокурая девушка. Кажется, она немного стеснялась. Прикрывала лобок и грудки руками.

Я поклонился ей и сказал, когда она поравнялась со мной и Вереной: «Позвольте узнать, откуда вы идете?»

Белокурая остановилась, как-то особенно посмотрела на меня своими светло-голубыми глазами, хлопнула длинными ресницами и заявила: «Мы идем оттуда, где вас уже ждут-не-дождутся, любезный барон. Поспешите. Церемония начнется через два часа. Надеюсь, ваша миленькая крошка ни о чем не догадывается?»

Говоря это, она кивнула в сторону девочки.

— О чем это она не должна догадываться?

— Ага. Я вижу вы все еще находитесь в стадии затемнения сознания. Сочувствую. Но это скоро пройдет.

— Какого затемнения? Нам что, грозит опасность там, в замке?

— В замке? Крепко же вас прихватило. Кому-кому, а вам не нужно объяснять, что это за здание. Вам там ничего не грозит, а вот...

— И все-таки, что это за здание?

— Давать справки нам запрещено, но я нарушу этот запрет... надеюсь, меня поймут. Это храм нашего с вами повелителя. Советую вам все вспомнить до того, как вы с ним встретитесь, если не хотите быть брошенным в озеро огненное. Ах, я тут с вами заболталась, а мои сестры меня уже, наверное, хватились. Матушка Немезида может и розгами выпороть...

— Одно слово, прошу вас, только одно наводящее слово!

— Ковчег.

Сказав это, белокурая терпко посмотрела на меня и с видимым сожалением — на мою спутницу и побежала догонять процессию.

Какой ковчег? Ноев что ли? И кто этот «наш повелитель»? Неужели сам...

И почему она назвала меня бароном? Пошутила? Какой я к дьяволу барон? Разве что цыганский. Или Мюнхгаузен. На пушечном ядре летаю. И за восьминогим зайцем гоняюсь.

Верене грозит в этом храме опасность? От кого? От «нашего повелителя» или... от меня?

Скоро мы подошли к подножью холма, на котором стоял храм. К входу в храм вела широкая лестница.

Меня раздирали противоречивые чувства.

Ноги сами вели меня в храм. Противиться этому я не мог. Видимо, я тоже был кем-то заряжен или зомбирован.

И одновременно — внутренний голос орал мне в уши: «Идиот! Ты не просто тащишь невинного ребенка в это логово одержимых... ты ведешь ее к жертвенному алтарю. Под нож палача-сектанта. Опомнись. Спасай девочку! Беги отсюда! Прямо сейчас».

Я взял Верену на руки и с ужасным трудом повернулся к лестнице задом. Неведомая сила не хотела мне это позволить. А затем случилось то, что я никак не мог предвидеть.

Перед нами — из ничего — прямо на пляже материализовалась гигантская голова бородатого и усатого мужчины. У головы была зеленая кожа и вишневые губы. Она вперилась в нас яростными красными глазами. Из ее раскрытой пасти с акульими зубами вырвался львиный рык.

Из ее ушей выскакивали на песок, один за другим, маленькие гадкие волосатые бесы. В лапах у них были железные багры. Они явно были готовы пустить их в дело.

Я понял, что сила не на нашей стороне. Пробормотал: «Ладно, ваша взяла».

И пошел с девочкой на руках по чертовой лестнице вверх. Подняться надо было метров на сто пятьдесят. Нелегко для старого человека. Запыхался, но одолел.

Не знаю, зачем, считал ступеньки. Не удивился тому, что последняя была шестьсот шестьдесят шестой. Если я конечно не просчитался.

Перед нами были высокие двустворчатые ворота из резного камня. Что было на них изображено — я не разобрал, слишком волновался.

Ворота были закрыты, из-за них доносился леденящий душу звук — жестяной скрежет, хруст ломающихся костей и вой. Сердце мое сжалось...

Верена и тут оказалась решительнее и храбрее меня. Подошла к воротам и положила руку на правую створку. И ворота тут же начали медленно открываться.

Внутрь.

Мы вошли в просторное, высокое, полутемное помещение, что-то вроде атриума. Освещалось оно через круглое отверстие в потолке, как римский Пантеон. Стены его покрыты фресками, на которых изображены ландшафты средневекового ада, на мраморном полу — статуи уродливых широкоплечих гоблинов. Статуи ли? Статуи не покачиваются и не рычат.

Мы сразу определили источник страшного звука. Это была башня. Да, в центре атриума стояла архитектурная конструкция, напоминающая многоэтажную башню. Или толстую колонну неправильной формы. На внешней по-

верхности этой башни были повешены за руки люди. Много людей, мужчины и женщины. Башня была местом их мучения. Это они издавали этот страшный вой. Скрежет и хруст доносился из внутренних помещений башни. О том, что там происходило, я не хотел и думать. Что-то очень жуткое.

Я сказал Верене: «Пойдем скорее отсюда».

Взял ее за руку и повел к небольшой двери. Неожиданно Верена прошептала, блеснув глазками: «Ты не хочешь даже попробовать освободить этих несчастных на башне?»

Конечно, она была права. Я должен был хотя бы попробовать. Но я боялся. Кроме того, я твердо знал, что ничего у меня не получится...

Верена вырвала свою ручку из моей руки, подбежала к висящей на башне жалобно стонущей женщине средних лет и ласково погладила ее дергающуюся босую ногу.

Я не в силах подробно описать то, что случилось после этого.

Светопреставление.

Башня со всеми висящими на ней людьми исчезла. Атриум в храме Сатаны превратился в обыкновенный зал европейского музея старого искусства.

Я вспомнил, кто я такой, где мы и почему, и догадался, что с нами будет дальше.

Солнце наконец начало двигаться по небосводу.

Анатолий НИКОЛИН

(*Мариуполь*)

МОНЕТА ХАРОНУ

I

Теплый влажный ветер переместился на северо-восток и задул так морозно и сухо, что он вынужден был отвлечься от своих мыслей, чтобы поднять воротник плаща и нахлобучить на глаза кепку. Брел он по песку пустынного пляжа и думал, что здесь он совсем один, а ведь когда-то это были родные места, родной для него город. И что его жизнь описала символический круг, приведя его снова к той точке, откуда она начиналась. Даже не особенно приглядываясь, можно было увидеть, как вокруг все изменилось. Не те, что были раньше, в юности, дома, не тот общественный транспорт. И даже бульжная некогда мостовая теперь покрыта слоем — или даже несколькими слоями — ненового серого асфальта. Не те люди, не те деревья...

Да, подумал Евсеев, не бывает в жизни ничего постоянного. Застывшего, как балерина на пуантах, когда в оркестровой яме смолкает музыка и раздаются первые робкие аплодисменты.

В сущности, — он приехал в субботу и за три эти дня вволю набродился по городу, — его приезд был напрасен. Потому что ничего он здесь не найдет такого, что говорило бы ему о прошлой жизни или вселяло надежду на бу-

дущее. Да и где искать ее, девушку по имени Аля. Ведь это из-за нее, в почти несбыточной надежде увидеть ее еще раз и проделал он сложный путь из Сибири на юг, где из родных и знакомых никого уже не осталось. Сначала самолетом он летел до Москвы. Потом двое суток мучился в поезде и в конце концов в сердцах решил, что с него хватит. Это его последняя поездка. За полвека он вдоволь наездился по командировкам и отпускам. Так и сидел бы до сих пор дома, если бы не ужалила его оса воспоминаний и юношеская тяга к странствиям. И вот после пяти лет, мирно проведенных на пенсии, он снова засобирился в дорогу. Поселился по приезду в самом центре города, в новенькой двухэтажной гостинице коттеджного типа, почему-то именованной «Барселона». Вероятно, решил он, хозяин гостиницы — поклонник каталонского футбольного клуба, и ему доставляет удовольствие каждый день созерцать его название на фасаде своего заведения.

Отельчик, когда он по приезду осмотрелся, оказался неплохим, чистым и уютным. И, главное, полупустым. Никому и в голову не приходило приезжать в этот курортный город глубокой осенью...

...И вот теперь — Аля. Это ради нее он затеял путешествие на юг. Как он считал — последнее в его жизни. Когда-то это была юная пленительная девушка, а теперь, наверное, толстая рыхлая баба, страдающая одышкой и полным забвением девичьих сантиментов. Алла или Алевтина, Алина... у него не слишком богатый словарный запас. К тому же с прибавлением отчества, а он его — забыл: у ее отца было редкостное имя. Теперь он с трудом вспоминал, как выглядели родители Али. Когда с нею случилась эта неприятность, то оба, отец и мать, зачастили в школу по вызову директора для воспитательных бесед. Отец коренаст и вальяжен. Большая

голова, крупный нос, красивая, благородная осанка. Профессор математики в местном пединституте... Мать, смуглая, черноглазая, тяжелобедрая и грузная, несмотря на относительную молодость.

«Кажется, им, отцу и матери, не было тогда и сорока лет, — вспоминал он. — Но мне, нам они казались рыхлыми пожилыми людьми. Тихими и застенчивыми, как все немолодые супруги. Теперь они моложе меня и, оказывается, даже в древнем возрасте можно испытывать юношеские эмоции...» Смолоду его обуревало странное для юных лет чувство сиротливости и ранней обреченности. Сначала от отсутствия биографии — в молодости недостаток прошлого воспринимается как нечто ущербное. А потом, когда он сам стал взрослым, — от мелочности проживаемой им жизни. Хотя все у него было как у всех: институт, работа инженером на заводе холодильников «Норд». Серьезная должность заместителя директора по маркетингу...

С этим руководящим грузом он и вышел на пенсию, когда пришло время. Да еще с чувством хорошо исполненного долга, хотя червячок сомнения все-таки его точил. Он чувствовал, что жизнь его сложилось не так, как нужно было. Осталось что-то недоговоренное, недосказанное. Он ведь был способен на большее. Но то ли не разглядел вовремя свои возможности, то ли не захотел утруждать себя излишним рвением... Хотя, — не веря самому себе, вздохнул он, — жизнь, как говорится, продолжается, и сюрпризы в ней еще возможны...

С этими не столько грустными, сколько привычными мыслями он и добрел по сырому песку осеннего пляжа до прибрежной кафешки на сваях. Метров на сто странноватое это заведение выходило в море подобно рукотворному мысу. Да оно и называлось — кафе «Мыс». Коротко и ясно. Легко запомнить, легко выговорить, когда он дома будет рассказывать о поездке на родину. Неизвестно,

правда, кому — у жены его воспоминания энтузиазма не вызовут. Да и не нужно ей знать, кем он был в молодости и кого любил... А друзей у него нет. Все разбежались по своим углам, а кое-кто уже присмотрел уголок в царствии небесном. Коротает дни на полях Элизиума, поглядывая свысока на нас, оставшихся внизу...

Холодный бриз, пока он брел по пустынному молу, гнал мелкие, блестящие на солнце волны. И он подумал, что непрекращающееся движение волн — лучшее напоминание о бесконечности жизни. И что он, Сергей Евсеев, человек, давно находившийся не у дел, всего лишь повторяет то, что случалось со многими людьми до него и случится с ними после...

II

Кафе на сваях, несмотря на безлюдный пейзаж, к его удивлению, работало. Он сел за ближайший к ограждению столик и огляделся. Да, на побережье нет ни души, если не считать трусившей по берегу и глянцевито черневшей на солнце своей шерсткой бродячей собачонки. Она напомнила ему — в голову пришли стихи Рильке — «что-то, на что смотришь каждый день вот уже много лет». Выйдя на пенсию, он много читал, особенно в длинные зимние вечера. Библиотека досталась ему от родителей небольшая, но всю жизнь он усердно ее пополнял новыми книгами, потому что собирать книги было модно, и генеральный директор «Норда», маленький, энергичный, страшно начитанный человек, ценил образованных заместителей. Ему не хотелось терять марку книгочех, а вместе с нею, предполагал он, и неплохую должность — неученых соратников генеральный легко и весело менял на ученых. И теперь с новым пониманием их смысла Евсеев перечитывал по вечерам читанные давно, в подернутой туманом прошлой жизни, книги...

В его время книгам и музыке молодые люди радовались не меньше, чем хорошему вину или поездкам с девушками в Крым и на Кавказ. А по приезде домой все у него бывало, как у Чехова: ему снились горы, женщины, музыка. И сладость воспоминаний по избытку переживаний не уступала живой жизни. С нежностью он думал о девушках своей молодости. Они были не чета нынешним: любили стихи Блока, шампанское, а не пиво, как современные девы, и замуж выходили по любви, а не по расчету или просчету...

Насчет замужества вопрос, конечно, спорный, — тяжело вздохнул он. — Потому что у Али — или Алины? — вышло как раз по просчету. Хотя, если вдуматься, так уж велика разница между тем и другим?

И он опять подивился мрачности своих мыслей, без особых на то причин отягощавших его существование. В сущности, всю жизнь он заклеивал, закрашивал темными, густыми красками одно единственное случившееся с ним происшествие. Но так и не сумел его замазать — оно отпечаталось в его памяти во всех подробностях...

III

Подошла неторопливая и вялая от дневного безделья официантка. Молодая круглолицая девушка в красивой униформе с шелковистыми складками терпеливо ждала, пока он внимательно изучал книжечку меню. Вытянув трубочкой губы и немного поколебавшись, он выбрал красное вино и салат из овощей. Ему хотелось супу, но жидкое в кафе не готовили из-за отсутствия клиентов, объяснила девица, и пришлось ограничиться тем, что есть. А жаль, подумал он. И вспомнил, что однажды — это было всего лишь однажды, когда он мог сказать ей все, что он хотел! — он сидел у нее в гостях. Той зимой Аля бо-

лела, и болела очень долго, почти целую четверть. По поручению классного комитета — в то дремучее время в школах имелись и такие новообразования! — он пришел ее проведать. Принес купленные на собранные в классе деньги конфеты, яблоки и апельсины.

«Ой, зачем вы так старались!» — ахнула она. Но он видел, что подарки ее обрадовали и умилили, хоть она и делала вид, что сердится на ненужные затраты. Показная скромность с налетом аскетизма — тоже черта советского воспитания. Лицемерие не такая уж плохая вещь, подумал он, если оно действительно бескорыстно...

Она усадила его на кресло, а сама уселась напротив, — так они и восседали в гостиной, как Хрущев и Джон Кеннеди во время их встречи в Вене. И так же натянуто улыбались, не зная, о чем говорить.

«Ну, рассказывай школьные новости — все, все, большие и малые, — попросила она. — Как вы поживаете? Как наш химик, по-прежнему ставит двойки налево и направо?»

При упоминании школьного химика Ивана Федоровича Глотова, сильно пожилого человека, абсолютно глухого, с небрежно вставленным в ухо слуховым аппаратом с проводками, всегда неряшливо одетого, угрюмого и сердитого, Сергей оживился. Стал рассказывать, удачно копируя его медленную, окающую речь и смешившие школяров словечки и присказки. Она от души хохотала, широко разевая и без того широкий, однако совсем не портивший ее рот и показывая белые влажные зубы. Он же думал не о химике, а о том, как сильно он любит эту худощавую смешливую девушку, а за что — он и сам не знает. Есть такая разновидность юношеской любви, когда любишь не за особенную красоту, а за то, что пришло время любить. Конкретная особа при этом не играет значительной роли. Это может быть она, Аля, а может и другая, од-

ноклассница или вовсе незнакомая девушка, случайно встретившаяся на улице, в театре — да где угодно! Все они одинаково привлекательны, все волнуют воображение, и слова восхищения так и рвутся им навстречу...

Она, вероятно, испытывала те же чувства, потому что смотрела прямо, не сводя с него блестящих, взволнованных глаз, и тонкая, блаженная улыбка дрожала на ее губах. Он порывался рассказать ей о себе, о своем отношении к ней, сложном и неясном. Но каким именно оно было — он сказать бы затруднился. И слова, простые и горячие, тяжелыми комьями застревали у него в горле.

«Дура я, — ахнула Аля, ловко вскакивая из кресла. — Даже чаю тебе не предложила! Давай-ка лучше я тебя накормлю! Мама приготовила замечательный суп, по итальянскому рецепту, очень вкусный. И не отказывайся, — запротестовала она, когда он испуганно замахал руками и сделал умоляющее лицо. — Иначе я обижусь и прогоню тебя вон! Ты же не хочешь, — улыбнулась она, — чтобы я тебя прогнала? Тогда вставай и следуй за мной!»

Они сидели за кухонным столом, покрытым клеенчатой скатертью, расписанной летними плодами в натуральную величину. Он застенчиво ел овощной суп с бобами, напоминающий минестру, наваристый, густой и пахучий. Суп действительно был вкусен. Он боялся выглядеть голодным и жадным и ел нарочито медленно, словно нехотя.

«Тебе не нравится?» — тревожно заглядывала она ему в глаза.

Он сдержанно улыбался, отрицательно мотал стриженной головой с завивающимися возле ушей локонами, из-за них в классе его дразнили «Сережка-Помпадур», и думал, почему же ему с ней так сложно и тяжело. А ведь могло быть иначе, запивая салат густым красным вином, думал он. Человек устроен странно и ужас-

но непоследовательно. Ждешь от нее, сидя с девушкой, откровенности и легкости, чтобы рассказать ей, что ты чувствуешь, а когда представляется удобный случай, возникает натянутость и охватывает желание уйти. То ли ты ей не доверяешь, то ли сам в себе не уверен...

И, пошучивая и бравируя школьным остроумием, он пересказал ей последние новости, вплоть до того, что на этаже у них появилась вместо старой и немолодой новая молодая уборщица Клава. А любимая «русачка» Светлана Васильевна ушла в декретный отпуск, а на Новый год в актовом зале будет устроен грандиозный карнавал, и всем старшеклассникам велено явиться на праздник в карнавальных костюмах...

Рассказывал он со смешными подробностями, с шутками и колкостями в адрес преподавателей и чувствовал, что ведет себя глупо, по-детски. И по мере того, как он шутил и паясничал, он как-то странно выдыхался и слабел, отчего все, что он сообщал, выглядело несуразно и нелепо в сравнении с тем важным, о чем он умалчивал. Ему казалось, что откровенность между ними будет не к месту, не к настроению — «не к жизни», — и ненужной своей искренностью он только все испортит. «Почему она — это не я, — думал он, — объясниться с нею было бы значительно проще. А так думай, попадешь ты ей в тон или нет...»

«Спасибо, что пришел, — весело чмокнула она его в щеку, когда после часа мучений он одевался в прихожей, а потом шутливо и неловко перед нею расшаркивался. — Передай от меня спасибо всем нашим за то, что не забыли. Впрочем, — засмеялась она, — я ведь уже почти здорова. Здорова, как корова!.. К Новому году доктор обещала выпустить меня на волю. Так что до скорой встречи!» — дружелюбно кивала она, стоя в проеме двери и маша ему рукой.

«Ничего, — с облегчением думал он, шествуя к дому заснеженной улицей, на которой загорались первые фонари. — В следующий раз обязательно с ней объяснюсь...»

IV

Следующий случай представился довольно скоро. Аля, как и обещала, появилась в школе за неделю до новогодних праздников. Утром, войдя в класс, он сразу ее увидел. Она стояла у окна в окружении девочек и что-то весело им рассказывала. Он был ошеломлен ее взрослой красотой, по-взрослому распущенными волосами, красиво обрамлявшими похудевшее после болезни лицо с огромными темными глазами толстовской княжны Марьи.

Первым уроком был английский язык. Аля легко вошла в тему, и он подивился, как непринужденно она болтает с англичанкой, худой и ироничной молодой женщиной, обожавшей Голсуорси и пренебрежительно относившейся к своим невежественным воспитанникам. Подивился ее голосу, тихому и словно неуверенному, несмотря на безошибочность произношения и разнообразную лексику. И тому, с какой грацией она выговаривала неудобопроизносимые британские глаголы. Было в ней столько изящества, породы, немирской какой-то прелести, что он замирал от восхищения и очнулся оттого, что его толкает сосед по парте, Володька Сверчков.

«Ты оглох, что ли, тебя вызывают!» — прошипел он...

В середине урока в класс заглянула завуч школы Любовь Александровна.

«Елена Владимировна, — обратилась она к англичанке, — срочно зайдите к директору. Пришла мама Щукина...»

Щукин, двоечник и хулиган, известная в школе личность. Учился он в выпускном классе и занятия пропускал целыми неделям.

«Школы с меня хватит, — хвастал он перед благоговевшими перед ним поклонниками и поклонницами, видевшими в нем второго Овода — героя популярного у молодежи романа Войнич. — Выпишут мне аттестат зрелости как миленькие, куда они денутся...»

Внешности «Овод» был отнюдь не героической, а совершенно невзрачной: щуплый, белобрысый и к тому же очкарик. Но юноша он был невероятно смелый, предприимчивый и хладнокровный. Однажды среди бела дня он ограбил учительскую. Вычистил карманы пальто и содержимое висевших на вешалке сумок, когда преподаватели были на уроках и дверь в учительскую была распахнута настежь...

Щукина в краже уличили случайно, на одном из редких уроков, которые он посещал. Учительница математики увидела у него в руках собственную наливную ручку с золотым пером. Огласке это дело решили не придавать, дабы избежать нагоняя от начальства, проверочных комиссий и неизбежных кадровых перемен. Щукина обязали вернуть «конфискованное» имущество и деньги, в противном случае пригрозили ему исправительной колонией для несовершеннолетних.

С англичанкой у него возник конфликт из-за пустяка. Она вызвала его к доске. Щукин лениво отказался и, как ни в чем не бывало, принялся с увлечением раскладывать на парте карточный пасьянс. Покрывшаяся красными пятнами почитательница Голсуорси потребовала от него покинуть класс. Щукин вытащил из кармана и молча ей показал блеснувший тонким лезвием финский нож...

В классе с уходом Елены Владимировны воцарился хаос. Все ринулись к учительскому столу и лихорадочно

перелистывали классный журнал. Полугодие близилось к концу, по некоторым предметам отметки были уже выставлены, но еще не оглашены, и всем хотелось взглянуть на итоговую страницу. Евсеев изо всех сил тянулся на цыпочках, заглядывая в истерзанный журнал из-за могучих плеч гиганта-борца Валерки Кравцова. Сзади зашуршала платьем Аля. Он ощутил на своей щеке ее чистое, прохладное дыхание, на спину ему легло что-то круглое, упругое и такое нежное, что у него перехватило дыхание. От теплоты и беззащитности Алиных грудей голова у него кружилась, в глазах потемнело, а во рту пересохло, как в летнюю жару, так что он ничего не видел и не слышал. Ни классного шума, ни чьего-то истеричного шепотка листать дальше, и только испуганный Валеркин возглас: «Атас, кто-то идет!» — заставил его очнуться. Все бросились к своим партам. Аля уселась в первом ряду и стала поправлять сползавшие плечики школьного фартука. На лице у нее не было написано ничего, кроме озабоченности. И Сергей подумал: не приснились ли ему ее мимолетное прикосновение, легкое дыхание и вся она, доверчивая и даже не подозревавшая, какую бурю произвела в его душе и теле...

V

Он удивился и обрадовался, когда спустя несколько дней Аля подошла к нему сама. Он сидел у окна школьной столовой, расположенной в цокольном этаже. Поглядывая на огромный сугроб, привалившийся к окну после ночного снегопада, он торопливо поглощал гуляш с вермишелью. Алю он старательно избегал и на переменах делал вид, что ее не замечает. Она, кажется, тоже не горела желанием вступать с ним в беседу — ни на перемене, ни в классе, ни на лабораторных работах по химии и физике. Везде и всюду ее сопровождали девочки, и все время тараторили о своем. Или, понизив голос, шушукались в стек-

лянном эркере, вдали от всех, — обычные девичьи секреты. Кратковременное общение с Алей у нее дома, во время болезни казалось Сереже приятным исключением из принятого между ними тона, полудружеского, полуравнодушного, если им случалось переброситься двумя-тремя словами. Втайне он мечтал о новом разговоре с нею, но подойти первым ему было стыдно, и он ждал, когда она сама проявит инициативу.

«Приятного аппетита, — подошла Аля с подносом в руках — тарелка с салатом и стакан кофе с молоком, накрытый сдобой. — Не обременю своим присутствием?»

«Ради бога...»

«Ты такой серьезный, — села она, оправив платье. — Девочки говорят, что ты гордый, это правда?»

«Не знаю. Что за странные выводы!..»

«Тебе не нравится, когда о тебе говорят не слишком хорошо?»

«А кому это понравится?»

«Да, — сказала она задумчиво, — злословие никто не любит. Но есть люди, которым оно безразлично. Безразлично, что о них думают или говорят другие. Это взрослые люди, они знают себе цену. Я-то думала, ты из них...»

Она сосредоточенно принялась за салат, а он исподволь любовался движениями ее руки, сжимавшей вилку, — тонкой, почти детской кистью с длинными музыкальными пальцами. Потом неторопливо, мелкими глоточками она пила кофе, откусывая булочку, и рассеяно поглядывая на заснеженное окно и на белый потолок над ним. Казалось, она думает о чем-то своем, не имеющем отношения к нему, Сереже Евсееву, и даже к этому миру. Отголоски ее непонятных и невеселых мыслей сквозили в случайных репликах и грустных интонациях. Говорила она тихо, и ему приходилось напрягать слух, чтобы ее услышать. Она словно разговаривала сама с собой, и до него ей не было никакого дела.

«Как ты собираешься встречать Новый год?» — отряхнув крошки, спросила под конец она.

«Не знаю, — пожал плечами он, — об этом я не думал. Хотя пора бы, Новый год на носу... Конечно, приду в школу на карнавал, это обязательно. А вот новогоднюю ночь... Нет, не знаю. Скорее всего, проведу ее дома, с родителями».

«Но это так обычно! — воскликнула она. — Тебе не надоело каждый раз повторять одно и то же?»

«Но ведь и Новый год тоже повторяется. Все в жизни повторяется, ты разве не замечала?»

«Да, — как-то поникла она, — ты опять прав. Что мне с тобой делать, таким умным? — Она вздохнула и засмеялась. — Если хочешь, приходи ко мне на новогоднюю вечеринку. Будут все наши... некоторые. Буду тебе рада».

Он для вида поломался и деланно-решительно потрянул длинными волосами.

«Хорошо, я не против...»

«У тебя волосы, как у Листа!» — засмеялась она, вставая и окидывая его таким сияющим взглядом, что он упрекнул себя в жеманстве и неуместном кривлянии.

«Мы собираемся в семь вечера...» — кивнула на прощанье она и выпорхнула из-за стола.

VI

С этого хмурого снежного дня он стал считать дни и часы, оставшиеся до Нового года. Он раньше не придавал значения этому празднику: подумаешь, куранты, шампанское, подведение итогов... У него не было никаких итогов, жизнь только начиналась, и каждый прожитый день тянулся медленно и сонно, как лето на даче. Днем солнце жарит вовсю, все живое замерло и спряталось в ожидании вечерней прохлады. Так и он — словно застыл в предчувствии новой жизни. Нехотя высиживал последние и не-

нужные уроки, — новых тем в конце четверти не осваивали, только повторяли для закрепления старое. Все новое начнется потом, после праздников. Дома заняться тоже нечем, и он радовался, когда наступали понедельник, среда и пятница, тренировочные дни. После уроков Сережа спешил со спортивной сумкой в огромный звучный спортзал, где его встречал оглушительный перестук мячей и бодрые выкрики разминающихся игроков — сборная школы по баскетболу готовилась к новомуднему турниру. Он только недавно был зачислен в сборную, ему хотелось блистать на тренировках и на соревнованиях, и жажда успеха, и волнение, которое охватывало его каждый раз, когда он выходил на расчерченную белой краской игровую площадку, затмевали прочие переживания. В спорте его кумиром был баскетболист рижской команды СКА Майгонис Валдманис, такой же, как и он, невысокий скоростной крепыш, опасный в контратаке. Сергей легко входил в игру, стремительно перемещался по флангам и при первой же возможности атаковал кольцо противника. У него был меткий бросок, неплохая техника, и тренер, худой верзила с золотым зубом, игрок взрослой баскетбольной команды, поощрительно похлопывал его по плечу: «Молодца, Евсеев, ты прирожденный нападающий!»

Но за пределами баскетбольной площадки его напористость исчезала, и он снова превращался в угрюмого медлительного мизантропа, предмет насмешек девочек и недоумения только что бурно аплодировавших ему в спортивном зале юношей. Предстоящая вечеринка заставляла замирать его сердце. С одной стороны, весь вечер и новогоднюю ночь он будет видеть Алю. Разговаривать с ней, и что-нибудь вдвоем они, конечно, будут обсуждать. Ему хотелось, чтобы это были их взаимоотношения, которых, в сущности, и не было. И вот тогда-то, возможно, он и осмелится ей рассказать о своих переживаниях. Его мучила неопределенность его положения, по-

скольку нельзя было поручиться, что его признания будут восприняты ею благосклонно. Скорее всего, не будут, впадал он в тихую панику. И приближающееся празднество представлялось ему уже не праздником, а катастрофой, крушением всех его надежд.

Из дома в этот день он вышел рано, не было и пяти часов. Сердце гулко билось, пока он бродил по заснеженным улицам, а во рту от волнения бушевала противная сухость. Мимо пробегали, заскакивая в переполненные магазины, озабоченные последними приготовлениями к празднику люди. В витринах, в сугробах ватного снега торчали румяные Деда Морозы с белой бородой и в красных халатах. Бледноволосые Снегурочки в бело-голубых шубках глупо выпучивали синие глазки в длинных ресницах. В торговых залах — Сережа уныло бродил по ним, чтобы согреться, — перемигивались разноцветные огоньки. Стоял запах халвы и мандаринов, и он завидовал новогодним хлопотам и спокойному счастью всех этих нетерпеливо ожидавших праздника людей.

Чтобы отвлечься от нараставшего — чем ближе было назначенное время, тем оно было сильнее — волнения, он толкался в очередях. Впивался глазами, ничего не видя, в витринные ценники и напускал на себя деловой, озабоченный вид. И со страхом ждал минуты, когда подойдет к дому, где жила Аля, и нажмет кнопку звонка.

Он так себя умирал и сдерживал, что опоздал на сорок минут — дорога заняла больше времени, чем он рассчитывал. К тому же пошел снег, и разгулялась метель. В белой мельтешащей полутьме он с трудом отыскал нужный дом, поднялся на четвертый этаж — в подъезде было сумрачно, чуть слышно потрескивали батареи отопления — и оказался в тепле и свете просторной квартиры Гусаковых. Здесь всю гремела музыка, и на паркете топтались в танце первые пары.

Постепенно все приглашенные собрались, и вечеринка началась сама собой. В большой гостиной ковры были свернуты и вынесены в коридор, а у широкого окна с солнечного цвета гардиной белел уставленный блюдами стол.

Серезу в прихожей встретила нарядная Аля. Глаза ее радостно поблескивали, волосы присыпаны новогодним конфетти, и новое плиссированное платье делало ее совсем взрослой.

«Рада тебя видеть, Сержик! Проходи, мы уже танцуем...»

Его больно резанул ее тон, веселый и безразличный. И он подумал, что зря согласился встречать Новый год у Гусаковых. Отчетливо понял, что, в сущности, Але он не нужен и не интересен, но менять решение было поздно.

«А, будь что будет!..» — с отчаянием подумал он, входя в ярко освещенную гостиную со сверкавшей огнями и гирляндами новогодней елкой.

Гости, парни и девушки, перевитые серпантинном, кружились под звуки магнитофона. Он увидел два новых лица: коренастую смешливую Вику, двоюродную сестру Али, и девушку лет двадцати, Нину. Нина была сестра школьного красавца и лучшего чертежника в классе — ему прочили карьеру инженера-конструктора — Саши Данилова.

Саши, тонкого, ломавшегося от худобы паренька, жившего в этом же доме, на вечеринке не было...

«Дорогие гости, прошу к столу!» — провозгласила хозяйка. Она была возбуждена обилием гостей, танцами и всеобщим вниманием.

«Я хочу сказать, — поднялась с бокалом вина Вика. — Первые поздравления уже сделаны, хорошие слова сказаны. Но Новый год — это такой праздник... такой... Словом, праздничные пожелания и напутствия сегодня всю ночь не должны прекращаться. И хочу добавить еще...»

Она раскрыла заранее приготовленную открытку с зимним новогодним пейзажем и краснощеким Дедом Морозом с мешком за плечами, и принялась декламировать:

Пускай мы видимся нечасто,
Тебя я часто вспоминаю, друг.
Пусть будет над тобой не властно
Ни время, ни неверность бурь...

Долго и звучно Вика декламировала стихотворное поздравление, в котором было все — и любовь к «ненаглядной сестрице», и сетования по поводу редких встреч, и просьба не забывать любящих родственников.

«С наступающим Новым годом, сестричка, — тебя и твоих друзей!»

Дверь отворилась, и на пороге показался Алин отец, упитанный осанистый профессор и доктор наук — он вспомнил его имя! — Гений Николаевич Гусаков. Благодаря отцу место студентки пединститута Але было обеспечено, и все ей завидовали. Не нужно было ей, как всем остальным, мучиться на вступительных экзаменах, гадая, пройдешь по конкурсу в институт или нет. Все у нее было расписано на годы вперед: школа, институт, аспирантура, защита диссертации, работа на кафедре... Замужество за перспективным молодым ученым, семья, дети...

«Благодарю вас, молодые люди, — склонил седую голову Гений Николаевич, — за оказанную честь встретить Новый год в нашем доме. Мы с женой будем счастливы, если праздник получится на славу...»

Его появление и речь были встречены аплодисментами и криками «браво!».

«Речь Цезаря произвела на Сенат неизгладимое впечатление», — усмехнулась Нина.

За столом Сергей оказался рядом с этой скучной молчаливой девушкой.

«Почему вы ничего не едите? И не пьете. Налить вам вина? Положить салат?»

«Спасибо. Я возьму сама, если захочу. А вина — пожалуйста...»

Она пожала плечами и отпила из бокала.

«Вы не очень приветливы...»

«Вы курите? — перебила она его. — Молодые люди в вашем возрасте тайком курят».

«Курю», — покраснел Сергей.

«Тогда пойдем на лестничную площадку, — перешла на “ты” Нина, — и хорошенько подышим. Здесь все такие воспитанные...»

На лестнице пахло кошками, и в полузамерзшее окно заглядывал перевернутый месяц.

Они курили, глядя в разные стороны. Сергею курить не нравилось, он только недавно из любопытства приобщился к этому «взрослому» занятию. Да и перед друзьями, старавшимися казаться взрослыми, стыдно было выглядеть ребенком. Курил он неумело, пьяненько, не затягиваясь и стараясь не морщиться от охватившего его отращения.

«Какие вы все неловкие... Обними меня, — глухо попросила его Нина. — Я понимаю, по приказу это не делается. Но, может, ты хочешь...»

Она отбросила сигарету и потянулась к нему.

«А, будь что будет...» — мелькнуло в голове у Сережи, и как-то страдальчески робко он тоже потянулся к Нине.

От нее пахло табаком, губы были липкие от вина, но целовать их было приятно.

«Нас могут увидеть...»

Она помотала головой, увлекая его вниз.

На площадке было темно, и на подоконнике, на который она опиралась, ожидая, когда он сообразит, что ему нужно делать, белел след от перочинного ножа: «Са-ша+Аля»...

Все прошло довольно гладко, как будто она давно задумала операцию по его возвращению. А он и без нее знал, что так и произойдет. Музыка играла, гости танцевали, Нина цедила вино, они сидели рядом и молчали.

«Потанцуем?» — стараясь казаться вальяжным, предложил он.

Нина отрицательно мотнула головой и уставилась на танцующих.

«Разве я тебя обидел? Ты даже не смотришь на меня».

«Ты выпил, поэтому так говоришь. Эти слова ты приготовил для другой. Но она тебя игнорирует, вот ты ко мне и прилип. Решил, что за неимением гербовой можно писать на простой. А я не простая. Думаешь, я тебя люблю? Как бы не так! Ты мне нужен для другого. Нужно было отвадить тебя от этой ведьмы», — пьяно закурила она за столом.

«Как это — отвадить?..»

«Чтобы ты перестал о ней думать. Для этого есть только одно средство, я и Сашку так вылечила».

«Брата? Зачем?!»

«Сашка был влюблен в Аллу. А она играла с ним, как с тобой. То глазки ему состроит, то позволит себя поцеловать. И все ему нашептывала: ты самый лучший, гениальный...»

«Откуда ты про меня знаешь?»

«Знаю, по тебе видно! Когда парень в нее влюбляется, она теряет к нему интерес. Это девушка-вампир, она питается чужой любовью. Она и тебя сделает калеккой, как Сашку. Парень не ел, не пил, все валилось у него из рук. Мама консультировалась у психиатра, у него были серьезные проблемы...»

«Эта мерзавка, — залпом осушила бокал вина Нина, — решила на Новый год собрать всех своих доноров. Как ведьма на Брокене...»

«Ты преувеличиваешь...»

«Как? — переспросила Нина. — Скажи, как еще она может себя поздравить? Соберет вас всех и перессорит. Смотри, — стала загибать она пальцы. — Позвала Сашку, тебя, Вовку Варнакова, Лешку Конюхова...»

«Он тоже?» — удивился Сергей.

Лешка славился равнодушием к девушкам, у него было кличка Беспольный. И каким-то детским, несерьезным отношением к жизни. Меньше всего ему шла роль безнадежно влюбленного, как она шла байронического вида Евсееву.

«Тоже, тоже... Здесь настоящий Брокен, — глаза ее вспыхнули и погасли. — Чем сильнее вы будете ненавидеть друг друга, тем слаще для нее. Она получает от этого удовольствие. Вы никогда от нее не отвяжетесь...»

«Сашку я сюда не пустила. Отдалась ему, а ключ от квартиры унесла с собой. Тебя тоже обесточила. Остались Вовка и Лешка... Ну, — крупно затянулась Нина, — с ними я разберусь после...»

«Ты сумасшедшая!» — поднялся Сергей...

VII

В скором времени выяснилось, что Нина Данилова действительно была психически нездорова. После новогодних праздников у нее началось обострение, она билась в припадках с криками, скандалами и угрозами, и ее упекли в Желтый дом. Иногда, в тихие минуты, Нину отпускали домой, как солдата на побывку, а потом снова запрягали на длительное лечение. Там она, кажется, и умерла. Точнее — погибла, выбросившись из одного-единственного незарешеченного окна в туалете...

Саша, ее младший брат и одноклассник Евсеева и Али, отправился в психушку следом за сестрой. У них это наследственное по отцовской линии. Их отца Сергей немного знал: плотный низкорослый человек, он приходил

в школу три раза в неделю вести секцию греко-римской борьбы. Тренер он был хороший, человек спокойный и молчаливый. Ничем не болел, душевными расстройствами не страдал. Припадки безумия одолевали то ли их дедушку, то ли прадедушку — Даниловы особенно не распространялись на эту тему...

Сашку Евсеев встретил много лет спустя, когда приехал в родной город на годовщину смерти матери. Утром он собрался на кладбище и ехал в троллейбусе на пригородную автостанцию. Было лето, троллейбус был переполнен ехавшими в загородные поместья дачниками, и Сашка величественно восседал на месте кондуктора. Был он в одной майке, в брюках на подтяжках и в бейсбольной кепочке. Евсеев долго соображал, подойти ему к бывшему однокласснику или отвернуться от него — видок у Сашки был, как у сильно тронутого...

Через две остановки Сашка сошел, и когда после полудня Евсеев возвращался с кладбища домой тем же маршрутом, Сашка снова вошел в троллейбус и сел на служебное место у кабинки водителя. Выходя на остановке «Кинотеатр “Савона”», он заговорщицки подмигнул Евсееву, похлопав рукой по освободившемуся креслу:

«Садись, Серый, это место — твое...»

Эти две фразы — своя, некогда обращенная к Нине: «Ты сумасшедшая!», и Сашкина: «Садись, место твое...» — врезались Евсееву в память на всю жизнь. Как напоминание о том, что он хотел забыть навсегда, — свою безнадежную любовь к Але, историю с Ниной... И как покапталась в какую-то пропасть вся его только начинавшаяся жизнь...

Весной новое происшествие потрясло Евсеева до глубины души. Оно окончательно убедило его, что от любви к женщине избавиться невозможно, какие бы усилия ты не прилагал. Она должна уйти из твоей жизни

сама, без твоего участия. Исчезнуть, растаять, как груда лежалого снега на солнце, не оставив после себя даже воспоминаний.

Той весной школьный Овод, Колька Щукин, обворовал роскошный ювелирный магазин в центре города. Как это у него получилось без серьезного воровского опыта, без кучи подельников и, в сущности, без особой надобности, ибо распорядиться награбленным — кольцами, перстнями с драгоценными и полудрагоценными камнями и чем-то еще, мелким и незначительным, — он не сумел и быстро попался в руки милиции. Судом его определили в интернат для малолетних преступников. Интернат находился в другом городе, добираться туда нужно было электричкой, а потом долго ехать автобусом. Вся школа была ошарашена вызывающим поступком Али Гусаковой. Она бросила школу, родной дом и отправилась за Колькой в тот самый город, где он сидел в специнтернате. Денег, которые она взяла с собой из семейной кассы, ей хватило на первое время — оплатить гостиницу и потратить на передачи для Щуки; оказывается, она давно и безответно любила это «преступное ничтожество», как выразилась кипевшая праведным гневом классная руководительница Евдокия Тихоновна. Родители Али — у отца вид был пришибленный, а мать без конца утирала платочком опухшие от слез глаза — в эти дни, дни первых цветов и первой, еще вялой, зелени, часто теперь посещали школу. Стыдливо и неуверенно они проскальзывали в учительскую или кабинет директора и о чем-то долго с ним совещались.

Алю милиция нашла быстро. Через неделю после бегства ее доставили домой. В школу она приходила, как глухонемая: ни с кем не здоровалась, не общалась, и когда ее вызывали к доске, оставалась равнодушно сидеть за партой, как будто не слышала. Молча и безучастно глядя в одну точку: на портрет Чарльза Дарвина, висевший чуть выше классной доски...

Досидев до окончания учебного года, она исчезла, как будто девушка с таким именем никогда не училась в средней школе №7. Всезнающие девчонки вполголоса сообщали новости, похожие на сплетни, одна необычнее другой, так что не знаешь, верить им или нет. Что будто бы Аля забеременела от Щуки. Доучиваться ее направили в вечернюю школу, а так как учиться в «вечерку», если человек не работает, не принимали, то папа устроил Алю к себе в пединститут, лаборантом на возглавляемом им факультете.

Когда же они окончили школу и разлетелись по разным направлениям, Евсеев уехал из родного города навсегда. У него началась новая, совсем другая жизнь, и Але в ней не было места. И вот теперь, на седьмом десятке лет, когда его голова и сердце не заняты мирскими делами и заботами, Аля все чаще стала ему сниться. Как он с ней разговаривает, а она смеется и что-то ему рассказывает. И он тоже смеется в ответ и плачет, как будто камень упал у него с души...

Проснувшись, он долго вспоминал прошедшую ночь, пытаясь восстановить ее события во всех подробностях, недаром же он так горько плакал. Но сон ему не вспоминался, слова свои и Алины были забыты, словно солнечное осеннее утро стерло их со стекла памяти.

И он решился: за завтраком объявил жене, тихой и покорной женщине, всю жизнь сдувавшей с него пылинки и выполнявшей все его прихоти, что отправляется в родной город — вспомнить молодость и попрощаться с городом своего детства и юности.

Жена, как обычно, покорно с ним согласилась, только попросила не сидеть в поезде у окна. Оттуда сильно дует, осенью это опасно, можно подхватить простуду. «И что тогда ты будешь делать без меня?» — грустно добавила она.

VIII

Он допил вино, посмотрел на опустевший бокал и подумал, что ветер на побережье стал совсем холодным и, пожалуй, пора перебираться на сушу. Поближе к домам, улицам и паркам, где осенний ветер задувает не так сильно. Никуда не торопясь, он рассчитался с официанткой за то ли завтрак, то ли скромный обед и побрел по причалу к песчаному берегу — на нем по-прежнему не было ни души. Только трепавшийся на ветру национальный флаг на вышке спасательной станции и торчавший на ней бородатый тип, наставлявший бинокль на пустое сверкавшее море, подавали какие-никакие признаки жизни.

Евсеев брел по грязноватому песку, изредка поглядывая на набегавшие на берег мелкие, рябящие волны, и думал, что, если будет продолжать вести себя так, как он ведет себя по приезду в этот город, он никогда не увидит Алю. Улицу и дом, в котором она жила, он, правда, отыскал сразу. Дом был построен в прошлом веке из белого силикатного кирпича, фасад ажурный, балконы тоже, и дом выглядел по-праздничному нарядным. На первом этаже в прошлом располагался мебельный салон, и родители купили ему в этом салоне — он учился в девятом классе, и у него уже была своя комната — новый, покрытый лаком канцелярский стол. Теперь же вместо салона сверкал огнями магазин «Евросвет», хотя в остальном дом изменился мало. Только белые стены и барочная лепка поблекли за полвека, и дом выглядел усталым и серым. Квартира Али была на четвертом этаже, и каждый раз, проходя мимо дома вечером, он останавливался и смотрел на ярко освещенное окно ее комнаты и представлял, чем она занимается в эту минуту: читает книгу, слушает музыку или доделывает уроки на завтра. Теперь он ничего о ней не знает: живет она по-прежнему в белом доме или

давно, еще со времен замужества (должна же она была выйти замуж!) переехала в другой район. На другую улицу, в иной, незнакомый дом... Или вовсе покинула город своей молодости, как это сделал он, и какая разница, с грустью подумал Евсеев, кто из них уехал раньше, а кто — позже... Потом он уверил себя, что Аля все-таки проживает по старому адресу, и так распереживался, что, подходя к белому дому с «Евросветом», испытал сухость во рту и неприятное сердцебиение. Он задышался от волнения и пришел в чувство, лишь рассосав под языком таблетку нитроглицерина и отойдя на приличное расстояние. Он уже неделю живет в этом городе, бродит по нему с утра до вечера и никак не решится войти в подъезд, который помнил его юношей. Однажды он целый день провел возле Алиного дома: прохаживался вдоль клумбы с засыхающими бархатцами, сидел напротив него на троллейбусной остановке... Вдруг он увидит Алю, вдруг она увидит его...

Но дни шли, и ничего из этого «вдруг» у него не получалось. Ни в тот день, ни в другие дни. Но он упорно каждое утро отправлялся на свое дежурство.

Евсеев устал и уже подумывал о скором отъезде. Возвращение домой казалось ему освобождением от измучившего его ожидания. С радостью он представил, как войдет в купе скорого поезда, снимет плащ и шляпу и усядется на лавку в ожидании отправления. Эта картина рисовалась ему таким счастьем, такой радостью, что он готов был немедленно отправиться в железнодорожные кассы за билетом.

Накрапывал мелкий дождик. Сергей открыл зонт и... едва не столкнулся с Алей! Она выходила из супермаркета «Продуктелль» с увесистыми сумками в руках.

Был конец рабочего дня. Освободившийся от сидения в офисах и учреждениях народ входил и выходил из магазина, нагруженный пакетами с провизией. В толчее он ед-

ва ее не потерял и, старясь не упустить ее из виду, поспешил за ней следом. Она — успел заметить он — располнела, передвигалась тяжело. Но ее лицо, мелькнувшее перед ним в считанные мгновения, было узнаваемым и почти не изменившимся, если не считать легкой возрастной округлости. И теперь Евсеев соображал, волнуясь и не веря своей удаче, узнает ли она его? И если узнает, то как встретит, как отнесется к нему после стольких лет разлуки!

Почти бегом он нагнал ее, обернулся и пошел ей навстречу, — она шла медленно и грузно, сосредоточенно опустив голову и о чем-то глубоко задумавшись.

«Аля!»

Она вздрогнула, вскинула голову:

«Господи, Сержик, — ты?!»

Уронила сумки на мокрую мостовую, прижала руки к груди.

«Все такой же, совсем не изменился!» — восторженно ахала она, всплескивая руками и жадно вглядываясь в его лицо, окидывая глазами всю его фигуру, располневшую и несколько бесформенную, совсем не похожую на ту, что была у него прежде, хрупкую и гибкую.

«Каким ветром, откуда ты к нам, надолго ли?..»

«Да нет, скоро уезжаю... Вот... приехал навестить... Не думал застать тебя...» — Он хотел сказать — «в живых», но испугался. Фраза выглядела как пророчество, и он запнулся, растерянно умолк...

Она поняла, горестно помотала головой...

«Теперь я тебя не отпущу, — проговорила она сквозь слезы. — В молодости отпустила, а сейчас нет, не отпущу... Рассказывай: кто ты, что ты, где ты...»

Дождик то переставал, то срывался снова. Они шлепали по лужам, и он то и дело раскрывал и закрывал свой зонтик — «спрячься, сюда трое войдут!», — пока она не рассмеялась:

«Как аттракцион в цирке: “Р-раз — открыли. Два — закрыли!..”»

Дорóгой Евсеев в двух словах рассказал о себе:

«Руководитель, бывший. Теперь обычный пенсионер. Жена... Дети и внуки живут в столице. Видимся с ними редко, у них своя жизнь, а у нас — своя. Точнее — никакой жизни, кроме той, что прошла, у нас нет. Она-то и не дает мне покоя...»

«Мне тоже, — слабо улыбнулась она. — Вспоминаю свою жизнь, как будто переживаю заново. Кинотеатр повторного фильма...»

«Таких кинотеатров больше нет, — вздохнул он. — Мы сами для себя и киногерои, и кинотеатр».

«Только рассказывать содержание фильма больше некому...»

«...кроме нас самих!..»

Понемногу Аля рассказала ему о себе. Она на пенсии, но продолжает работать в школе, преподает английский язык в старших классах.

«Учителей не хватает, потому меня и не выгоняют. Зарплата маленькая, и в школе остались одни старики. А я и рада: что буду делать дома, когда меня уволят?»

«Муж, дети?»

«Это, Сереженька, больная тема. Я ведь родила от Николая — ну, ты знаешь эту историю, — сухо заметила она. — Но дочка отца так и не дождалась. Когда ему исполнилось восемнадцать, досиживать срок его перевели в колонию для взрослых. Там он и умер, говорят — от туберкулеза. Почему туберкулез, откуда он взялся, Коля ведь был здоровый парень, — так и не объяснили... Извещение о смерти получили его родители, они же мне и сообщили... С малышкой старики здорово тогда мне помогли. Сидели с ней, пока я доучивалась в школе, потом поспешила в иняз — мои-то от нас отказались. Жила я

с дочкой у родителей Николая, а когда папа с мамой умерли, выяснилось, что квартиру они завещали мне... Замуж я так и не вышла, — добавила Аля со вздохом. — Предложенный было много, но я всем отказывала. После Николая и нашей истории все мне стало противно — и мужчины, и любовь, и семья. Хотелось одиночества и тишины. Тишины внутренней, ты меня понимаешь?» — робко взглянула она.

Он кивнул. Ведь ему тоже ничего не было нужно — ни понимания, ни прощения. Хотя, собственно, за что ее винить и прощать? Если бы она его любила и связала себя с другим, тогда, конечно, другое дело. А так, у каждого своя жизнь, и он тут ни при чем. Как и ей не в чем винить его. Или все-таки есть? — пришла ему в голову напугавшая его мысль. Но он тотчас ее отбросил как невозможную, фантастическую. «Это неправда, — убеждал он себя, прислушиваясь к тому, что творится у него внутри, и почти не слушая Алю. — Стечение обстоятельств. А бороться за нее... Ну какой смысл бороться за женщину, — тоскливо думал он, — если она тебя не любит! Любовь не завоевывают, она приходит сама. И уходит, как ушла она от Али после смерти Николая...

«А дочь... Как же ты одна, если у тебя есть дочь?»

Они стояли возле ее дома. Снова пошел дождь, но уже гуще и крупнее.

«Да, и дочь, и внук — между прочим, твой тезка, Сережа. Но живут они в Самаре, на родине зятя. Мечтаю продать квартиру, купить в Самаре однокомнатную и переехать к детям. Но продать не получается, за квартиру дают слишком мало. Цены на жилье во время войны упали, никто тут не хочет жить. Вот и тешу себя надеждой, что случится невероятное. Отыщется сумасшедший богатый покупатель, и я наконец уеду к детям, к новой жизни... Помнишь, как у Чехова: “В Москву, в Москву!..” И все остаются на своих местах».

«Да что мы стоим! Ты весь промок, даже зонтик не спасает!» — ахнула Аля, властно беря его за рукав.

«Не я промок, а ты!» — пошутил он.

«Пойдем ко мне, я тебя пельменями накормлю!»

«Ты пока что иди. Ставь воду, а я сбегая за вином!»

«Только быстро! Квартира номер шестнадцать, четвертый этаж!» — крикнула она ему вслед.

Но он хорошо помнил и так — и номер ее квартиры, и этаж. И та же белела на подоконнике закрашенная надпись, когда-то вырезанная перочинным ножом: «Саша +Аля». И легко, как в юности, он взлетел на знакомую лестничную площадку. Аля, надев передник, хлопотала на кухне. Он видел, с какой радостью и любовной готовностью она распечатывает пакет с пельменями и высыпает их в кипящую воду. Заботливо сервирует стол — вилки, ножи для холодной закуски, тарелки, бутылочка с уксусом — «Пельмени будем есть по-уральски, с уксусом, я ведь родом с Урала, ты не знал?» — смеялась она. — Ступай направо, мой руки и все такое. Полотенце возьми зеленое...»

Она позвякивала доставаемыми из бара рюмками — в магазине он передумал и вместо вина купил бутылку грузинского коньяка, — шумел закипавший на стенке электрочайник.

«Извини, кофе у меня растворимый!» — крикнула она, пока он умывался и недоверчиво разглядывал себя в зеркале. Лицо довольное, радостное, он даже смутился и неловко хмыкнул: в кои-то веки его обуревают не печальные, а бодрые мысли, кипят и волнуются юношеские силы...

После коньяка и пельменей Аля принесла семейный альбом. Евсеев с любопытством разглядывал старые и не очень фотографии. Вот она в школе, красивая, с большими карими глазами. С локонами до плеч... Вот повзрослевшая строгая девушка: серьезное лицо, мамыны губы...

«Красивая девочка...»

«Намучилась я с этой красавицей! Все молодые люди у нее наркоманы и дебилы, насилу замуж ее выдала. Парень попался, слава Богу, хороший, и я рада, что у Нюты другая история, чем у меня...»

Фотографий мужа в альбоме не было. Вместо них зияли белоснежные пустоты. Так сильно его любит — или ненавидит?

Разомлевшие и растроганные, они пили остывший кофе и вспоминали школу, их последнюю новогоднюю вечеринку...

«Можно посмотреть ту комнату?»

«Конечно!» — поднялась она.

В гостиной с тех пор ничего не изменилось. Даже гипсовая маска Гомера висела на том же месте на стене. За гардиной угадывалось знакомое старое дерево, дотягивавшее до четвертого этажа. Паркетный пол был наощен и источал запах мастики. Казалось, и паркет, и запах были те же, что и полвека назад...

Он обнял ее и поцеловал.

«Не надо, Сережа...»

В спальне, куда она, пятясь, сама его привела, они как подкошенные рухнули на кровать.

«Не надо, прошу тебя...»

Ей было стыдно за дряблые ягодицы и отвисшие груди. За свою податливость и за то, что все у них произошло слишком поздно. Она чувствовала себя виноватой, хотя в действительности ничьей вины в том, что с ними случилось, не было. Жизнь распорядилась их судьбой так, как посчитала нужным, а у жизни не бывает несправедливых решений...

Он не стал гасить свет и любил ее при полном свете люстр.

Когда наконец все закончилось, она отвернулась к стене и заплакала. В доме было тихо, словно глубокой ночью. Только шуршал в листьях мелкий осенний дождик и нетерпеливо просигналил промчавший по улице автомобиль.

Он курил, слушал шелест дождя и тихие всхлипывания Али и думал, что все случившееся с ним напоминает благодарение Харону. Сходящим в Аид кладут на глаза серебряную монету, чтобы труженик-перевозчик охотнее переправил их на другой берег Стикса.

Им овладело чувство такой глубокой пустоты, словно душа его за несколько минут близости с женщиной, которую он когда-то любил, превратилась в зияющую бездну, и ее ничем нельзя было заполнить. «Остается только дожидаться перевозчика», — горько усмехнулся он, гася в пепельнице недокуренную сигарету...

6 мая 2018 г.

Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ

(Кёльн)

МУЗЕЙ АННЫ ФРАНК

— ...Анна жаловалась в дневнике, что комната сырая и тесная, а ведь жила она в ней не одна, вместе с ней поселился еще друг родителей, пожилой мужчина, позабыл его имя...

Высокий рыжий парень с небрежной бородой, стоявший впереди нас, был скорей всего голландец, но говорил по-английски.

— А почему она не жила в комнате с родителями? — спросила его спутница, маленькая — она не доставала головой ему до плеча, — смуглая, слегка раскосая, черные прямые волосы — что-то дальневосточное, Бирма, Непал, может быть, Лаос какой-нибудь.

— У родителей была своя комната, с ними жила старшая сестра Анны, Маргот.

— Мы всегда жили все в одной комнате, родители, дети, — впрочем, это была не комната — дом, не такой, как этот, конечно: одноэтажный дом, под камышовой крышей. Очень красивый. Я спала вместе с братьями и сестрами. У меня два брата и четыре сестры.

На девушке были джинсы и трикотажная майка в полоску, вроде матросской тельняшки.

— ...Когда инженер Айзенштадт оборудовал «малину» в котельной, это в заброшенном доме возле рабочего блока, туда набилось двадцать четыре человека, а он расчи-

тывал на пятнадцать, — сказала Ханка. — Поверишь, невозможно было в уголок отползти за своим делом. Но все-таки главный ужас не теснота, а духота...

— Вместе с Франками поселилась еще одна семья, этажом выше, для них тоже были оборудованы комнаты, — объяснял рыжий голландец. — Муж, жена и мальчик, Петер, кажется...

— У него с Анной была любовь? — поинтересовалась дальневосточная девушка в тельняшке.

— Целовались, наверно, — снисходительно предположил рыжий.

— ...От недостатка кислорода люди сходят с ума, — сказала Ханка. — Жена Айзенштадта начала заговариваться, а потом принялась кричать, какие-то ужасы ее мучили. Люди боялись, что услышат немцы, и уже сговаривались, чтобы ее убить...

— Думаешь, могли убить? — я вспомнил жену Айзенштадта, рыхлую женщину с обвисшими щеками и накрашенными губами, безобидную, как черепаха.

— Еще как могли. Я знала отца, который в «малине» со страха задушил ладонью своего маленького сына. Чтобы не кричал. После войны они с женой хотели родить другого мальчика, но у них рождались только девочки, — три девочки подряд, мальчика так и не получилось...

Прежде чем прийти сюда, на Prinsengracht, мы завтракали в кафе на площади, где стоит памятник Рембрандту, — художник со своего пьедестала задумчиво смотрел на студентов, лежащих на траве газона между рабаток, густо засаженных оранжевыми голландскими тюльпанами.

Я еще накануне купил для Ханки билет в музей Ван Гога (ее любимый художник), а заодно в королевский музей — посмотреть «Ночной дозор», но прежде того мне хотелось показать ей город, провезти на кораблике по каналам.

— Ближе к устью, где река впадает в море, удивительно много цапель. Из воды торчат старые, серые сваи, и на каждой — цапля, неподвижно, на одной ноге...

— Цапли — это красиво. Но сначала сходим к Анне Франк, — сказала Ханка.

— Торопишься вспомнить?

— Просто не забываю...

Ханка лишь два часа назад, ранним утром, прилетела в Амстердам из своей Канады, полет нелегкий, большая разница во времени, я полагал, что она непременно захочет отдохнуть, но — едва я успел справиться в холле гостиницы с чашкой кофе и пробежать оказавшиеся на журнальном столике «Аргументы и факты» — она уже появилась из своего номера, красивая, стройная, пахнущая свежестью умывания и какими-то легкими молодыми духами, — как бы небрежно, но обдуманно уложенные в прическе седые с черными прядями волосы, черное платье (она всегда носила черное), туфли на высоких каблуках, точно мы в оперу собрались, а не таскаться весь день по городу, — вечно прекрасная моя восьмидесятилетняя кузина.

День выдался погожий. Во взъерошенной солнечными бликами воде канала покачивались и ломались отражения стоящих вдоль набережной домов. У дверей музея Анны Франк, по обыкновению, выстроилась длинная очередь.

— Вот и хорошо, — сказала Ханка. — Есть время поговорить. Столько лет не виделись.

Мы встали в очередь вслед за рыжим и его дальневосточной малышкой.

— Из комнаты Петера вел ход на чердак, ты увидишь, — просвещал рыжий свою подружку. — На чердаке они хранили продукты.

— На чердаке?.. А откуда они вообще брали продукты? Может быть, им птицы приносили?.. — девушка засмеялась.

— Ты совсем глупая...

Рыжий нагнулся к ней, и они поцеловались.

— ...Потом Хейфецы и Шаргородские испугались облавы и ушли из «малины», — вспоминала Ханка. — Стало больше воздуха. А тут еще удалось вытащить пару кирпичей из наружной стены. И жена Айзенштадта перестала бредить.

— И что облава?

— Облавы не было. А они все попались там, на воле. И Хейфецы, и Шаргородские. Один Адик Шаргородский спасся. Ты помнишь Адика Шаргородского?..

Я познакомился с Адиком Шаргородским за год до войны, когда приехал на летние каникулы в М.: дядя Гриша, отец Ханки, устроил меня вместе с ней на две смены в пионерский лагерь, принадлежавший заводу, где он был главным инженером. Но тогдашнего Адика я не помнил. Я помнил толстого небритого мужчину, которого встретил полвека спустя в Израиле: он водил меня по парку в Ашкелоне, с гордостью показывал лежащие в яме раскопанные громадные каменные столбы и объяснял, что это руины разрушенного Самсоном дворца филистимлян (позже я прочитал, что дворец филистимского идола находился не в Ашкелоне, а в Газе).

— Они набрали на какой-то заброшенный сарай и решили там спрятаться. Но кто-то заметил их и донес. Немцы тут же пришли и всех захватили. А Адик лежал в соломе под телегой и спал. Он очень устал и, как только попал в сарай, сразу уснул. Немцы его не заметили. И он, представь, даже не проснулся. Так все быстро получилось. Когда он вылез из-под телеги, уже никого не было...

Видимо, большая группа посетителей — экскурсия какая-нибудь — закончила осмотр музея: мы продвинулись сразу на несколько десятков шагов ближе к входу.

— Продукты приносили сотрудники фирмы, знавшие про убежище, — объяснил рыжий. В доме помещалась фирма, которая до прихода немцев принадлежала отцу Анны...

— А почему сотрудники фирмы не прятались так же, как Анна и ее отец?

Мы с Ханкой переглянулись. Прелесть наивности этой залетевшей невесть откуда дальневосточной пичужки была поразительной. Но по своей наивности она задавала решающий вопрос — самый непостижимый вопрос, который так привычен и ясен для всех, что его уже давно перестали задавать.

— Но ведь нацисты уничтожали только евреев... — рыжий парень с удивлением посмотрел на свою подругу, точно у нее на лбу появились таинственные письмена.

Смуглое лицо девушки было непроницаемым, в ее черных, слегка раскосых глазах, снизу вверх устремленных на парня, оставался непоколебленный спокойный вопрос.

— Они считали, что евреи во всем виноваты, ну и... — рыжий замялся.

— Почему?

Рыжий снова посмотрел на девушку, будто с ней случилось что-то совершенно непредвиденное.

— Ты что, ничего не слышала об антисемитизме? — в голосе его послышалось даже некоторое неудовольствие.

Девушка задумалась.

— В Камбодже дети убивали своих родителей, — сказала она.

— Там, наверно, не было евреев, — парень с понимающей улыбкой обернулся к нам, как бы за поддержкой.

— В Камбодже евреями были родители, — сказал я. — Евреи уже давно не материальная субстанция. Они нечто привносимое, как эфир в старой физике. Без них трудно сопрягаются причины и следствия.

Мы снова вдруг резко продвинулись к входу.

— Анна, ее родители и те, кто был с ними, провели в убежище два года и один месяц, — заторопился рыжий. — Еще совсем немного, и они бы уцелели. Но нашелся предатель...

— ...Сколько ты просидела в «малине»? — спросил я Ханку.

— Шесть дней. В ночь на седьмой, один знакомый парень помог, партизан, я ушла в лес. А через два дня «малину» накрыли. Их Яцук выдал. Добродушный такой старичок. Он был чертежник и знал про эту подсобку в котельной. Он вообще всё и всех знал на заводе — ветеран. Одни говорили потом, что он ушел с немцами, другие — что партизаны вычислили его и расстреляли...

— Кто же их выдал, Анну Франк и всех этих людей и зачем? — спросила смуглая девушка.

— После войны три раза, кажется, проводили расследование, но доносчика так и не определили.

— Но все-таки зачем? — повторила девушка. — Они что — мешали ему?

— Кто теперь разберет — зачем? Может быть, боялся не сообщить, или завидовал, или хотел выслужиться...

— Скорее всего, они ему действительно просто мешали, — сказала Ханка по-английски, обращаясь к девушке.

Девушка внимательно посмотрела на нее своими черными маслянистыми глазами.

— Кто-то, нам неизвестный, позвонил куда следует, — рассказывал рыжий. — Эсесовец Зильбербауер — его имя известно — в сопровождении нескольких наших голландских наци — пришел и арестовал всех, кто находился в убежище.

— И что с ними сделали?

— Ты же знаешь, их отправили в Аушвиц, это лагерь уничтожения...

— Нет, с этим эсесовцем, с вашими наци?

— Зильбербауера, кажется, судили, но он доказал, что лишь выполнял приказ и действовал корректно. После войны он служил в венской полиции. Я видел его портрет: самое обыкновенное лицо.

— Знаешь, Мюллер, ликвидатор гетто у нас в М., тоже служил потом в венской полиции, — сказала Ханка. — Коллекционировали их там, что ли...

— Ну, не только в Вене, — сказал я. — Гауляйтер Кёльна и Аахена Йозеф Грое, доверенное лицо Гитлера, возглавил позже крупную фирму игрушек, полвека продавал пасхальных зайцев и плюшевых медведей.

— ...Когда эсесовец с пистолетом вошел в убежище, отец Анны помогал детям готовить уроки, — продолжал рыжий. — Они там постоянно занимались, чтобы не отстать от школьной программы.

— ...Их сразу можно было узнать по шагам, — сказала Ханка. — Они так крепко ставили ногу, сразу на всю стопу. Мне иногда снится: я прячусь где-нибудь, в подвале или в чулане, и вдруг слышу их шаги — хлоп, хлоп, хлоп — и понимаю: всё, конец. И просыпаюсь в ужасе. Даже дыхание останавливается...

...Я слышал эти шаги в середине девяностых в Москве.

Первое, что бросилось мне в глаза, когда они вошли в зал, были сапоги — три пары тяжелых, прилежно начищенных сапог. Они вошли, трое, и, не задержавшись в дверях сразу направились в центр зала, где на столе находился взятый под стекло небольшой — примерно полметра высотой — макет дома на Prinsengracht. На двоих из них были черные гимнастерки, стянутые портупелями, на третьем — самом старшем, с редкими седыми усами и седой молодежной челочкой на лбу, он держался посередине — простенький москвошвеевский пиджачок. Где-то я видел это лицо, но сначала никак не мог припомнить. Впрочем, где только не увидишь такое лицо — на улице, в трамвае, в конторе.

Имя Анны Франк долгие годы, если упоминалось в России, то лишь нехотя, мимоходом. Но тут — свобода! — свергнутый памятник Дзержинскому, устремив незрячие глаза в небо, лежал, зарастая травой, под окнами Дома художников у Крымского моста, а в самом здании,

в одном из залов, утеснившись между шумных, броских экспозиций, почти незаметная и не замечаемая ни на афишах, ни в прессе, расположилась скромная выставка, посвященная известной всему миру девочке и ее дневнику, повсюду читаемому, — акция какого-то международного благотворительного, человеколюбивого общества.

Отведенный под выставку зал оказался слишком велик для небольшого макета и просторно разложенных в витринах фотографий и ксерокопий. Мы молчаливо бродили в пустынном, залитом светом помещении, всего шесть-семь человек, отделенные, казалось, верстами один от другого, все без исключения весьма почтенного возраста (как говорилось в давно забытом стихотворении, «пять человек, которым в сумме четыреста лет») и, похоже, единой национальной принадлежности. Изредка двое или трое из нас оказывались одновременно у стоявшего в углу монитора, на экране которого нон-стоп крутилась лента — история Анны Франк, — все так же в молчании, напряженно всматриваясь и вслушиваясь, ловили мелькавшие кадры, слегка кивая головой, словно в такт проживаемой перед нами жизни.

Они — трое — остановились у макета, минуту-другую, хмуря лбы, читали размещенный на столе объяснительный текст.

— Развели тут свою агитацию, — сказал один в черной гимнастерке. У него было корявое лицо — видимо, следы мучивших его в юности волдырей. — Всех купили. Правду, говорят: евреи в Кремле, русские в тюрьме. Ломом бы по этой игрушке...

— Да ты что! Квартирка что надо! — вступил в разговор другой, самый молодой из троих, почти подросток, похожий на Буратино. — Нам такие только при коммунизме обещали. Я бы сам с ними пожил, — он подмигивал своим спутникам и казалось даже, приплясывал. — И девчонка симпатичная. Вполне можно. Скажи? И мамаша еще ничего...

(Однажды в южном городе я шел в многолюдии отдыхающих горожан по аллее местного парка. Вдруг толпа резко, — почудилось, даже качнувшись, — остановилась, будто кто-то нажал на невидимый тормоз, — и замерла на месте. Выбравшись из кустарника, через аллею, неторопливо поворачивая свое сильное, послушное тело, похозяйски переползала большая черная змея. Наверно, если бы люди предполагали заранее возможность такой встречи, они бы не были парализованы страхом. Неожиданность обезоруживает растерянностью.)

...Мы окаменели, ошалевшие от неожиданности старики.

Первой очнулась маленькая старушка в серой вязаной кофте.

— Как вы смеете!..— пискнула она тонким срывающимся голоском. Но ей, наверно, казалось, что она кричит.

Пришельцы даже не взглянули на нее. Старший, в пиджачке, лишь повел перед собой рукой, словно раздвигая воздух или отгоняя какое-то видение.

— Ложь. Всё ложь, — произнес он громко и отчетливо, будто читая со сцены. — Дёма не было. Девочки не было. Дневника не было. Никто не прятался. Евреи в Амстердаме пили с немецкими офицерами в кафе оранжаду и торговали оружием, хлебом, нефтью. А потом, когда земля захлебнулась в крови тридцати миллионов, явился ловкий еврейский сочинитель и накатав весь этот... — старший пожевал губами, усмехнулся и презрительно выдал с нарочитым ударением на первом слого: — рóман. И человечество снова должно платить евреям за то гноище, в которое они обратили наш мир. Но — ничего. Недолго им еще Хануку праздновать.

Буратино притопнул от восторга и залился смехом.

Ставя ногу на всю ступню, они — трое — зашагали в своих сапогах к выходу.

И тут я вспомнил, откуда мне знаком этот человек. За несколько дней до того он появился на экране телевизора в сюжете «Новостей», где рассказывалось об оправдании судом российского издателя «Майн кампфа». Невысокий сухонький человек с седой челочкой на лбу, в простеньком пиджаке победно шествовал по проходу между рядами стульев в небольшом зале судебного заседания. У дверей зала и на улице его ждала толпа восторженных поклонников, — они встретили его овацией и забросали розами...

— Ну, кажется, наша очередь, — сказал я.

Мы были уже у самого порога музея.

— Мне даже немного страшно, — сказала смуглая дальневосточная девушка, когда мы вступили в вестибюль, показавшийся сумрачным после солнечной улицы и сверкавшей в канале воды. — Эта Анна Франк как будто девочка из сказки с несчастливым концом. И заранее знаешь, что конец несчастливый.

— Ну, что ты, — рыжий сверху ласково обнял ее за плечи, слегка прижал к себе. — У всех сказок по-своему счастливый конец. И потом, это было так давно. наших родителей еще не было на свете. Это для нас Анна — девочка. Если бы она осталась в живых, ей было бы уже семьдесят пять лет.

— Не может быть! — девушка смотрела на него испуганно.

— Отчего же? — сказала Ханка. — Анна была на пять лет младше меня.

Возле кассы были разложены путеводители на разных языках.

— Тебе английский? — спросил я Ханку.

— Не надо. Потом. Сами разберемся, — сказала Ханка. — Как-нибудь уж сами разберемся.

Станислав БЕЛЬСКИЙ

(Днепр)

И ДРУГИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

(Запись 2012 года)

В глухом углу коридора различаешь тусклую лампочку и неприятную сценку под ней. Задерживаешься, привыкаешь к освещению и вспоминаешь множество деталей, о которых предпочёл бы окончательно забыть. Постепенно из подводного мрака выступает, как Атлантида, обширная юность.

Целый час я ехал из центра на Красный Камень в забитом троллейбусе с гвоздикой под драповым пальто. Затем, разрываемый любовью, плёлся по мокрому снегу к девятиэтажкам. Возле квартиры 128 обнаружил, что ножка гвоздики к чёрту изломана. Оторвал её, бросил в мусоропровод и предстал перед зелёные очи с гвоздичной головой на ладони. Катя не пустила меня дальше тусклой прихожей. Ей хватило двух минут, чтобы выставить меня; возможно, в комнате был гость поинтересней. Изломанная гвоздика Катю развеселила, и она еле сдержалась, чтобы не захохотать раньше времени. Так или иначе, я снова оказался во тьме внешней. С глубоким неопределённым чувством месил Катин квартал, поглядывая на томные окна. Догнал троллейбус и одну остановку проехал сзади, вцепившись в лесенку, ведущую на крышу.

Как правило, контролёров я тщательно избегал, выжидая возле одних дверей и перебегая на остановке в

другие, если один из них приближался ко мне достаточно близко. Иногда подделывал проездные, либо предлагал «неразменную» застиранную купюру, разводил руками, если контролёр её не брал, и пересаживался на следующий транспорт. В тот раз я столкнулся с контролёром лоб в лоб, едва вошёл, и, не желая ввязываться в борьбу, заплатил ему. Сел на переднем сиденье, рядом с горбатой кабиной, обклеенной эротическими фотографиями. Сумерки постепенно душили салон, троллейбус кряхтел, а я раскачивался на сиденье, глядя на ледяное дерево в окне и думая о том, как бы мне привязать Катину жизнь к своей тысячью нитей и узлов, а потом постепенно стянуть их.

Жизнь стала меняться. Школу преобразовали в лицей и создали три профильных потока: математический, гуманитарный и медицинский. Появились новые преподаватели, приглашённые экстравагантной завучкой. Один из них, низенький импульсивный бородач, пытался обучить нас пяти иностранным языкам в течение часа. Мы встретили его насмешками, и врата априорного знания не отверзлись. Другой наставник, похожий на щуку, вёл у нас уроки, которые официально именовались психологией. На первом из них он повесил на доску репродукцию «Девочки с персиками» и включил медитативную восточную музыку. Мы должны были написать сочинение про видения и образы, которые нас посетили. Щука вообще любил сочинения. В другой раз он зачитал нам фрагмент «Махабхараты» и потребовал изложить письменно почерпнутые истины. Поставил пятёрки тем, кто писал духовно, и тройки тем, кто выявил сарказм. Устроил массовую медитацию на родительском собрании и вывесил портрет Великой Матери возле учительской. На третьем, самом познавательном занятии, большая доска в кабинете химии была испещрена изображе-

ниями существ из Нижнего, Верхнего и Антресольного миров. После жалоб непросветлённых родителей его уроки сделались факультативными, большая часть класса перестала на них ходить. Завуч принимала участие во всех Щукиных мероприятиях, включая ночные мистические бдения в спортзале с истинными учениками.

Вторая школьная секта сгустилась вокруг учителя танцев, изящного и нервного человека, вероятно, бисексуала. Состав этой секты был непостоянным и случайным, собиралась она в кладовой между гардеробом и библиотекой, где от пола до потолка громоздилась пыльная музыкальная аппаратура. Хозяин, любитель Булгакова и группы «Queen», потчевал свирепым чаем и одинаковыми рассказами о любовнице, которую он каждый раз называл разными именами.

В школе появились первые компьютеры, громоздкие «Корветы» с замысленными зеленоватыми экранчиками. Сформировалась клика старшекласников, входящих в компьютерный класс. Признанным главарём их был блондин Глебушка, слывший в школе гением. Заместителем и подручным — обаятельный татарин Марат, знаток единоборств, главный фигурант в скандале с беременностью лучшей из школьных красавиц — томной, наглой, похожей на певицу Мадонну. Юноши из параллельных классов, у которых Марат отбивал девушек, которые пытались время от времени начистить ему морду, но он разметывал их, как карточную колоду.

Среднеклассники вились вокруг компьютерного класса, словно мушиный рой. Ребята постарше стояли в отдалении, исполненные достоинства и зависти. Два юных бога, Глеб и Марат, выходили из аудитории и возились с ключами, запирая решётку. «Чем вы там занимаетесь?» — подобострастно вопрошал конопатый учень. «Онанизмом», — доверительно отвечал Марат, исполняя

фокус с сигаретой, непонятно откуда возникавшей в углу рта. У Марата была страсть к дорогим сигаретам, он курил их в школьных коридорах, избегая стычек с учителями благодаря прекрасной реакции.

Спустя несколько недель плотина была прорвана, и наши неучёные физиономии стали допускаться в святая святых. Глеб-и-Марат всевременно находились тут же, контролируя включение и отключение счастья, а также загружая нам игры с помощью сияющих на все лады кассетных магнитофонов. В то время меня увлекала дуэль, в которой два червячка — секретных агента в долгополых пальто — наперегонки занимались коммерческим шпионажем, вскрывая сейфы с документами, разбросанными там и сям внутри непонятого предприятия. Друг друга они не жаловали, могли засверлить насмерть электродрелями. Если у меня не было достойного партнёра, я лазил с малохольным Принцем по замку, то сражаясь на шпагах со своим отражением, то срываясь в колодец на метровые стальные шипы. Заканчивался игровой вечер единообразно: Марат всякий раз говорил «расслабьтесь и думайте о приятном» — и поворачивал рубильник.

Я сам стал писать простенькие игры на безалаберном языке «Бейсик», зашитом в компьютеры. В первую из этих игр «Корвет» играл сам с собой: травянистая буква «а» гонялась за салатовой «я», которая улепётывала от неё во все лопатки, виляя между рассыпанных по экрану цифр. Обе делали это так сосредоточенно, что расстояние между ними не увеличивалось и не уменьшалось. Идею другой, намного более основательной программы, я позаимствовал в детском журнале «Квант», к которому нас пыталась пристрастить математичка Сильва. Игровое поле представляло собой колонию организмов разных видов, хищников, травоядных, растений, отмеченных на экране звёздочками, нулями и плюсиками. Хищники и травоядные могли существовать только при наличии характер-

ной для них пищи. Оставшиеся в одиночестве организмы умирали, но и слишком тесное соседство грозило болезнями и гибелью. Пользователь задавал начальное расположение колоний и мог проследить за развитием созданного им мирка. Кроме того, можно было напустить на колонию мор, проверив её на жизнестойкость, или наоборот, поместить её в питательную среду, где она начинала безбашенно размножаться. Выстроив организмы в форме классической колонии «Самолёт», я наблюдал, как она, вращаясь, но не теряя первоначальной формы, перемещалась по экрану, помаргивая бортовыми огнями, пока не разбивалась вдребезги о его край.

Нас с Пелешевским разнесло по разным потокам, и моим новым соседом по парте стал Демченко, Дёма, мешковатый тугодумный паренёк, который, тем не менее, зря времени не терял и сумел через пару лет поступить в добротный иностранный вуз. Новый лицей собрал ребят со всего города. Лица их я помню плохо; они проступают, как размытый фон на пострадавшей от сырости фреске. Лучшее всего сохранилась тонкая фигура Вали Запрудной. За партией я сидел обычно вполоборота, спиной к Дёме, чтобы не выпускать из поля зрения её профиль. Валя была наполовину сербкой, она уехала с матерью из Белграда, когда там началась война. Хорошо танцевала, ещё лучше играла в баскетбол. Пока мы, аки баранье стадо, метались между кольцами, Валя разыгрывала с физруком и тучным историком быстрые комбинации или забрасывала мячи дальними бросками. До меня доходили рассказы о её парнях, обновлявшихся каждый месяц; лучшие девочки уже шли нарасхват. Впрочем, и моё сосредоточенное наблюдение не осталось незамеченным. Однажды Валя предложила мне прогулять с ней уроки, к чему я оказался совершенно не готов и смущённо промямлил что-то о предстоящей контрольной.

Ещё одна новенькая, коренастая и большегрудая Катя, была Валиной подружкой и однопартницей. Поначалу

я совсем не обращал на неё внимания, особенно после того, как увидел её в бассейне — голышом она была тяжёловесна и косолапа. Но зато обладала некоей эротической харизмой, чертовски улыбалась, была сообразительна и остра на язык. Катя совсем недавно приехала в наш город из дальнего сибирского города. Семейство её распределилось по двум квартирам, и Катя жила вместе с бабушкой, отдельно от родителей. О Сибири вспоминала без ностальгии. Там в это время царила полная нищета, несравнимая с нашей бедностью. Часто вспоминала школьный концерт, где ей пришлось играть на фоне при десятиградусном морозе. Клавиши смёрзлись и едва поддавались, простуженный инструмент вместо «Лунной сонаты» выдавал зычный чих.

Когда Валентина перешла в гуманитарный класс, через малое время я оказался по уши влюблён уже в её подругу. Началось всё с ревности. С Катей стал встречаться один из новеньких, каждый день они уходили вместе, пересекаясь где-то вдаль, как трамвайные рельсы. Катя ходила с лукавой улыбкой, будто приклеенной, а мне становилось всё темней и грустней, как во время уроков труда. На одной из перемен я набрался решимости, раскачиваясь и пылая, пригласил Катю в кино. Мы встретились в субботу, ровно в полдень. Сентябрьское солнце ощупывало Катины ноги, она щурилась по-кошачьи, а на условленном месте обнаружился Дёма, обладавший, как выяснилось, феноменальным слухом. Мы втроём сходили на французскую комедию и до тошноты покатались на аттракционах. После этого Катя ушла, а Дёма проводил меня до трамвая.

Второй и последний раз мы с Катей пошли в кино в тот день, когда поступили в новый лицей с математическим уклоном, который только-только открылся при университете. Учеников набирали в октябре, по ходу учебного года. Катя узнала об этом заведении первой и сразу подала документы, за нею ринулся я, за нами — ещё не-

сколько наших друзей. Дёма поленился или же не был предупреждён. На экзаменах мы сначала писали тестовые задания в многоярусной аудитории. Потом с каждым из нас беседовал о том о сём полный, сочащийся лукавой добротой человек. Световые блики ползали, как улитки, по толстым стенам. На следующий день тот же человек сообщил фамилии избранников. Никто из наших не срезался. День был не по-октябрьски знойным, и Катя ходила в коротком красном платье, прозывавшемся у ней «на живца». Два часа подряд я левой рукой сжимал Катину ладошку, а правой обнимал спинку её сиденья. Фильм был несравненно жиже предыдущего. Я то и дело, вместо того, чтоб смотреть кино, дышал Кате в ухо, она уворачивалась, наклоняясь вперёд и вбок, и тарахтела пластмассовыми клипсами. Когда я провожал её домой, эрекция моя была непрерывной и непобедимой. Я стеснялся и шагал рассыпчатой, почти морской походкой. В этот день я впервые увидел массив Красный Камень с грязным прудом по центру, вытарщенный глазок 128-ой квартиры и Катину бабушку, выспросившую у меня, крепок ли я здоровьем и много ли ем. Почаёвничав, мы уселись на ковре перед «Электроном». Катя смотрела на инопланетян, а я на её потрясающую задницу в домашних шортах.

На этом любовные радости пресеклись. Катюша сообщила, что в новом лицее выбор мальчиков богаче, и глупыш Андрей был задвинут на дальнюю полку. Вокруг неё образовалась стайка друзей-соперников, где я чувствовал себя лишним. С провожаниями было покончено, да и дома у Кати я заставлял обычно сразу нескольких её новых приятелей. Мы всё ещё сидели с ней за одной партой. Время от времени я пытался исподтишка взять её за руку. На уроках мы играли в миниатюрные шашки, помещавшиеся в коробочку не больше спичечной. За эту привычку преподавы несколько раз выгоняли нас из аудитории, промывали мне мозги в директорском кабинете. Я вкрадчиво

спрашивал: а чем шашки хуже «феодала» и «пяти в ряд»? Тем, что есть доска? Шашки не мешали мне и Кате учиться хорошо, и преподы капитулировали.

Игорь Шмелёв, бывший мой дворовой товарищ, живший теперь в другой части города, материализовался в классе на одной из перемен, когда я оставался с одной дамкой и тремя зажатыми в угол шашками против трёх дамок и двух шашек у Кати. Не обращая внимания на моё злобное пыхтение, он подхватил партию и в три счёта Катю обставил. Был он теперь кудреват и высок, двигался резко, диагонально и непредсказуемо. Учился неподалёку в юридическом лицее, а сейчас зашёл к своему другу Юре Черниченко потрепаться на перерыве. Я и охнуть не успел, как выдал ему невпопад Катин адрес. Похоже, что Шмелёв обучился навыкам гипноза. Во всяком случае, в его присутствии я теперь испытывал лёгкий транс. Через день Игорь выскочил с сигаретой в зубах из каменной пазухи сбоку от лица и присоединился к свите, провожавшей Катю домой. Катя дулась на меня, поворачивалась спиной, игнорировала попытки завести разговор. В троллейбусе всю дорогу играла со Шмелёвым в гляделки, а на остановке заявила, что не желает, чтобы я с ними дальше шёл. Пошла ты к чёрту, крикнул я, хочу идти, значит иду. Так мы и шагали к квартире 128: я слева от Кати, не глядя по сторонам, сжав кулаки, Шмелёв справа, без умолку с ней болтая, остальные позади, петляя, чтобы не залезть в жидкую грязь. В Катину квартиру, в отличие от прочих, я допущен не был.

В следующие дни Катя перекочевала за парту Юры и перепархивала обратно лишь во время контрольных по математике. Тот был искренне рад Катиному соседству, хотя встречался с ней не он, а его товарищ. Юра обладал не по годам выразительным голосом, который колыхался и резонировал у него внутри, как в музыкальном инструменте. Этим мягким баритоном он сообщил мне, что ро-

ман Шмелёва и Кати наверняка долго не продлится. Игорь просто не способен любить девушку дольше месяца. Так оно и вышло, но Катя вошла во вкус яркой девичьей жизни, а поэтому на своего прежнего вконец отчаявшегося ухаждёра внимания уже больше не обращала.

На почве ревности, вычислительной математики, книжек по популярной психологии фантазия моя разогналась не на шутку. Невесть откуда выскакивали и заполняли сознание моральные теории с математической подоплёкой. Я строил многомерные зависимости между душевным равновесием, потребляемым благом и льющимся изнутри счастьем. Чертил любовные графики, выныривавшие асимптотически из минус бесконечности и тотчас уходящие в бесконечность плюсовую. Пытался разложить свою горечь в ряд с убывающими членами, тем самым разделавшись с ней раз и навсегда. Всё это было бесполезно, будто картонная коробка во время урагана. В период особенно сильных терзаний ко мне после уроков подошла красивая девочка, Катина подруга, и сказала, что Катя в близком кругу говорит обо мне гадости, а она сама очень мне сочувствует. Я нравился девочке, девочка нравилась мне, но повернуть разговор с моей больной любви на боковую тропку и назначить свидание мы в тот раз не сумели.

Зима перешла в боевую, снежную фазу. Едва я оправлялся от одной простуды, как цеплял новую. С вирусом в крови и растущим грудным кашлем отправился в соседний город на олимпиаду — она проходила в физико-математической школе, дружественной нашему лицу. Совиными глазами созерцал в автобусе, как сексуально Катя устроилась на коленях у невозмутимого Юры. Стоял чёрно-белый шахматный день имени режиссёра Германа-старшего. Мокрый снежок, запущенный Димой Бритвиным, съездил мне по физиономии. Рано или поздно Дима должен был попасть в объектив — пусть это будет сейчас,

в скупом кадре с сутулой школой вместо задника, с крупным планом на уютной лицейской секретарше в пуховом платке, лавирующей среди снеговой баталии. Далее, после монтажного стыка, пусть появится казацкий дуб, возле которого мы стоим, перемешанные с местными школярами. Смущённо улыбается Ваня, Иван Данилыч, первый директор лицея, рыболов и энтузиаст, никто ещё не знает, что скоро его снимут с поста за широту души. Пересвеченный до смертной бледности Дима, в меховой шапке, с рукой на ширинке. Я — разгорячённый мальчик с усиками, ещё не тронутыми бритвой. Основательный Юра, приобнявший сразу и пуховую секретаршу, и мою нефотогеничную любовь. Ещё трое дылд из разных классов, сплошь теперь банкиры и чиновники. Снежок, опускающийся с небес — медленно, мокро, температурно.

На обратной дороге от дуба к школе мы с Бритвиным отстали от общей массы и забрели в какой-то магазинчик. Там я впервые увидел импортные шоколадные батончики. Ёкнуло — вот они, презервативы. Несмотря на солидный мастурбационный опыт, я был на удивление невежествен в сексуальных вопросах. В физико-математической школе, ощущая лёгкий жар и ядовитое воодушевление, я вёл себя противно. Стянув где-то две тряпичные прихватки, я разместил их на плечах на манер эполет, прерывал шутками приветственную речь нашего Вани, без стеснений заливал дикими соплями оба случившихся носовых платка. Вечером в общежитии, где нас разместили, чегекашная команда лицея, в составе Юрия, Кати и дылд, сгрудилась в фойе у телевизора и пыталась обогнать с ответами телевизионных собратьев. На столе рядом с Катей лежала грудка фруктов, выложенная ею в форме полового члена. Я сидел поодаль в Диминых наушниках, слушал изнасилованные подтягивающей плёнкой рок-н-рольные баллады и сверлил злыми глазами всю Катину шатию. Меня в команду не позвали, чем очень удружили — до сих

пор не знаю занятия глупей этой игры. Сопливые платки попеременно сохли рядом со мной на спинке стула. Я был трагичен и смешон. Бритвин давно спал, отвернувшись к стене, на обтрёпанном диване в углу комнаты. Директор Ваня ходил взад-вперёд по коридору перед раскрытой дверью. Было видно, что выражение лица у него кислое: роман с секретаршей совсем расклеился.

Считалось, что олимпиаду, которая состоялась на следующее утро, я провалил, но я до сих пор уверен, что решил абсолютно все задачи. Методы, которыми я пользовался, были неизвестны запорожской проверочной комиссии, — так что углублённые лицейские спецкурсы вдруг обернулись против меня. В большинстве задач я использовал мощную, хотя и не слишком широко известную теорему об одномонотонных последовательностях, полагая, что её должен знать всякий встречный, уж никак не меньше, чем классические неравенства Коши-Буняковского. Я обожал олимпиады. Ум приходил в холодное исступление, мысль двигалась по странным траекториям, разыскивая тайный механизм, замочек, пружинку, при нажатии на которую задача мгновенно раскрывалась, как ящик с секретом. Память услужливо показывает мне амфитеатр тяжёлых, древних на вид столов в широкой аудитории, обведённой холодным январским светом. Холодно (привет чёртовым девяностым), участники олимпиады не снимают верхней одежды. Хитруша Катя мостится между Черниченко и мной, списывая у нас лучшие решения. Она-то и выиграет эту олимпиаду. Мои волосы зачёсаны назад и держатся в этой встопорщенной позиции силой недельной немытости. Рот приоткрыт, кончик языка выставлен и движется в такт руке, помогая писать. Слева от меня бравирующий закалкой Бритвин, одетый в рубаху с чёрным горохом. Лысый, вытянутый ширишь препода скользит между рядами: медленно, словно парус, проплывает наверх. Постояв у последнего ряда,

опять медленно — вниз; надзирает. А меня здесь нет, я совсем там, внутри задачи, с этой жизнью меня связывает только потрясающая все основы десятисантиметровая Катина близость. Аудитория исчезает, прошлое скукоживается, деформируется, трескается.

Бритвин тяжёл и лобаст, думает медленно и говорит по существу. Но чувство юмора у него отличное, это видно по тем залихватским стихам, которые он пишет. Светлые аптекарские усики делают Диму похожим на сома. По математике и физике у него твёрдая, просто-таки диабазовая пятёрка, зато по русскому, истории, химии тройки можно разгружать лопатой. Всё-таки к концу года, попыхтев и несколько раз пересдав, он вытягивает и по этим предметам четвёрки — это нужно для поступления в вуз. Решение любой олимпиадной задачи в его изложении занимает не более шести строк — там, где я развожу баррикады на две-три страницы. Влюбляется он, до поры до времени, в самых некрасивых девочек, мелких, очкастых, ужасно правильных, которых пугают заросшие рыжей шерстью Димины руки. Ненавидит дискотеки и претерпевает их стоически, как ниспосланное свыше наказание и как единственный способ ощутить вблизи любимую девочку, хотя бы оттоптав ей ноги. Как-то раз во время лицейского дискаря захожие пэтэушники стали, потехи ради, меня бить: я привлекал к себе внимание резкими, алогичными движениями. У постороннего человека могло сложиться впечатление, что я и впрямь умею танцевать. Диме понадобилась одна минута, чтобы вытолкать пятерых наглых подростков из зала. На одной из физкультур Дима и физрук надели перчатки и стали боксировать. Дима, стоя в стойке, пропустил несколько ударов, но потом приложил физрука так, что тот отключился. Но по настоящему Бритвин преображался на футбольной площадке. Вместо апатичного увальня возникал быстроногий дьявол, стремглав пересекающий поле, выдающий удивитель-

тельные пасы, забивающий мячи «ножницами» в акробатических прыжках. Играть он научился в раннем детстве, как ни странно, в Индии, где его родители провели лучшие годы, работая в торговом представительстве. Я постоянно был вратарём, всё более неплохим. Снаряды, которые посылал Дима, брать было непросто, даже если он бил со своей половины поля. Мяч всегда летел точно в один из верхних углов. Лучшее, что я мог сделать — выбить его на угловой, иначе, за счёт закрутки, он легко вырывался из рук и ввинчивался в сетку. Несмотря на гераклову мощь и футбольный талант, Дима не занимался спортом регулярно и выдыхался на середине семикилометровых кроссов по университетскому парку. К концу третьего километра я обычно нагонял и опережал его. Дима кивал на мелькавшую перед нами в ста метрах фигуру Черниченко: давай надерём ему сраку. Мы ускорялись, как могли, но к концу последнего километра, когда становилось ясно, что Юра непобедим, отдуваясь, переходили на шаг. Ожидавшая на финише Катя висла на Черниченко и целовала его в щёку, она была просто невыносимо эротична в обтягивающих штаниках и майке без лифчика. Дима показывал жестом: ах, какие у ней огромные дойки, у этой твоей бывшей.

Мода на стихосложение стремительно, как пожар, распространилась среди мальчиков к середине десятого класса. Производились в основном скрипучие, расшатанные вирши, обращённые к анонимным девушкам в платьях цвета жасмина. Димины стихи выгодно отличались от нашей белиберды. Это были абсурдные, почти хармсовские истории об учителях. В самой лихой из них директор Ваня представал грозным маниаком, скачущим в полнолунную ночь на вороном коне и размахивающим обгарённой саблей. В поэме про учителя информатики Хижу было лишь незатейливое описание урока, но сам Хижа, выслушав этот опус в сумрачном исполнении Димы, сполз

под стол от хохота. Ещё одним Диминым хитом была баллада «Невересковский немёд», где «на невересковом неполе на неполе небоевом не лежал ни живой на нёмёртвом, ни мёртвый на неживом». Дима, скажу я вам, упустил шанс стать хорошим поэтом. Он стал прозаиком.

Мы с Димой близко подружились двадцать девятого или тридцатого августа, за пару дней до начала выпускного класса, когда нас отправили мыть окна в новом лицейском корпусе. Вместо этого мы устроили водное побоище. Большая половая тряпка была разорвана на десятки лоскутов, которыми мы обстреливали друг друга из-за выстроенных баррикад. Точней сказать, почти все лоскутья летели в одном направлении: я безуспешно пытался поразить Диминову голову, выглядывавшую там и здесь из-за стульев и поставленных вертикально парт. Дима наращивал перевес в вооружении, подначивая меня к обстрелам отдельными снайперскими выстрелами. Мне пришлось капитулировать, когда мои тряпицы закончились. Дима, на правах победителя, окатил меня из ведра водой.

В это же время я опять сдружился с бывшей своей соседкой по дому Настей Марченко, или Махой, рослой, физически крепкой девочкой, которая на физкультуре играла с нами в футбол, расталкивая соперников мощными бёдрами. Свои выходные и каникулы будущая секс-бомба факультета прикладной математики посвящала скалолазанию, спортивному ориентированию и ролевым играм. В наших краях ей не было равных в боях с коротким мечом. С учётом того, что она недавно рассталась со своим парнем, я немало думал о ней, но пришёл к выводу, что к Махе меня не тянет. Черты её лица казались азиатскими, а ляжки не по-дамски мускулистыми. Влюблённость в неё была отложена более, чем на четыре года.

Теперь мы сидели вместе на строенных лицейских партах — многомудрый Дима, богемная Маха и включен-

ный «ботаник» Андрей — сумрачная от нескладных любовей, колоритная группа. На переключке Димон втихую уплетал сосиску в тесте, а Маха, когда называли его фамилию, торжественно возглашала: «Ест!». Потом вынимала из портфеля и укладывала у себя на коленях посапывавшего щенка. А я то и дело смотрел на Катин затылок, на тяжёлый, колыхавшийся в такт письму узел волос.

Все лицейские преподаватели были из университета, и программу тоже привели в соответствие с первыми вузовскими курсами. Теорию множеств читал академик Кабанов, крутой мужик лет сорока пяти. Он писал на доске так резко, что на его занятиях крошилось и ломалось рекордное количество мела. Если дежурные забывали вытереть доску, он начинал водить мелом поверх уже написанного на ней, либо просто уходил в учительскую, дико блеснув глазами. Готовиться к лентам он считал ниже своего достоинства и верил, что любую теорему может доказать с ходу. Это приводило к забавным ситуациям, когда Кабанов, позабыв какой-нибудь финт, надолго застывал, ухватившись мелованными пальцами за подбородок. Мы считали ворон, склабившихся за высокими окнами. Наконец, услышав звонок, он повелевал нам завершить доказательство самостоятельно. Индексы суммирования в его формулах терялись и дополнительно запутывали изложение. Графики напоминали полотна абстрактных экспрессионистов. (Бритвин бормотал, пытаясь срисовывать: «Не так страшен чёрт, как его малюнки».) Но всё-таки Кабанов, с его бешеной страстью к математике, заразил нас с Димой, и мы, независимо друг от друга, решили поступать на мехмат.

Круглый, лукавый, похожий на прислушивающуюся курицу препод, который беседовал с нами при поступлении в лицей, был доцентом всё того же механико-математического факультета. Звали его Исаак Бронштейн. Успевающие ученики любили его за увлечённость,

с которой он мог часами рассказывать, сверкая ленноновскими стёклышками, о недавно доказанной — спустя столетия после смерти автора — Великой Теореме Ферма или о множествах, промежуточных между счётными и континуальными. Троечники ненавидели его за то, что на экзаменах он не давал им воспользоваться ни одной из школьных хитростей. Милая суетливая курочка во мгновение ока превращалась в зоркого ястреба. Перед началом священного действия Исаак выдавал каждому экзаменуемому восемь листиков с его фамилией и собственной неповторимой подписью на каждой странице. Во избежание подлога, никакие иные листки в рассмотрение после экзамена не принимались. В течение полутора часов мы обязаны были сидеть, утвердив локти на столе. Попытка протянуть руку внутрь парты за конспектом или учебником каралась изгнанием. Сверкая хромированными очами, Исаак хищно бросался на всякую бумажку, хотя бы отдалённо напоминавшую шпаргалку. Очередь пересдающих экзамен рассеивалась лишь через пару месяцев. Наиболее одарённые мученики науки успевали совершить по пять-шесть попыток.

Мы с Бритвиным поделили первое и второе места на областной олимпиаде по математике, опередив сильных конкурентов из 23-й школы, и отправились на олимпиаду республиканскую. Это был первый такой случай в истории нашего лица. В столице нас разместили в унылом двухэтажном интернате, по форме напоминавшем знак суммирования Σ . Наши спальни помещались в нижней перекладине, а сами олимпиады происходили в срединном изгибе. От города остался в памяти разве что обширный зал драматического театра, куда нас согнали на просмотр патриотической пьесы с тягучими кобзарями и нездоровыми на вид, повинными во всём москалями. Всего в нашей областной команде было 11 человек, почти одинаковых мешковатых отличников. Выделялся, как ворона сре-

ди синиц, только бурсак Федька, обязательный для данного вида спорта учащийся техникума. Он ужасно с нами скучал, а по вечерам пытался заклеить какую-нибудь из математизированных девочек. Наши вечные соперники, 23-я школа, были представлены, во-первых, художочным юношей с фамилией Изуит, который всё делал впрок — выигрывал олимпиады, изучал французский и дзю-до — готовясь, как он сообщил, к миссии спасения человечества. (В итоге стал директором биофабрики.) Во-вторых, среди нас присутствовал, оказывая нам честь, вальяжно-бархатный Миша Саянов, который обучил нас с Бритвиным премудростям преферанса и превратил заолимпиаде в непрерывную карточную баталию. К окончанию олимпиады, когда Бритвин неожиданно воспарил в первую десятку призёров, а все остальные облажались и получили только по диплому третьей степени, мы должны были Мише по двадцати тысяч купонов каждый. (Инфляция в тот год неслась, как лошадь по ипподрому.) Остановись, мгновенье, шепчу я, и мгновенье останавливается. Миша в шёлковой рубаше с золотым драконом торжественно кладёт карту на тумбочку, оставляя меня без двух, а Бритвин бродит по спальне, помахивая от скуки широким раскладным ножом. Из интернатской стены лезут змейками два провода. Бритвин, не долго рассуждая, скрещивает их оголённые концы. Раздаётся хлопок, гаснет свет, пахнет палёной кожей.

Вернувшись с олимпиады, мы с Бритвиным влились в корпорацию лицейских картёжников. Играли почти каждый день после занятий, то в пустых аудиториях, то в ближайших дворах. Из небольших проигрышей со временем у меня выросли основательные долги. Мы с Димой стали жульничать. Первый придуманный нами нечистоплотный метод игры, при котором один из компаньонов поддавался и оставался в минусах, помогая набрать очки другому, как оказалось, только развязывал руки соперникам. Мы

перешли к прямому подлогу: во время игры подменяли карты так, что коллеги получали хромые на все ноги мизера. О нас уже ходила дурная слава. Как раз в это время я, в очередной раз проигравшись в пух и прах, проанализировал ситуацию и навсегда забросил азартные игры. Остался должен Диме, немного, тысяч десять, но долг этот долгое время не признавал: мы ведь договаривались делить все выигрыши и проигрыши поровну.

Дима вынудил меня вернуть ему деньги с помощью шантажа, взяв в залог неосторожно одолженные ему аудиокассеты с записями группы «Metallica». Я, в свою очередь, с холодной душой изъясил долг у гипнотизёра Шмелёва, которому мы подложили мизер в тенистом дворике позади лица — он дожидался там Юру и Катю с факультативного английского курса.

Летом я записался в последнюю смену университетского лагеря отдыха, вынудив маму вернуться от бабушки на несколько дней раньше обычного. Сделал я это из-за Кати, но расчёт мой не оправдался, она побывала в лагере в более раннюю смену. Первые дни прошли в обычной, понемногу затухающей тоске. Я читал «Доктора Фаустуса», играл с друзьями во все игры, кроме запретного преферанса. Лицейскую бригаду разместили в двух вытянутых одноэтажных постройках в центре лагеря. Девичий дом стоял возле цистерны с ржавой и не вполне питьевой водой. Мальчишечий опирался задней стеной на изгородь кинотеатра под открытым небом, где нам показали дивный фильм, склеенный из ошмётков «Звёздных войн» и «Бриллиантовой руки». Проектор не выдержал духовного напряжения, задымился, выставил язычок фиолетового пламени, и мы не узнали, какой у этого произведения был финал. Около шести утра громкий магнитофон из домика по диагонали от нас заводил «Леди ин реед», приходилось подниматься и тащиться в столовую. На завтрак была ненавистная манка, я сразу же извлекал из неё не ус-

певший расплзтись кусок масла и съедал его с хлебом, а потом с тяжёлым чувством глядел на тарелку, намереваясь протолкнуть внутрь одну или две ложки норовистого продукта. За этим занятием меня застал на пятое или шестое утро Миша Саянов, подошёл, хлопнул по плечу и пригласил перебраться за его стол. Я сел рядом с ним, на соседнем табурете. За этим же столом завтракала ещё одна семья, отчасти мне уже знакомая: Юра Черниченко с младшей сестрой и родителями. Даша училась в медицинском классе прежнего моего лица, их с Юрой часто принимали за близнецов, но они были погодками. Отец, обладатель усов и лунной плечи, тянулся губами к стакану с яблочным соком, а мать нарезала ломтиками помидоры. Кроме них, материализовался младший брат, среднеклассник Серёжа. Все соучастники семейства Черниченко были одинаково долговязы, кроме матери, позволявшей себе иметь существенную ширину. Миша, в разноцветной майке напоминавший задорного петушка, не без юродства протянул мою душонку компании. Я заметил весёлый Дашин взгляд при его кукареканьи. Через полчаса все мы были на пляже у длинного, как карандаш, и немисливо грязного пруда. Миша, заложив ногу за ногу, рисовал на газетном обрывке Дарью в виде дамы треш, а мы с Юрием выясняли, кто быстрее плавает. Юра выиграл, и очень легко. Затем отправились на теннисный корт, но единственная пригодная поляна была занята начальником лагеря, который, не сходя с места, нещадно гонял по площадке пышную девушку с длинными, увязанными резинкой волосами. Оставался бадминтон. Вместо сетки была натянута верёвка; с Юрой было тяжело играть, он в два шага пересекал площадку, но я всё же нашупал слабину: нужно было запустить волан по высокой траектории ему за спину и, если он исхитрялся вернуть, сразу же перебрасывать в один из ближних углов. Я выиграл и был награждён продолжительными Дашиными аплодисмен-

тами. Вечером играли в «мафию», пока не перестали видеть карты. Лучший мафиозный тандем образовали Юра и Серёжа, самым бездарным комиссаром Каттани оказался Миша. Даша приоткрывала глаза, когда мирным жителям полагалось спать: жульнический вариант игры был для неё более захватывающим. Потом отправились на дискотеку. Миша и я по очереди танцевали с Дашей, она была лёгкой в движениях и непривычно послушной.

Наутро многохрапящий руководитель лицейской делегации устроил для мальчишек поход в дебри леса. Из-под наших ног то и дело прыскали ошарашенные гадюки. К тому времени, когда дебри осточертели, мы вышли к реке Волчьей, мутной и дурно пахнущей после знакомства с промышленным городом. Здесь были испечены и съедены нанизанные на ветки ломтики мяса и помидоров. Обрато мы шли по ровной глинистой дороге с кабаньими следами. В комнате нас встретил ералаш. Все вещи в сумках были перепутаны, в чайник добавлен пурген, магнитные шахматы расположились на трубе под самым потолком. Купленный накануне арбуз был выеден и доверху наполнен носками, а у самого весёлого и симпатичного из парней наволочку матраса распирала сотня шишек. Девочки обиделись, что мы не взяли их в поход. Несколько дней подряд мы гнусно мстили им: рисовали на дверях сатанинские знаки, портили дискотечные платья лаком для ногтей. Выкрали уют, раскрутили его, сунули внутрьдохлую мышшь и вернули на место. Даже после формального перемирия мы на всякий случай посменно дежурили и не давали девчонкам проникнуть на нашу территорию.

Незадолго до конца смены состоялся Праздник Нептуна. Обосновавшись на вышке для прыжков в воду, начальник лагеря, украшенный зелёной тряпичной бородой, выпевал уловатым голосом отсебятину на мотивы киношных песен. Снизу, стоя в шаткой лодке, вплетала

в его вокал свои завитушки масштабная кавээновская дива. Саянов и Черниченко блестяли ляжками в компании водяных и чертей, плясавших на понтонах. Даша была одета в одни лишь зелёные ветки, прикреплённые скотчем к голому телу. Когда начлагеря и дива умолкли, началось массовое обливание, откупоривание бутылок, бросание девушек в пруд и барахтание в поднятой со дна мути. Мы с Мишей подплыли к лодке с дивой, которая по-прежнему гордо стояла, заслонившись от солнца лохматым зонтом. Не сговариваясь, ухватились с разных сторон за борта и стали раскачивать лодку. Дива негромко, но внятно материлась, стараясь не потерять равновесие. Её щуплый муж пытался достать нас веслом. Игра наскучила, и мы вернулись на берег, к Черниченко.

Вечером сидели у костра под вертикально нарезанными облаками и заострённой луной, мелькавшей среди них, как мяч среди футболистов на школьном стадионе. Саянов по-хозяйски обнимал Дашу, а я жёг написанные в лагере неудачные стихи, подмешивая к ним, для солидности и чистые листки бумаги. Моя любовь к Кате уносилась к чёрту, как дым в лунной колоннаде. Миша долго терзал штопором пробку, вытянуть её не сумел, и вместо этого протолкнул внутрь бутылки. Красное вино неравномерно разделилось по пластмассовым стаканам. Выпили за свободу, потом за дружбу. После моего тоста вино закончилось. Затушили огонь и двинулись к лагерю, обведённые по контуру смазанным лунным сиянием. Прежде чем зайти в засранный туалет, Юра запел: «А напоследок я схожу». Даша хохотала и отбивалась от Миши, который пытался расстегнуть ей джинсы. Потом её фигура мелькнула на верхнем рукаве лестницы, и всё смолкло.

За ночь меня жестоко искушали комары. Лицо, руки и грудь покрылись зудящими красными пятнами. У Черниченко нашлась в аптечке мазь, и добрая Даша самолично смазала ею мои расчёсы, от чего они сделались ещё бо-

лезненной. Был Яблочный Спас. Кто сегодня съест яблоко, тот спасётся, сказала Даша. Мы отправились к реке: впереди Юра, Даша и ещё одна полная девушка, её подруга, за ними мы с Мишей, захватившим с собой гарпунное ружьё для подводной охоты. Даша с ним отчего-то больше не разговаривала.

Мы прошли вдоль бетонного забора, окружавшего ряд пансионатов, повернули, сквозь хлёсткий кустарник выбрались на излучину реки Волчьей. Чуть ниже она впадала в реку Самару. Точней было бы сказать, что это узенькая прозрачная Самара впадает в широкую и мутную Волчью. На берегу Юра подобрал черепаху, которая была торжественно помещена в приготовленный для трофеев пакет. От места слияния мы шагали, то приближаясь, то удаляясь, вдоль изначальной, чистой Самары, которая вырисовывала по лесу змеиные петли. Дашина подруга впервые в жизни увидела чаги на берёзах. Юра объяснил ей, что это впавшие в спячку животные, и она сделала вид, что верит. Непонятно было, кто кого разыгрывает. Лес расступился, показалась классическая, как с картинки, широкая поляна с пасущейся парой пегих лошадей. Даша ринулась к ним с тёмным огнём в глазах, её подруга засеменила сзади. Двое пастухов, обладающих одинаковыми древесными лицами, объяснили им, что лошадей можно потрогать и даже покормить, но садиться на них не разрешается. Лошадь взяла длинными жёлтыми зубами яблоко из Дашиных рук. Даша сияла. Пока мы глядели на лошадей и Дашу, оставленная без присмотра черепаха выбралась из пакета и дала дёру, бултыхнувшись с метрового откоса в Самару. Когда лошади надоели девочкам, мы забрались на холм, замыкавший поляну, спустились с него к очередному витку речки и начали раздеваться. Даше хотелось на следующую поляну, приветливо расстилавшуюся за Самарой. Она продемонстрировала свой длинный волос: он попал в «молнию» и выгнулся по

форме её зубцов. Юра знал брод и пошёл по нему первым. Я следовал за ним, держа над головой рюкзак со снятой одеждой. Вдруг ноги потеряли подводную тропу, и я стал уморительно барахтаться, пытаясь удержать рюкзак на весу. В конце концов выбрался на берег намного ниже брода, бросил на траву мокрый рюкзак и ещё несколько раз нырнул, пока не добыл оброненную Дашей сандалию. Рядом с поляной через очередной речной выверт был переброшен верёвочный мостик. За ним на высоком берегу сидели две девушки с походными мольбертами. Миша повис на верёвках, подгибая ноги в кедах, чтобы не зачерпнуть воды, и, ловко перебирая руками, перебрался к художникам. Мы с Юрой отправились ловить раков, их было на этих излучинах видимо-невидимо. Юра научил меня заводить руку поглубже в нору, пока её хозяин не вцепится в палец, и медленно, чтобы не порвалась клешня, вытягивать его наружу. Мы бросали раков в пакет, где была до этого черепаха, они люто боролись друг с другом, но им в голову не приходило проделать в полиэтилене дыру. На поляне нас встретил костёр. Юра добыл из рюкзака котелок и рискнул набрать в него самарской воды. Большая часть раков была отбракована Дашей из-за их юности. Было жаль своих трудов, но всё-таки мы с Юрой повиновались и сбросили их в реку. Восемь крупных зверей встретили смерть в котелке и были с наслаждением съедены. Миша тоже вернулся с трофеем: он загарпунил солидного леща. Юра сфотографировал его с лещом на фоне верёвочного мостика, рядом целилась из гарпунного ружья голенастая Даша, повязавшая на голову полотенце и ставшая похожей на араба. Возвращение в лагерь в памяти слегка смазано. Кажется, мы с Мишей, отстав от основной группы, решили сократить путь к лагерю и застряли в глухом ежевичнике. Вернулись к темноте, на час позже других ребят. Даша уже начала нервничать и тормозить Юру, чтобы он шёл нас искать в лесу. Дискотечная музыка

разрывала мне сон до половины третьего. Заснув только под утро, я чутко продремал до полудня. Когда проснулся окончательно, в комнате никого не было. Я грыз спасительное яблоко и (скажу честно) дробил, наблюдая из окна за Дашей — она, закинув ногу за ногу, читала книгу за столиком, сбитым из сосновых досок. А вечером вся наша компания уже возвращалась в город на дребезжащей и вздыхающей электричке.

Черниченко оставили мне свой телефон. Через несколько недель я позвонил и долго общался с младшим братом, Серёжей, полагая, что на проводе Даша. Когда недоразумение разъяснилось, Даша, подслушивавшая наш разговор через другую трубку, хохоча, пригласила меня в гости на ближайшие выходные. В воскресенье трамвай протащил меня через прокопченный проспект и выдалил, вместе с группой бледных пассажиров, перед рассыпанными как придётся, выдавшими виды хрущёвками. Дом я нашёл не сразу, поскольку нумерация была не сквозной, и все встречные прохожие указывали мне в разные стороны. К оговорённому времени я опоздал почти на час. Юра, одетый в чёрные джинсы и фуфайку с дельфином, и голоногая Даша в невообразимой клетчатой рубашке сидели на узкой тахте и сортировали фотографии. Осенний свет, перерезанный размашистым клёном, падал на тахту и книжные полки. Мне была тут же выдана кипа снимков, а затем ещё одна, такая же, для передачи Саянову. Два героя дня, фотоаппараты «Зенит» и «Зоркий», красовались на пианино. Снимки часто были мутноваты. Юра проявлял их, как и полагалось, в крохотной ванной, освещённой красным фонарём. Некоторые фотографии ещё сохли. Оказалось — раньше мы об этом не говорили — что у нас много общих знакомых. Вспомнилось, что Костя Пелешевский, колебавшийся между христианством и иудаизмом, говорил о Юре, что тот станет священником, и тогда Костя будет к нему ходить на службы. Поговорили о Кате,

выяснилось, что Юра небольшое время с ней встречался (для меня это была неожиданная новость). Даша при её имени скорчила гримаску: кривляка эта Катя, и такая расчётливая, в простоте слова не скажет. Знаком был им и мой приятель Тимур, хитроумный, практичный осетин. При упоминании о нём Юра переглянулся с Дашей и склонился под письменный стол, чтобы включить компьютер. За минуту они подобрали на фотороботе глаза с тяжёлыми веками, подбородок с ямкой, узкие кавказские губы. Даша держала мышь нежно, как рюмку с водкой. Настал и мой черёд. Глаза Дашины перемещались то на меня, то на перечень носов и губ. Ну вот, похоже. На меня — нет, но на кого-то очень знакомого похоже было точно. Даша примерила непохожему-мне усы, ирокез, бакенбарды. Потом синяки и шрамы. Непохожему всё было к лицу. Я созрел для того, чтобы отправиться в туалет. На его двери с внутренней стороны висела вырезка из газеты: инструкция по проведению дефекации. Я чётко последовал инструкции. Когда вернулся в комнату, Даша размахивала теннисной ракеткой, показывая обратный кросс. После нескольких взмахов она задела Юрино ухо. Делегация в составе Даши и Серёжи удалась к холодильнику и вернулась с пакетом льда, который терпеливый Юра приложил к уху. Мне показалось, что Даша слегка преувеличивает и эксплуатирует свою естественность. По дороге к остановке шедшие по обе стороны от меня Юра и Даша заговорили мне зубы и направили меня так, что я врезался в ствол каштана.

В следующие месяцы я видел Черниченко часто, и порознь, и всех вместе. Один раз Даша прихватила меня с собой к швее, у которой собралась примерять платье для будущего выпускного. В троллейбусе, весело жестикуюлируя, она попала рукой в глубокий карман плаща сутулому, полупрозрачному мужчине, похожему на призрака. В кармане находилось множество интересных предметов. Даше

долго не удавалось незаметно вынуть руку, и она строила отчаянные и смешливые мины из-за дяденькиного плеча. Тот стоял, не шелохнувшись, и делал вид, что ничего не заметил. Больше всего Дашу насмешил я: ничего не понимая, растерянно хлопал глазами. В другой раз мы съездили к Черниченко на дачу; наши с Дашей локти соприкасались в тесной электричке. Участок был с ладошку, но в хорошем месте: с холма открывался вид на ложбину с ручьём и на крутое колено железнодорожной насыпи. Пока Юра и Даша собирали и укладывали в рюкзак сливы, я разглядывал дачу. Черниченко сами её выстроили, и получилось невесть что: помесь сарая и Вестминстерского аббатства. Внутри были темень, пыль, высохшие стебли тысячелистника.

Мы пошли с Дашей по воду, надо было полить заскухавшие цветы. Ведро я упустил в колодец, и оно долго летело вниз, ручка блока бешено вращалась. Да, Андрей, не деревенский ты житель — сказала Даша. Наконец я вытянул ведро наверх, красуясь разработанной пятнадцатикилограммовыми гантелями мускулатурой. Вода сочилась через ржавое днище и пахла болотом. Красное солнце в облачной юбочке садилось за полустанок.

Ещё через несколько недель мы сходили втроём на концерт гастролирующей группы «Наутилус Помпилиус». Вместо зажигалки я принёс толстую свечу, изготовленную некогда мамой в майонезной баночке. Она облакала стеарином и мою рубашку, и Дашино платье. Юра караулил наши места и сумки, пока мы с Дашей протискивались вперёд, в разнузданную гущу перед самой сценой, где было стрёмно и весело. Я жалел, что не могу поднять совсем не миниатюрную Дашу на плечи, как стоящие рядом мужики с цепями своих девчат. На обратном пути я предлагал: давайте выдумаем игру, что-нибудь вроде бесконечного спектакля для трёх человек с новыми и новыми сценариями. Юра возражал: получится самодеятельность,

и самого нездорового пошиба. Вдруг Даша простонала: «Солдатские Шапки», — и подбежала к группе военнослужащих, лузгающих семечки. Вылазка её окончилась ничем, менять казённое обмундирование на Дашины поцелуи ребята отказались. Кроме Солдатских Шапок, Даше была необходима ещё Еврейская Шапка — ради этого она хотела выйти замуж за еврея — а также и Настоящее Пончо, а не такое, в котором она щеголяла в лицее — поэтому её интересовали латиноамериканцы. Ещё спустя десяток дней мы сидели с Дашей на стадионе. Шёл матч кубка УЕФА. Юра пойти не смог, он готовился к серьёзному экзамену. Футболисты едва брезжили сквозь густой ноябрьский туман. Игра напоминала футбол только в некоторые фрагменты времени. Возможно, это было регби или водное поло. Дашина рука грелась у меня в кармане. Я так и не решился её обнять. Мне и так было хорошо, лучше некуда — несмотря на то, что наши вурдалаки проиграли и вылетели из кубка. Даше было холодно и скучно, она шмыгала носом. Ах, зачем же я пригласил её на футбол, и как же хорошо, что она всё-таки пришла.

Даша сидела в своей комнате, нежная, слабая, подавленная. В раздевалке ей упал на голову стэнд, и она получила сотрясение мозга. Она показала мне горсть таблеток. Врачи порекомендовали на время отложить учёбу, но ей не хотелось отставать от своего потока. Значит, надо было всё-таки готовиться к экзаменам, как бы это ни было трудно. Она попросила меня навещать почаще, ей нужна была поддержка друзей. Что-то щемящее и мешающее мерцало между нами. Я ушёл и не появлялся много недель, пропал из-за своих собственных экзаменов и олимпиад, и перегрузок с учёбой в лицее. Терпел тяжёлый рецидив любви к Кате. Из-за этого был измочален эмоционально и решил притормозить дружбу с Дашей. Неожиданно взял призовое место на престижном Турнире Городов по математике и обеспечил себе поступление

в универ без вступительных экзаменов. Математическая жажда сжигала меня, всё свободное время я проводил за решением трудных задач, готовясь к весенней республиканской олимпиаде — но в итоге второй раз подряд её завалил. Сразу после этого несчастья ко мне позвонила подзабытая Даша — у нее намечался день рождения. Голос был весел, как и раньше, значит, всё было в порядке, можно было не чувствовать себя слишком бессовестным.

На дне рождения было трое знакомых: Миша, Тимур и Оля, полненькая подружка Черниченко, с которой мы поделились в лагере. Миша был скромен, как никогда, и к тому же прекрасно, с иголочки, одет. Появилось и два новых персонажа. Один из них — лохматый Дашин друг времён детского сада и начальной школы, которого она много лет не видела, но на днях повстречала в институтской столовой. Вторым был намного интересней: темнокожий аристократ из экваториальной Африки, маленький ростом, с изящными манерами. Он был весел и умён, чрезвычайно доброжелателен, хорошо говорил по-русски. Учился здесь на инженера-гидравлика, каникулы проводил в кругу родных в Лондоне. Юра рассказал мне, по большому секрету, что его семья участвует в заговоре против президента-диктатора, и, если революция состоится, то глава семейства получит один из главных министерских постов. Африканец был даже слишком хорош, что ни фраза — тонкое наблюдение, что ни улыбка — золотой червонец без малейшей фальши. Казалось, окружающих людей он видит насквозь.

Хозяева и гости сновали вокруг него, как пчёлы вокруг цветущей липы. При виде Даши он начинал излучать какое-то божественное сияние, и она тоже не сидела буйкой, непрерывно болтала с ним — в основном, об особенностях мусульманского вероучения. Появилась гитара, новое увлечение всех Черниченко. Юра играл на ней сосредоточенно и уже умело. Даша с лохматым Лёшей по

очереди пели. Лёша выделялся, бравировал голосом, которого у него не было. Прошлись по песням из советских комедий. Я скучал и разглядывал свои белые носки. Широкоскулая Оленька сказала Даше что-то, судя по взгляду, именно об их вопиющем цвете. На столе рядом со мной стоял разрезанный лимон, и в течение часа я, долька за долькой, полностью его уплёл. Лёша бессвязно, но увлекательно рассказывал о том, как он жил в деревне и расчищал лопатой снег перед сельсоветом. Вероятно, это называется искромётным чувством юмора. Даша вспомнила летнюю историю о том, как они с Олей купались и заплыли на глубину. Оля стала тонуть. Даша схватила её за что придётся, то есть за купальник и волосы, и стала тянуть к берегу. Но Оля тонула очень смешно, барабаня по воде руками и пуская пузыри, Даша захохотала, и от хохота руки её разжались. Оля тонула пуще прежнего, совсем всерьёз, а Даша смеялась и не могла остановиться. Хорошо, что рядом оказался Лёша, он Олю тогда и спас. Лёша, в свою очередь, опять рассказал белиберду из сельской жизни, на этот раз о трудных отношениях с председателем. Он подарил Даше ту свою шляпу, в которой выступал на школьных концертах. Подарок, без сомнения, не чета моей паре книжек. Теперь, когда лимон окончился, я усердно подливал себе коньяк, игнорируя округлённые глаза Черниченко-мамы. Вечер продолжался играми. Что-то карточное — мафия, ведьмы, верю-не верю. Потом «голубая корова». Мы разделились на две команды, одна команда загадывала слово и сообщала игроку другой, а он пытался это слово показать жестами. Африканец от игры был освобождён, он просто с улыбкой смотрел на нас, милых детей. Юре загадали холодильник, проще и не придумаешь. Ночь — он показал её одним широким взмахом руки, и его команда угадала. Человек приходит и открывает какую-то дверь. Из-за двери — ещё один взмах — льётся свет. Холодильник, заорал Тимурзище. Лёша показывал ресторан, показывал из рук вон плохо. У него масса

идей, он торопился и изображал то одно, то другое, всё смазывал, путал свою команду и ещё злился, что его никто не может понять. Время вышло, вышла даже дополнительная, дарованная Дашей минута, и Лёша сел в лужу, так ничего и не сумев прояснить. Дашина очередь. Сельсовет. Она показывает лопочущих селянок. Очертив указательным пальцем платочек на голове, завязывает невидимый узел на подбородке. (Ах, долго я буду вспоминать этот жест. Всё уходит, и остаётся главное: мелочи, неразменная дребедень.) Начинается другая игра: один из игроков — Лёша — уходит на кухню, а все остальные придумывают, кого из присутствующих ему загадать. Лёша должен будет по очереди задать каждому вопрос о загаданной персоне, и по ответам выяснять, кто же был загадан. Даша предлагает его надуть и сбить с толку: пусть каждый опишет своего соседа справа. Входит Лёша, хрустя найденным на кухне шоколадом. Демократ ли он — или она? Думаю, да. Любит ли он или она Маркеса? Да. Любит ли сладкое? Да. Верит ли в Бога? Нет. В конце концов, Лёша под дружный хохот называет Дашу. Хотя его выбор очевиден заранее, интересно наблюдать, как он шаг за шагом к нему приходит. После игры африканский аристократ уходит, пожав руки всем присутствующим парням и поцеловав Дашу в щёку — для этого ему приходится встать на цыпочки. Мне и Тимуру тоже пора уходить. В прихожей Даша начинает путано объяснять мне что-то насчёт себя и Лёши. Ой, не надо, говорю я, для меня это всё не важно. Мы с Тимуром идём домой пешком, трамваи уже не ходят. Моё чувство к Даше — неудобное, с острой режущей кромкой. Тимур рядом цокает: Даша — звезда. Я выпрашиваю у него одну «Кэмелину». Он учит меня затягиваться. Необычное ощущение — вспоминая учебник — в трахее сгорают защитные реснички.

Память прилипает к чему-то вязкому, как никотиновые смолы, и никак не может отлипнуть. Спустя какое-то

время — но какое? — я опять прихожу к Даше. Нет, это не Лёша, я неправильно понял. Она встречается с темнокожим князем и, кажется, его любит. Я пытаюсь её поцеловать, несмело, получаю дурака и укус в предплечье. Выхожу из её комнаты, красный, как варёный рак. В гостиной остальные Черниченко смотрят футбол. Все болеют за «Днепр», а я, им назло, за киевское «Динамо». Даша в своей комнате — громче некуда — включает сербский рок. Потом туда заходит её отец, и она устраивает ему разнос: как он смел вчера пойти на охоту? Как он мог застрелить косулю — ни в чём не повинное животное? И не для того, чтобы съесть — а просто так, забавы ради? «Днепр» с трудом побеждает, сомнительная и запоздалая победа, турнир ему уже не выиграть, а шансы «Динамо» после этого проигрыша никак не уменьшаются.

На выпускном экзамене наша классная, учительница украинского, показывает нам знаки препинания мимикой: протягивает глазами слева направо — тире, переводит взгляд с потолка на пол — двоеточие, покачивает отрицательно головой — запятая. Потом обе украинши мудрят в учительской, подчищают наши с Бритвиным катастрофические диктанты: надо олимпиадникам и будущим учёным натянуть хотя бы четвёрки. Ох, дорогие академики, хозяйева грамматики, эти ваши правила по поводу тире и двоеточий — тупая и не кому не нужная лажа! Благословенны будьте, Зоя Васильевна и незабвенная, покойная уже, Мария Николаевна! Благословен будь, Лицей информационных технологий, зашвырнувший меня на седьмое математическое небо, где я не знал, чем и зачем мне заниматься. После успешных и немного поддельных экзаменов (благословенны будьте, чинуши из министерства, придумавшие тестовую систему), директор вызвал нас с Димой к себе и уламывал поступать на свой родной мехмат — а мы и так хотели стать математиками. Мы переглядывались, посмеивались и под конец пообещали ему серьёзно подумать. Бесы крутились вокруг нас, скользкие и задорные бесы свободы.

Дима, я, Маха и ещё одна одноклассница — припылённая хорошистка Воробьёва — крутимся на парковых каруселях; я распеваю во всё горло, ни с того ни с сего, революционные песни. Бритвин доволен, как слон — всё закончилось хорошо, хотя его едва допустили к экзаменам, чуть вовсе не выперли из лица после удачного плевка сквозь лестничный пролёт на плешь завучу. В кустах рядом с каруселью целуются такие же, как и мы, выпускники, тощий паренёк и пышная кудрявая девочка. Я сворачиваю из тетрадного листа самолётик, запускаю, и, сделав несколько пируэтов, он опускается на плечи влюблённых. Ох, Андрей, я не знала, что ты такой, говорит Воробьёва. Не буду уточнять, какой именно. И я тоже много чего не знал. Например, что Маха буквально ходит по рукам, с кем только не встречается в последние месяцы. Но говорит, что никак не может забыть своего первого парня. Тусит на Карабахе, — это такое место рядом с Домом технической книги, где собираются любители группы «Алиса», восточной философии, медитаций и лёгких наркотиков. Даше, нищешанке и любительнице живой жизни, там бы обязательно понравилось.

Почти все выпускники, включая и Диму, пришли на выпускной в костюмах. Мне было жаль выбрасывать деньги на ерунду, и я был одет, как обычно: в джинсы и свитер. Не люблю праздников. Что может значить та или иная дата? Скажите мне, математику, чем одна цифра отличается от других? При подготовке выпускного всюю отжигала Катина бабушка, Антонина Ивановна. (Вы ещё помните Катю? А я уже забыл.) Она выдала маме денег из общей кассы на красную рыбу. Мама купила, вычистила, приморозила в холодильнике. Антонина Ивановна потребовала, кроме чека, ещё и головы с требухой — для отчётности. Желала всё-всё перевзвесить, боялась, что мама десять купонов украдёт. Тем не менее, стараниями Антонины Ивановны выпускная пирушка приобрела чрезмер-

ный, несколько раблезианский размах. С самого её начала мы втроем — Дима, Маха и я — стали топить в вине наши беды. Маха выясняла, не из-за неё ли у меня так херово на душе. Нет, Маха, совсем не из-за тебя. Дима подливал нам вино, когда оно заканчивалось. Мы пропустили всё: выступление директора, хор девушек, перевравших «Школьные годы», красноносого завуча, благословившего нашу взрослую жизнь, пьяный дискарь, на котором просочившиеся сквозь кордоны ПТУшники чуть не устроили поножовщину. К нам подошёл академик Кабанов и предупредил: поаккуратней, дети, алкоголизм — профессиональная болезнь математиков. Да, мы уже знаем и будем аккуратней, нет вопросов. Маха спала, положив голову на край стола. Бритвин разглядывал Катю, обнявшуюся со Шмелёвым. Вздох: и всё-таки — какие у неё дойки, у твоей бывшей. Ну её на хер, Дима. В аудитории было свирепо накурено. Нам хотелось выбраться наружу, но лицей был заперт до утра: дирекция перестраховывалась. И менты тоже, в выпускную ночь их было полным-полно на улицах, двое из них торчали у лицейских ворот. Свежий воздух был необходим. Мы боялись, что заблужём вестибюль. Поднялись на верхний этаж, там никого не было и пахло недавней окраской, но хотя бы не табаком. За одним из окон виднелась пожарная лестница. Дима схватился за ручку, и вдруг окно упало на нас, мы едва успели его подхватить. После халтурного ремонта оно держалось в раме на одной краске. Мы вылезли на пожарную лестницу. Глубоко внизу раскачивалась на шнуре лампочка, поливая серебром край спортплощадки. Над крышами прорезался неровный зуб солнца. Мы надышались властью, и, с пьяных глаз, вставили оконную раму на место. Спустились вниз и разговаривали о чём-то с милейшими Зоей Васильевной и Марией Николаевной, когда по зданию разлетелся звонкий грохот. Бесстрашные наши украинши вспомнили о ПТУшниках и рванули наверх. Потом мимо нас

пробежали директор с бутылкой и завуч со штопором. Начался переполох. Когда он закончился, двери лица открыли, и все ушли отсыпаться.

Никаких вступительных хлопот не было, но летом я отдыха себе не давал: штудировал взятые в университетской библиотеке тома по функциональному анализу и носился в сам жар по аллеям в старинных дядиных кедах. Кто-то из бычьа, тянувшего пиво на скамейках вдоль парковой дорожки, швырнул мне бутылку под ноги. Осколки чудом пролетели мимо, я даже не повернул головы. Даша и её африканец умотали в Карпаты. Каждый день я приписывал несколько страниц к длинному письму, адресованному ей, полному нежности и ненависти. Любовь саднила. Сон оставил меня, и больше не возвращался. Маме и бабушке я постоянно хамил. Принимая душ, громко читал наизусть стихи; они подслушивали под дверь, и думали, что я разговариваю сам с собой.

Я, Дима и Миша Саянов попали в одну мехматовскую группу. Миша был старостой, ходил с журналом и ежедневно делал в нём пометки чернильной ручкой с золотым пёрышком. Замстаростой у него какое-то время была кропотливая, необычайно милая еврейка Аля Ковальская. У Миши завязался с ней до непристойности целомудренный роман. Он сетовал, что из-за Алиного упорства пропадала, исчерпывая срок хранения, непочатая пачка презервативов. На перерывах Аля вежливо удивлялась, как это мы с Димой можем трескать бутерброды с некошерным салом. К исходу осени она укатила по иудейской линии на стажировку в Израиль и была такова. Заместительницей старосты стала лихая украинская девушка Ира Терещенко из села Петриковка. Она была старше и опытней всех нас. Несколько лет проработала художницей на фабрике народных промыслов, разрисовывала ягодами калины, цветами и птицами деревянные блюда. Теперь желала выучиться на учительницу, посту-

пала в педагогический институт, но не прошла. Конкурс на мехмат был меньше. Лицо у Иры было тяжелое, рельефное, но его смягчали густые каштановые волосы с медным отливом. Почти все остальные девочки в группе были тоже из сёл и жили на своей, дремотной волне, оживляясь только во время сессий. Тогда они носились по корпусам за преподами, пытаясь сдать хвосты и получить допуск к экзаменам, писали, склеивали, складывали в гармошки длиннейшие шпаргалки. Математика — девичья специальность, и молодые люди сюда, за редким исключением, идут с дальним прицелом на научную работу. В нашем случае таким исключением был ещё один наш однокашник Лев Мащенко, которого на занятиях мы почти что и не видели. Он пропал в спортзале, играл за баскетбольную сборную универа. На первой же сессии вылетел, через год восстановился, потом опять вылетел и опять восстановился. У Лёвы был щедрый папа, который согласен был оплачивать его учебные неудачи.

Мои собственные успехи уже в первом полугодии оказались плачевны. Я ни на чём больше не мог сосредоточиться, кроме постоянной тоски. Мысли расплывались, как вялые тараканы, или склеивались в жидкую кашу. Дала себя знать чрезмерная нагрузка последних лет. И не было никакой возможности отдохнуть, надо было нагонять учебный план. Мудрёная дама, которая вела у нас практику по дифурам, задала нам к первой сессии неимоверное количество уравнений. Все, как водится, взяли тетради предыдущего курса и перекатали оттуда всё, буква в букву, но я так не мог, олимпиадное достоинство не позволяло. Я долбил эти дифуры всё свободное время, все выходные, погружаясь всё больше в сумеречное, отсутствующее состояние. Хотелось покончить с собой, но тоже как-то вяло. Я стал бояться дорог, потому что, когда переходил их, не контролировал процесс движения, не чувст-

вовал, какая машина куда едет. Иногда я просто закрывал глаза и шёл наобум с ощущением острого блаженства и судорожной ненависти к бытию.

У Даши я всё больше попадал в немилость из-за неадекватного поведения. Строчил всё новые письма, в которых то умолял переспать со мной, то признавался в желании её задушить. В Дашином присутствии робел, говорил то с рафинированной нежностью, то с бесшабашной нахальностью обо всём, кроме главного для меня. На совместных празднествах забивался в угол и позволял Дашиным друзьям меня вышучивать. Гостем я становился всё более нежеланным и незванным. Даша разговаривала со мной сквозь зубы. Кроме писем, я регулярно вручал ей листки со стихами, которые нумеровал в обратном порядке, по нисходящей, отсчитывая время до того дня, когда был намерен полностью прервать отношения с Черниченко. Потом эта дата сдвигалась, к неудовольствию Даши. Юра пытался меня увещевать, вежливо и туманно, всякий раз путаясь в своих рассуждениях. Я в ответ порционно выдавал ему вялые апокалиптические пророчества. Всё катилось к чертям. Мама начала таскать меня по врачам, они пичкали меня лекарствами, от которых мой разум становился всё более случайным. На занятиях я не всегда осознавал, где нахожусь, но ощущал, что математика стала мне неприятна. Её огромные безлюдные пространства угнетали меня почище медицинских снадобий. Один из врачей выдумал лечить меня электрошоком. В памяти замерцали оплавленные дыры. Очень хотелось, чтобы Даша попала в одну из них, но она скользила между зияниями с ловкостью гимнастки, теряя иногда то жест, то одну из насмешливых ухмылок.

Приехал дядя Василий и разъяснил главный источник проблемы. Оказывается, необходимо было носить нательный крест и молиться. Дядя и мама совместно надавили на меня, заставили исповедоваться и причаститься.

Мне и это было всё равно. После причастия мы с дядей полдня кидали дротики в картонную мишень, истыкав остриями ковёр, на котором та висела. Дядя проиграл, хотя и очень старался. К вечеру он уехал, оставив в качестве подарка распечатку своей огромной книги, так нигде потом и не изданной. Суть её сводилась к тому, что бывает материя тонкая, отрицательная, и материя уплотнённая, положительная. Материя положительная греховна вся полностью, а отрицательная — только отчасти, в силу предумышленных искажений. Самым большим грехом объявлялась сила тяжести. Из-за неё утонула Атлантида и образовался Бермудский треугольник. Атлантиду создали Зевс и Гермес, потому что не любили истинного Бога. Самая благодатная материя — одновременно и самая отрицательная, а Бог — не что иное, как минус бесконечность. Только Бог умеет чинить искажённую тонкую материю, замещая её дефектные фрагменты. Российской тонкой материи особенно навредило убийство царской семьи. Но и украинской оно навредило тоже. Антихрист уже идёт в Москву, однако не спешит, у него много дел в Киевской области. Я был сильно разочарован в нашем семейном светоче, бывшем специалисте по композитным сплавам.

Но когда мне стало совсем невмочь, на сцену вышла профессор-психиатр Лисица и сказала, благородно потрянув сединой: коллеги, хватит пороть чепуху, у парня простой невроз, а не эпилепсия, и всё, что ему нужно — лежать с месяц в больнице, как следует отдохнуть, попить бром и снотворное. И были свет и тьма, и веерные отключения электричества в нищее время моей страны. И были длинные дни в заметённом снегом отделении неврозов. И были интересные соседи по палате. Один, лёгкий, скукоженный, с пёстрым замотанным в узел голосом, дни напролёт вырезал и расписывал красивые деревянные рамки для икон. Другой, двухметровый бравый заика, постоянно пилил немолодую даму из соседней палаты, пока та

не стащила в сестринской снотворное и не наглоталась им от души — я много раз встречал их потом вместе, зайку и нервную даму, ибо это было началом настоящей дружбы. И были вездесущие медсёстры, чувственные, пустотелые. Одна из них, пухленькая, свежезамужняя, мне очень нравилась. Я ежедневно следовал за нею к платформе, где она ждала электричку (понятие «сталкинг» в наших краях ещё не существовало). Другая, с накладными ресницами чудовищной длины, зазвала меня в полуподвал, где была лаборатория, и, вытянув на кресле стрункой длинные ноги, рассказывала о том, как ей называют брошенные любовники. Я подарил ей мандарин. Бром и зелёные таблетки не помогали, в голове по-прежнему находилась вязкая каша. Каждый вечер я читал молитвы, из стеснительности запираясь для этого в холодной душевой. Я ждал, не навестит ли меня Даша, но ко мне приходила только мама с мандаринами и яблоками. За время моей болезни она сбросила больше десяти килограмм веса, одновременно помолодела и подурнела.

Месячное заточение в отделении невротиков закончилось, и непонятно было, что же делать дальше. Идти на сессию я не мог. Я вообще не смог бы ничего выучить. Профессор Лисица помогла с оформлением академического отпуска. Жизнь провалилась в глухую паузу, и остатки зимы я прохворал. В комнате перестали топить, и мы с мамой спали в верхней одежде; я никак не мог выбраться из соплей и кашля.

Настал март, время укреплённой тоски, время блужданий. Я сидел с лёгким чтением, каким-нибудь Толкином, в кресле со спинкой, где не хватало нескольких прутьев. Сидеть приходилось бочком, чтобы не выпасть в образовавшееся отверстие. Читал не более получаса, чтобы не перегреться. Снежные облака пухли в заоконном небе, словно чудовищные губы. Яркие краски скрадывались естественной тонировкой оконной грязи. Был в этом

особый шарм, как в мутных советских фильмах, снятых на шосткинской плёнке. Время от времени за окном возникало движение: пересекала реку моторная лодка с укутанной в прорезиненный плащ фигурой, проходила по набережной мамаша с бултыхающим ногами ребёнком в открытой коляске, или пробегала, мелькая среди тополей, весёлая парочка — толстый мальчик в обвисшем на коленях спортивном костюме, девочка в полосатой куртке и круглой шапочке ручной вязки. Закончив читать, я одевался, укладывал в сумку плоский термос с гречневой кашей и выходил во двор. Тут же проявлялись одиночные снежинки, съеденные до этого оконной мутью. Усевшись мне на рукав, они колебались, растаять ли им сразу или побыть ещё в скупом на развлечения мартовском дне. И всё-таки таяли под моим дыханием, пока я рассеянно изучал их строение. Выбравшись к набережной, я шагал по ней до парковой зоны мимо стоящих группками голубых ёлок, похожих на лохматые веники. На Фестивальном причале двое обрюзгших ментов курили рядом с машиной скорой помощи. Рядом, на тротуарной плитке, лежал третий их коллега, мёртвый. Наружу из-под клеёнки выглядывали только характерные сапоги. После причала я пересекал автотрассу и поднимался на парковый холм, напрямик по грязному склону, минуя серпантин дорожек. Спускался с него вдоль канатной дороги на другую набережную, уже за излучиной. Здесь река не была упакована в гранит, мелькали островки и камышовые заросли, раскрывались, как нотные тетради, пустынные песчаные пляжи. Ветер гонял клочья газет и ворочал пластиковые бутылки. Я ненадолго останавливался, слушая, как булькает вода между подмытыми корнями ив, глядя, как плывёт по речному рукаву водяная крыса. Ко мне подходил подросток-кот, и я угощал его варёной гречкой. Кот недовольно фыркал и уходил восвояси. Крыса тем временем пропадала из поля зрения, и я шёл в ту сторону, куда она

плыла, полагая, что могу её нагнать. Меня поглощала топольная рощица, тропинка петляла, то перепрыгивая через канализационный сток, то огибая пустые ресторанные площадки. У теннисных кортов меня окликал охранник. Не желая вступать с ним в разговоры, я переходил на рысь, а потом на бег. Охранник пытался за мной целую сотню метров и отставал, выкрикивая фразы о психе. Да, и справка имеется, говорил я. Бег вообще стал основным средством для решения вопросов с мудаками, которые стали цепляться ко мне с тех пор, как я отрастил длинные волосы. На коротких дистанциях я бегал по-прежнему прекрасно. Свернув с набережной перед автомойкой, я пересекал тонкий пласт панельных громадин, затем широкий одноэтажный слой и поднимался по продавленным деревянным ступенькам к полотну железной дороги. Справа, не слишком близко, чернела пепельница Южного вокзала. Слева грузовик, перемахнув через виадук, притормаживал на завитке дороги, похожем на ушную раковину. Вокруг самой высокой из панельных башен наливался нимб от спрятанного солнца. За микрорайоном Сокол, упираясь в холмистый горизонт, дымилась шахматная доска островов, заливов и гребных каналов. Я долго шёл вдоль однопутейки, пока не выходил к Туннельной балке, окружённой с двух сторон жилыми массивами, с третьей — гаражным кооперативом, с четвёртой — грибной россыпью частных домиков.

По дну балки петлял ручей, который мог в любую минуту надуться и зареветь на перекатах, если в одном из жилых массивов прибавлялись канализационные стоки. Я находил сухое бревно и, расстелив на нём полиэтиленовую подстилку, устраивался с книгой. Дозированное чтение было одним из основных способов борьбы с депрессией, хотя и оно не всегда помогало. Вскоре я начинал клевать носом, снова поднимался на ноги и подходил к ручью. Долго рассматривал мелкие водовороты, блестящие камни, пивные крышки на дне. Поднимался по плавному

склону, и снова, в последний раз за день, видел зазубренное лезвие реки под развесистой, в полнеба, тучей. Переходил через шоссе и спускался в ещё одну балку, туда, где рельсы выныривали из-под скалистого обрыва и бежали прочь от последних гаражей. Начинаясь другая территория, мертвенная, промышленная. Над рельсами то и дело висели заскорузлые фабричные корпуса, перекрещенные ржавыми полосами. Подбегали, удалялись безвидные улицы, содержавшие взвинченных собак и металлические конусы неизвестного назначения.

Пространство размежёвывали сплетения укутанных в теплоизоляцию труб. Заброшенный и ободраный экскаватор, один только скелет экскаватора посреди длинной рощи разветвляющихся бетонных столбов. Начинаясь железнодорожная станция с нескончаемыми слоениями путей и вереницами взнузданных товарных вагонов.

Я сворачивал и выходил по каменистой тропинке на конечную остановку трамвая, где внутри трамвайного кольца стоял готовый ко всему мраморный пионер. Сопровождаемый его взглядом, я поднимался на пешеходный мост по деревянным ступенькам, мечтавшим развалиться и рухнуть на крышу заводского склада. Сплетающиеся дымы занимали полмира. Из-за станции выпирала церковь, похожая на колодезную бадью. Мост шёл над промышленным озером, на берегах ветер шевелил зацепившуюся за кусты магнитофонную плёнку. Одиночный прохожий, шагавший вдоль ряда исполинских цистерн, внезапно исчезал. (Мираж? Раскрытый люк? Портал?) Показывался пассажирский вагон без колёс, в котором, судя по занавескам и кучным гераням в окнах, жили люди. На ступеньках у входа седой дядька с асимметричной мордой созрел для того, чтобы забить косяк. Далее начинался овраг, вниз вели грязные тропы, где легче лёгкого было поскользнуться и прокатиться по склону. Я избирал альтернативный метод — бугристую газовую трубу над заросшей зеленью ямой. Под ногами плясали буквы: О, П, А, С, Н, О. Огнеопасно,

если прочесть полностью, так что бояться не надо. Ах, пропади всё пропадом, такая удобная труба, а мне всё равно страшно. Я возвращался. Героизм — это точно не моё. Приходилось идти в обход, овраг расползлся и превращался в очередную огромную балку. Наконец-то я мог спуститься на самое дно по каменистой грунтовой дороге. Внизу была своя жизнь, ходили по жидкой грязи люди в замасленных комбинезонах, клочкотал и дёргал конечностями кирпичный заводик. Становилось ясно, откуда распространялась вонь: неподалёку труба мусоросжигателя толчками выбрасывала серо-фиолетовый дым. Раздавался невнятный лязг, то поближе, то в отдалении. Через одно из окон двухэтажного административного здания было видно, как плотный мужчина с проседью стягивал блузку с молодой, коротко постриженной девушки. Я какое-то время наблюдал за ними из-за сложенных штабелями бетонных цилиндров, но они только скучно целовались. Через сотню метров промышленная зона неожиданно заканчивалась, и вместе с ней исчезали оформленные дороги и тропинки. Я шагал наобум по серым склонам с непонятными ямами наподобие глубоких могил. Вечернее солнце набухало над полями. Тучная огородница, не по сезону в трусах и майке, перебирала садовый инвентарь. Мою тропинку перегораживал недобрый бычок. Приходилось сделать крюк и обойти его подальше. Гуси, гуси, большое стадо гусей, шипящих, раскрывающих с угрозой крылья. Большие и очень качественные футбольные ворота. Две девицы на стволе упавшей ивы — с початыми бутылками ром-колы и выставленными напоказ голыми животами. Ручей, заполненный пластиковыми упаковками, камышами, шинами. Над ним — дача Черниченко, шутовской замок. Внутри, по обыкновению, никого нет, подъездная дорога заросла чертополохом. В дверную щель воткнуты неоплаченные счета за воду и электричество. Это конечная точка маршрута, отсюда я поворачиваю обратно.

Борис МАРКОВСКИЙ

(*Бремен*)

УРАВНЕНИЕ ДИРАКА

I

Себастьян проснулся, как всегда, рано. Только-только начинало светать. Заварил чай и подошел к окну.

По ту сторону окна хозяйничал дождь. Он цеплялся за последние, еще не опавшие, листья, ударялся об асфальт, разбивался вдрызг о крыши домов.

Страшно хотелось есть, однако в холодильнике было пусто. Правда, на нижней полке завалилось куриное яйцо, но не делать же яичницу из одного яйца, подумал Себастьян и неожиданно для себя вспомнил четверостишие, сочиненное им год назад в день рождения Эммы, пышногрудой соседки из квартиры напротив:

Я до сих пор в кругу ровесниц
среди множества прекрасных лиц
встречаю *«пожилых прелестниц»*¹,
охотниц до крутых яиц.

Эмма работала парикмахером, писала эротические рассказы и, несмотря на почтенный возраст, все еще думала о женихах.

II

Лиля ушла в четверг. Аккуратно сложила вещи, взяла несколько книг («Сонаты» Рамон дель Валье-Инклана,

¹ Гораций, «Эподы».

«Женский портрет», что-то еще, в том числе «Историю рассказчика» Шервуда Андерсона) и уехала на дачу к матери.

«Надеюсь, больше не увидимся», — уже из-за дверей услышал он.

Она жила в придуманном мире. Иногда ему казалось, что она сумасшедшая. Впрочем, все мы сумасшедшие, подумал Себастьян. И все боимся в этом признаться. Самим себе, не говоря уже о других.

Он раскрыл томик Акутагавы и прочел наугад:

Сумасшедшие были одеты в одинаковые халаты мышиного цвета. Большая комната из-за этого казалась еще мрачнее. Одна сумасшедшая усердно играла на фисгармонии гимны. Другая посередине комнаты танцевала или, скорее, прыгала. Он стоял рядом с румяным врачом и смотрел на эту картину. Его мать десять лет назад ничуть не отличалась от них. Ничуть... В самом деле, их запах напомнил ему запах матери...¹

Дождь утих. Себастьян подошел к письменному столу и написал на листке:

Мать родилась в Кременчуге, воспитывалась в детском доме, пережила блокаду, была на фронте.

Когда умирала, он вдруг увидел, как по ее левой щеке скатилась слеза. «Как ты себя чувствуешь?» — все-таки спросил он. «Я умираю», — ответила она.

III

Он вспомнил Валенсию, куда они прилетели вместе с отцом. Там, в Кафедральном соборе, он впервые увидел

¹ *Рюноске Акутагава, «Жизнь идиота».*

картину Эль Греко «Святой Себастьян». Двухметровый холст поразил его воображение. Нечеловеческой мощью веяло от фигуры святого.

Себастьян, как будто всё это произошло только вчера, отчетливо услышал отцовский голос:

— Фамилию Теотокопулос было невозможно выговорить. Отсюда прозвище: Эль Греко. К двадцати двум годам он уже имел статус мастера. В 1577 году переехал в Мадрид, потом — в Толедо, где умер в возрасте семидесяти трех лет...

А еще, к своему огромному удивлению, Себастьян узнал от отца о том, что Эль Греко отзывался о Микеланджело не иначе как о человеке, совершенно не умевшем рисовать.

IV

Они прожили с Лилей восемь лет. Себастьян любил переименовывать ее имя на разные лады, говорил: Лили, с ударением на последнем слоге. Ей это совсем не нравилось.

Поначалу она была влюблена в него, но очень скоро любовь прошла. К тому же она была почти на пятнадцать лет младше Себастьяна.

Еще до свадьбы она придумала ему прозвище: Стёба. Позже, увидев на журнальном столике роскошно изданный альбом, стала называть именем великого художника:

— Эль Греко, пошли домой!

Или:

— Эль Греко, у меня совсем нет денег.

Когда он будил ее среди ночи, требуя ласк, сквозь сон шептала:

— Стёба, уймись! Мне завтра рано вставать.

Он до сих пор не знал, как ему быть: плакать или смеяться оттого, что жена ушла. Слез не было, а улыбался он все реже и реже. В последний раз это случилось, когда он наткнулся в Сети на афоризмы ныне покойного премьер-министра. Фраза «Секс — это тоже форма движения» повергла его в шок. Вот у кого нужно учиться писать прозу, подумал он.

V

Его манили к себе мелькающие цифры и белый шарик, подпрыгивающий навстречу крутящемуся колесу.

Несмотря на то, что Себастьян уже много лет играл в рулетку, он до сих пор не мог понять, как устроено казино, нет ли во всем этом какого-то подвоха.

Он не любил проигрывать. Однажды в Берлине он двенадцать раз поставил на красное и ни разу не выиграл. Больше он в Берлине не играл.

Себастьян не раз замечал: когда его, как огромная морская волна, накрывала полоса везения и он начинал слишком часто угадывать цифры и сложные комбинации, происходила замена крупье, и везение заканчивалось. Со всем, как в жизни, успокаивал он себя.

Как сказал Верницкий, подслеповатый седой старик, много лет проработавший крупье, выиграть в казино можно только *поймав кураж*. В этом состоянии измененного сознания появляется уверенность в абсолютной правоте принимаемых решений. Но длится это недолго.

VI

Страсть к сочинительству порочна уже по самой своей сути, подумал Себастьян и тут же, не отходя от компьютера, подкрепил сомнительный тезис наспех написанным четверостишием, посвященным тщете и бренности человеческого бытия:

Не плоды ненужных сущностей,
не ходи вокруг да около,
все мы неживые, в сущности,
всех настигнет бритва Оккама.

Затем набил в поисковике «бритва Оккама» и углубился в чтение:

Если что-то можно сделать разными способами, лучше сделать проще.

Поэтому не умножайте сущности без нужды. Всё, что можно зарезать бритвой Оккама без ущерба для дела, должно быть зарезано. На то и бритва. Проектируя что-либо, по возможности лучше минимизировать число элементов. Будь то здание, транспортное средство, оружие (или рассказ, подумал Себастьян).

Одно из преимуществ простоты: так надежнее. Бойся лишних элементов.

Самая надежная деталь в механизме — та, которой в нем нет.

VII

— Мне нужны деньги.

— Возьми у мамы.

— Она *столько* не даст.

— А зачем тебе *столько*?

— Хочу шубу.

— Ты не забыла, что мы с тобой в разводе, и что ты поклялась больше никогда не брать у меня денег?

— Сколько можно об этом говорить? Ты все время говоришь о деньгах. Ты можешь говорить о чем-нибудь другом? О поэзии, например? Или о театре?

— Это не я, а ты все время говоришь о деньгах! Это тебе нужны деньги.

— Да, мне нужны деньги! На шубу!

На этом разговор прервался. Бросила трубку, подумал Себастьян.

Он вспомнил трагические строки из «Триумфальной арки» Ремарка, книги, которую любил и часто перечитывал:

«Ни один человек не может стать более чужим, чем тот, кого ты в прошлом любил. Рвется таинственная нить, связывавшая его с твоим воображением. Между ним и тобой еще проносятся зарницы, еще что-то мерцает, словно угасающие, призрачные звезды. Но это мертвый свет. Он возбуждает, но уже не воспламеняет — невидимый ток чувств прервался».

И еще он вспомнил, как много лет назад (в той, другой, теперь уже навсегда утерянной жизни) поэт и начинающий драматург Марат Калибеков говорил ему, разливая по стаканам дешевый портвейн: «Старик, послушай. Не читай Хемингуэя! Не читай! Это плохой писатель. Я тебе больше скажу: он вообще не писатель!». И, допив очередной стакан, добавлял не терпящим возражений тоном: «Хемингуэй — это Ремарк для плебеев», — после чего отодвигал стул, преграждавший дорогу к выходу, и с победным видом исчезал в неизвестном направлении в поисках ключа от туалета.

VIII

Уравнение, за которое Дирак получил Нобелевскую премию, описывает феномен квантовой запутанности, суть которого сводится к следующему: если две системы взаимодействуют друг с другом в течение определенного

периода времени, а затем отделяются друг от друга, их можно описать как две разные системы, но они уже существуют как иная уникальная система.

Это квантовая запутанность, или квантовая связь.

Две частицы, которые в какой-то момент были связаны, связаны навсегда. Несмотря на расстояние между ними, даже если они находятся на противоположных концах Вселенной.

То же самое происходит с людьми.

IX

В теории вероятности есть понятие несвязанных событий. Это означает, что исход одного события никак не влияет на исход другого. Если вы бросаете два кубика, выпавшие числа не связаны между собой: один кубик не влияет на поведение второго. Если же вы тянете из колоды две карты, то эти события взаимосвязаны, поскольку от первой карты зависит то, какие карты останутся в колоде.

Людмила ЗАГОРУЙКО

(Широкий Луг)

ГИАЦИНТЫ И САРАБАНДА

(Из переписки в мессенджерах)

Она:

— Ты слышишь, я на границе. Адрес. Забыл адрес сообщить. Блин, куда еду? Бухарест большой. Могут спросить, к кому и зачем. Внятный ответ существует частично.

(Послание вдогонку первому)

— Пожалуйста, напиши, отзовись, телепортируй мыслью, намекни. С минуты на минуту другая страна, у меня связи нет. Роуминг дурацкий какой-то купила, все пока глухо.

Он:

— Я весь теперь твой. Освободился, звоню. Где встречать? Куда приезжаешь?

Она:

— Как куда? Написала. Локацию скинула. Автовокзал Филарет. 9.30 утра. С тобой все в порядке? Понятно объясняю?

(Торопливое послание вдогонку)

— Адрес, пожалуйста. Таможню прошли. Все, на румынской стороне. Связь обрывается.

Он:

— Matei Basarab, 55–57.

Она:

— Спасибо, дружок. Надеюсь, встретишь меня. Не прости. С нетерпением жду.

Автобус Черновцы-Бухарест каким-то волшебным образом без препятствий и проволочек преодолел кордон между двумя государствами и, как следствие, прибыл на автовокзал *Filaret* на два с половиной часа раньше объявленного времени, что меня в сложившейся ситуации сильно опечалило. Два с половиной часа слоняться в чужих потемках — не очень заманчивая перспектива. 9.30. Тогда пробьет мой час. Во всяком случае, так словесно договорились в мессенджере. Все решилось бы просто, если б ожил роуминг. Оплаченный и переплаченный залег, как медведь в берлоге. Wi-Fi нет поблизости. Автовокзал — сквозная дыра, бывшая ж/д станция с маленьким, продуваемом ветрами помещением внутри. Крутой минимализм. Сиротки стульчики, соединенные арестантской цепью по периметру безнадежно серых стен. Подвальный холод, окошко кассы. Такие помещения сложно назвать залом ожидания. Разве что временное прибежище для бездомных людей и перспективных самоубийц. Такси здесь принято, как, собственно, и везде, призывать через приложение, но у меня безнадежно глухо. У меня ничего не работает. Приятно, что хоть светится экран телефона и уровень зарядки достойный. Обменника поблизости нет. Где я и где Matei Basarab, 55–57, тоже непонятно. Человек без телефона — беспомощная тень, потерявшая хозяина. Еще сильно мешает накатившая волной паническая атака. Просто страшно. Невозможно страшно. Неопределенно, зыбко, непонятно. Пока темно, успеть присесть за микроавтобусы и от души пописать. Очень удобно расположились. Мордами вперед, задами упираются в глухую стену. С дороги точно не видно. Да, женщины пожизненно обречены справлять нужду сидя. Сплошные неудобства. Особенно зимой. Что поделаешь, обстоятельства провоцируют экстрим. Запас

на будущее. Как говорится, один пишем, два в уме. Несколько часов без туалета можно продержаться. Что человеку нужно для счастья: удачно и вовремя пописать.

Предлагали услуги какие-то левые таксисты, но увы. Румынских лей с собой тоже нет. Чем рассчитываться буду? И куда завезут подозрительные чернявые, как летние жуки, частники? Нет, лучше наверняка. Буду ждать. Ведь приедет, обязательно. На такси туда и назад. Сам говорил, здесь дешево. Или пешком, если недалеко. А как далеко? Карты Google, где вы? А-у. Смешно, если рядом совсем. Вон какой-то высокий в очках. Он, наконец-то. «Саша. Саша!». Длинно вытянутый мужчина шахрается в сторону крика и даже машет в ответ рукой, но это не тот мужчина. Совсем посторонний, приятно сочувствующий. И на том спасибо.

Стою перед входом на вокзал, застыла. Распласталась. Прекрасная кариатида. Здание унылое подпираю. Не там стою, не то подпираю, и не прекрасная. Вдребезги замученная. Чтобы что? Сейчас явится ясным солнышком, а я вот она вся. На виду. Должен заметить. Ступеньки, пьедестал, дверь — зияю пробоиной.

Светает. Отряд ромов с метелками в разноцветную синтетическую лапшу на концах палок-копьев принялся добросовестно обметать со всех сторон. Плохая примета. И немного пыльно. Отойду в сторонку. Нехорошо. Не увижу, пропущу, разминемся. Нашла точку с отвратительным кофе. Глоток горячей жидкости обнадежил. Оперлась на подоконник, водрузила рядом рюкзачное знамя, порылась, отыскала книжку. Продолжаю из последних сил нести пост, назло обстоятельствам читаю. Смысл не проникает, вместо текста — каша. Глотаю безвкусно буквы и слова. Его нет. Отсутствует в пейзаже. Может, напрасно верю и надеюсь. Тогда как выкрутиться? Добросовестная, почти родная дворничиха принялась застегивать мне замок на рюкзаке за спиной, лепеча что-то по-

румьински. Как я тебя понимаю. Тут бы поспать самый разгар. Утро раннее. Вставать и регулярно ходить улицу мести. Спасибо, добрая душа. Побрела искать неопределенно что. Кафе с Wi-Fi где-то обязательно должно быть или лучше наткнуться на обменник. Впереди — длинная унылая улица. Промзона, что ли. Сумка тяжелая. Две вещи, а так неподъемно. Вернулась. Что такое Matei Basarab, 55–57? Овощная база, склад с боеприпасами? Люди по такому адресу не проживают. Понятно, когда 55 или 57. Куда провалился 56? Если дом, должен быть номер квартиры. Не избышка же на курьих ножках для бессоседной бабы Яги в единственное слюдяное окошко, обращенное в мир. Господи, с кем я связалась? Куда приехала? Знаем друг друга восемь лет. Эпизодически встречались. Шумные компании, обрывочные уединенные разговоры по душам, идиотские (на пару), довольно милые шалости с непробиваемо серьезными лицами. Кто он? Для чего? Зачем?

Просто тянуло давно в Бухарест. Вообще хотелось вырваться из улитки обстоятельств. И эта занозой застрявшая в мозгу из прошлого, явно провокационно-лукавая поговорка: если знаешь, что нельзя, но очень хочется, то можно.

Город-загадка. Чаушеску, безумное величие местного парламента, контрастный архитектурный городской пейзаж, где увядание и современный триумф золотого тельца соединен в пучок овощного набора для супа. Есть возможность временно и бесплатно пристроить свое брненное тело. Польстилась. Всему виной расчет и выгода. Ага, еще авантюризм и наглость. Ладно, отложим копание в больных зубах психики на потом.

Навязчивый неопрятный таксист, говорящий кое-как по-русски, предложил поменять доллары на леи и отвезти по адресу. Да-да, согласна. На все согласна. Секс

в подворотне, наркотики, марш ЛГБТ. Одиннадцатый час утра. Едем. Знаю, наколешь. Плохо обменяешь деньги, об считаешь в пути. Все равно. Вези, вся твоя — и делай со мной, что пожелаешь.

По адресу Matei Basarab, 55–57 стояло, как вкопанное, многоэтажное красивое учреждение с солидным холлом и охранником в оцеплении легкого ограждения из современных тускло поблескивающих сплавов. Охранник отрицал руками, ногами, головой присутствие моего Сашки в этом здании и негодующим перстом праведника указывал на выход. Ушла. Волочу по безлюдной улице сумку. Рюкзак взвален на спину. Где ты, кафе и желанный Wi-Fi? Прямо, затем развилка, поворот, за которым глубокая провинциальная хрень со старыми особняками в ряд. Скорбное безмолвие. Припаркованные машины на обочинах тротуаров, испуганный крик чайки в небе. Нет, так не пойдет. Возвращаюсь. Охранник округлил черные румынские глаза, наотрез отказался предоставить код местного Wi-Fi, но ситуация сдвинулась с мертвой точки. Явились две милосердные птички-синички и активно занялись поисками этого дураля Сашки. Ненавижу. Осел, козел и косолапый Мишка. Заколю, как Марата в ванной. Нет, не надо, нехорошо. В результате нескольких четко поставленных вопросов, попытки показать лицо этого ископаемого, мессенджер у меня от общих на двоих (у меня и у него) непомерных усилий отказался включаться. Экран сурово свел брови, почернел лицом именно там, где сильно надо. Номера телефона, конечно, я не знала. Может, он и был в недрах сохраненных контактов, но разве сообразишь в таких нервах. Это в кино с сиянием в лице все счастливо и быстро разруливается. Мое же исковеркано испугом и холодом неизвестности. В принципе, можно вернуться в точку А, с которой началось это безумие, поехать домой, но как отыскать вокзал?

Наконец участливый женский голос русскоговорящего человека откликнулся на мои стенания. Одновременно раскололся гранит души охранника. Через весь огромный вестибюль любезно катит для меня стульчик. Как говорят: в ногах правды нет. Где тогда, вопрос остается открытым. Несколько секунд переговоров — и все кончено. Обещал прийти через пять минут, явился через две. Ястреб. Стоит, как лист перед травой, былинкой колышется на ветру. Руки сами собой распахнулись в щедрые объятия. Прямо гаражные ворота. А собиралась зарезать в ванной. Непоследовательная я женщина. Скажи на милость, какая радость, чтоб ты пропал! Сашка, Сашка. Это я. Мытарствам моим пришел конец. Узнаешь меня? Господи, что с ним? Не зомби ли сейчас вяло растопыривает клешни, принимая падающую на грудь ослабевшую подругу.

Нужный Matei Basarab оказался симпатичной новостройкой прямо за забором учреждения в сочетании перпендикулярами друг к другу расположенных домов частично на высоких бетонных сваях, под которыми удобно гнездились автомобили обитателей жилплощади. Первые этаж. Квартира 4. Номер дома 55. Прощай, баба Яга. Оставайся в одиноком лесу, смотри в слюдяное окошко и не шали. Мир изменился. Все теперь не так.

Коридорчик, ванна, совмещенная с туалетом. Сразу за входной дверью пеньком прикорнула к стене кухня. Комната: письменный стол, рядом диванчик на полчеловека. У стены широченная двуспальная кровать, на которой бесстыдно разверзся мужской гардероб вперемешку с бредом гриппозных подушек и одеял. Окна плотно зашторены. Ни лучика солнца. Густой горячий воздух. Берлога, да и только. Осел, козел и косолапый Мишка. Причем здесь это? Наверное, нервы. На всякий случай два первых персонажа в линейной цепочке исключаются.

«Нашлась, слава богу, — с облегчением выдавливают Сашка. — Я проснулся в восемь, подумал, ещё рано — и уснул. Прости». Переоделся в обломовский халат, завалился спать.

Вечером исполнились мои маленькие заветные желания. Такси привезло в бухарестский сияющий вечерним платьем огней Атенеум. Фартук сквера напротив, как прелюдия. Вдоль дорожек вставки из самшита. Увядавшие с осени, ещё живые, свечами вверх, розы. Дорогие билеты, хорошие места в партере. Розовый мрамор, колонны, торжество восхождения по лестницам, Бухарестский филармонический оркестр, уют кресел в зрительном зале амфитеатром. Фрески на мотивы знаковых моментов румынской истории по кольцу стены, сталактиты люстр, триумфально сползающих в зал огромными светящимися парашютами. Глоток вина в антракте, легкий его аромат. Волшебник, маг. Утром — ужас и ад, вечером — рай. Угодил, утешил, ослепил.

Оказалось репертуар дня концертом не исчерпан. Сценарием вечера предусмотрен блестящий, мажорными аккордами, финал. По дороге куда-то туда и одновременно в никуда, чтобы на закуску просто пройти, запахнули двери в ресторан. Ах, какое меню. Не утомляй лишний раз. По твоему усмотрению.

Бродил глазами среди румынских слов, находил, что душа желала. Конечный результат по-джентльменски отправлял мне на согласование. Кто начальник? Я начальник. Во всяком случае, вовлечена в процесс. Спасибо, друг, за деликатность. С меня, провинциалки, ни взять, ни дать. Может, отобрать? Или как там в пословице правильно? Не помню. Меню в чужой стране — истерика, дискомфорт, и не надо никакого ресторана вообще. Уличная еда на мигах — удел немого, не говорящего по-английски, человека. Стыдно мне. Неловко. Неприлично как-то в наше время не знать человеческого языка.

И вот они идут. Официант в сопровождении девушки-помощницы катит перед собой высокий сервировочный столик, уставленный напитками и едой. Торжественный ход. Нога к ноге, пава и страус. Сарабанда Генделя, пасхальный Крестный ход с хоругвями и ещё что-то такое, забытое, затерянное, закопанное в песочнице памяти. И это все великолепии на колесиках плывет-катится к нам. Юноша, как петух курицу, длительно и не без содержательного удовольствия топчет вилками тартар. Девушка открывает поочередно бездны: многочисленные баночки с приправами, соусами. Подает блюда с зеленью, наструганным опилками охлажденным маслом. Вся эта совершенная иллюзия бытия неожиданно и непонятно разверзлась передо мной в банальном проходе между двумя рядами столиков. И не кино. И не по соседству. И не наблюдатель. Непосредственный участник. Это я? Со мной? Неужели? Где зеркало? Рефреном годами твердил: «Хто ти така? Тупа, безмозгла сука». После усовершенствования физических и моральных истязаний добавилось: «Я тебе знищу». Как-то не особенно получилось. Посмотрел бы сейчас. И живая, и достаточно счастливая.

Передо мной здесь и сейчас прелюдия с розовым вином в бокале. У него — сладкий чай с ромом. Официант удивляется странной манере питья. Я сквозь усы Чеширского кота улыбаюсь: классику надо читать, соседа Гашека непременно. Швейка такой чай очень вдохновлял на идиотские поступки. Жаль, люди на бегу роняют милые привычки прошлых поколений. Потом находят, пожимают плечами, будто впервые видят, открывают снова. Так и скрипит понемногу колесо мироздания.

Сашка лениво поклевывает из одной тарелки, потом из другой. Медлю, разглядываю в упор красивое лицо. Алкоголики обычно лишены аппетита. Не едят, закусывают. Лишнее достается мне. Свое и чужое. Все подмету. Или смету? Захватчица. Безумно вкусно!

Странно, одни дни мелькают, как нехитрые пейзажи за окном транспортного средства. Другие — непреходяще вечны. Ошиблась. Следующие побежали тоже быстро: ни притормозить, ни придержать.

Долго слоняюсь по городу. С роумингом досадно ничего. Приспосабливаюсь к ограничениям передвижения. Вместо такси — метро, дребезжащий старенький трамвай, автобус. Страх потеряться, ощущение близкой опасности, хотя в принципе неплохо, даже бывает комфортно. Медитативное созерцание всего: прохожих, зданий, памятников, церквей, понатыканных в самых неожиданных местах. Буддистская смиренная сосредоточенность перед чашечкой кофе, испуганная голубка ретро-мысли, бегущей строкой в сознании: как он там переносит тягость дня. Возвращалась в душную, застегнутую под кадык, на все пуговицы квартиру. Жарко, разбросано, тяжело. «Ворота ста печалей», ожившие черные, лиловые драконы курительной трубки, циновка на полу, подушка. Возможно, не так, совсем не похоже — почему-то именно туда направлен мой ассоциативный ряд размышлений.

* * *

Днем Сашка больше спал, блуждая в джунглях горьких сновидений, предчувствий и страхов. Все-таки Киплинг угадывается. Период бодрствования (когда обычные люди заняты будничными делами) растягивался на лоскуты-отрезки. Полдень — раннее утро. Не трогать, не будить, не беспокоить. Словесный строгий запрет. Три часа дня — можно подниматься с постели, а можно остаться валяться, не париться. По обстоятельствам. Бормотал, всхлипывал, дергал ступнями ног, будто у моря и стряхивает застрявший между пальцев песок. Дотронуться — никак. Вскочит, выпучит голые близорукие глаза. Высокий, прозрачной худобы, волосы дыбом. За чем? За что? Что ты хочешь?

Когда не спит, телефон не выпускается из рук. Пальцы нежно выстукивают на экране мелодию джаза. Переписка, вопрос-ответ, крики в реальное пространство: «все пропало», «конец», «невозможно жить», посыпание головы пеплом, по-рыбьи открытый беззвучный рот. Или наоборот: «похвали, получилось, пришел долгожданный документ». Скажи: «Я молодец». Говорю: «Ты молодец. Ты лучше всех молодец. Ты удалец, умница-разумница». Зачем им все это надо: пьедестал, трон, корона, жезл? После смерти продолжение. На конях в памятниках восседают. Тестикул, что ли, не хватит? Вдруг наружу выплескиваются, как лишенная естественного выхода вода из раковины, откровения: «Почти добились, вот-вот из плена освободят. Почти у дверей. Девушка. Хрупкая, красивая. Убили. Не дотянула. Не уберегли. Отец в Кривом Роге с инсультом слег. Врачебную помощь впустить некому. Слесаря отсюда искал, чтобы замок вскрыть. Представляешь? Где Бухарест, а где Кривой Рог и важный слесарь в нем».

Каждый четверг по плану консультации с семьями пленных. Готовился, настраивался, волновался. Был чрезвычайно вежлив, тщательно подбирал слова, ненавязчиво учил, как не отчаиваться, шаг за шагом продолжать идти по камнями устланному пути. Другого нет. И неизвестно, достигнут ли положительного результата. «Терпение и ещё раз терпение. Будьте мужественны. Важно для вас, ваших родных и близких». После консультаций плакал, жаловался, наконец, падал замертво и засыпал. Не без помощи крепкого алкоголя, конечно. «Если бы знала, как они там все корчатся в адских муках. Родные и пленные. Обнадеживать плохо, не обнадеживать тоже. Нет же никаких гарантий». Оставалось только подбадривать. Видимо, такая здесь у меня работа. Миссия. Участь. Случайно возникла и пригодилась. Мужчину надо хвалить, провозжать на подвиги, всовывая в руки ланч-

бокс с сэндвичами, влажными салфетками, питьем на случай. И обязательно платочек для сбора урожая искренних слез. Тогда точно регулярно питаться привыкнет. Правда, плохо, что кормится буквально с рук, но об этом пока не стоит думать.

«Представляешь, умер прямо в зале суда. Не выдержал. Молодой совсем человек. Сердце отказало». Наводил часы, чтобы не проспять созвоны с коллегами. Обсуждали важное, по пунктам, юридически дотошное. Искали финансирования для помощи нашим ребятам, лазейки, полезных людей, которые деньги могут ссудить. Лоскутное кружево невидимых пауков. Плетут и плетут. Правозащитник, специалист по европейскому праву, кандидат наук. Ещё на всякий случай пасодобль, верховая езда, бильярд, шахматы. Ну, совершенный человек. Только один маленький совсем изъян в виде алкогольной зависимости, колени, перебитые во время первой Чеченской, в правой плече титановая кость на замену натуральной, камни в желчном пузыре и перманентный психоз. Ой, как плохо. Внутри калека, снаружи — Аполлон. А ноги. Длиннющие, как у модели на подиуме, как у сосательных конфет на палочке, как у Роденовского обнаженного мальчика в берлинском музее.

Если днем больше спал, а я охраняла сон, в нужный момент вставляя в рот соску с едой, чтобы не умер от истощения, то ночь мы делили на двоих. Ночь была наша. Совместная. Разная. Плохая, получше, прекрасная. Бывало, избыток алкоголя и сложный день заканчивались тяжелыми пьяными истериками с самобичеванием и страданиями. «Нужны ли стигматы святой Терезе? Они ей не нужны, они ей желанны». Смотрели кино. Много очень хорошего кино. Замечательного, сложного, ясного, красивого, умного. С пророчествами, сказкой, милыми героями, страшными героями и обязательно тонким юмо-

ром. Чего только там не было намешано. Реки фильмов лились с YouTube. Сидели рядышком. У каждого свой алкоголь. У каждого свой невыносимый бэкграунд. Во мне поднималась волна сопереживаний и благодарности. Ко всему. И Сашке тоже. Ведущий. Нежно, за руку, медленно, чтобы не перенасытилась и не умерла от наслаждения. Стихи, музыка, выковырянное, как изюм из булки, подобранные для меня. На самом деле, его личный набор предпочтений. Мармелад, патока, акриды и дикий мед с горчинкой.

Мелькали драматические и смешные сюжеты, актеры, исполнители, невероятно крутые лекторы рассказывали, как понимать слово, чтобы максимально зашло. «Это англичане. Самый-самый лучший знаковый театр “Глобус”. Там Шекспира играют. В Англии, на родине. Как не знаешь? Титры с переводом есть. Смотри. Обязательно».

Слова щипали за глаза, лезли под самую сорочку к сердцу. Неприлично набухла эмоциями (вот-вот разорвет), обессиливала от сопереживаний, тоски, муки, радости, красоты, чужой эрудиции и мудрости.

Наутро не встанет, факт. Что за глупые надежды? Никогда и не встает. Ему не надо. Утро Сашка презрительно пропускал. Ползучее, хищное, алчное, подозрительное. «Что день грядущий мне готовит?» Или пресловутая Наружа. Сашка пафоса не любит. Наружа, видимо, лучше. Что это небо? Говно какое-то. Да ну ее. Одни неприятности. Не его стихия. Каким-то образом между всеми его состояниями: сна, бодрствования, алкогольной тоски — появлялась статья для международного издания, отправлялась куда-то туда, в неведомое. Что-то неразборчиво об импотентной ООН, где несколько часов назад прозвучал.

— Ты? В ООН?

— Ну, да. Реплика небольшая по поводу.

— И что?

— Ничего. Мудозвоны они.

Одевался, подбирая под настроение, погоду, кольца, жилет, сорочку, пиджак. Неплохо бы круглые часы на цепочке в потайном карманчике на груди. Акцент, соединяющий детали образа воедино. Комплимент прошлому комильфо человека настоящего.

Сегодня присутствует на конференции в румынском колледже. Долго, скучно, бубнеж. Ясный, подтянутый, сосредоточенный. Красивый. Он же красивый, правда. Манеры аристократа, куртуазность до неловкости меня и непомерная, гирями, усталость в глазах. Кто вчера сходил с ума от безысходности бытия, созерцал в бессилии оживших алого и черного драконов, валяясь на циновке в «Воротах ста печалей» в ожидании смерти.

Порой выходило смешно, когда из ночного сумбура похрапывания, сопения, стенаний выкатывались и падали прямо под ноги примерно такие фразы: «Если последние три часа я к кому-то сильно приставал, простите, пожалуйста, был очень пьян».

* * *

Открыла глаза. Рядом почти поперек кровати распластан на животе лицом вниз по направлению к моей подушке. Откуда? Только что на диване лежал. Видела. Сплю чутко, полагаю, из-за жары. Левитирует, что ли? Нет, дополз. Умоляющий стон, просьба о помощи.

— Скажи, ответь на один-единственный вопрос. Кто в глубокую шабатную ночь с пятницы на субботу поставил стирку? Ты слышишь? Душераздирающие звуки крутящегося барабана долбят мне мозг.

— Я? Машинку? При чем здесь шабат? Ты же не еврей. Что за фантазии? У нас стирать нечего. Тем более ночью.

— Хорошо, спасибо. Утешение первое. Не ты. Утешение второе. Наступит в скором будущем, когда это все закончится.

— И из-за этого ты меня разбудил? Невероятно, возмутительно.

Ночь время сов и откровений. Еще жестокой попойки. Неправда. Алкоголь делился на двоих. Кому сколько по плечу. Брели покупать сонными, спиралью, улицами, спотыкались, цеплялись друг за друга, что-то бормотали несвязное.

— Ты меня слышишь?

— Да.

— Что ты сказала?

— Не помню.

Фразы-мысли эхом летели от тела к телу, ударялись гулко о нас. Слова были живыми и значимыми, слова были о чем-то забытом, ушедшем, вернувшемся запоздалым бумерангом. Слова были признанием, рекой, рвом, небом. Обыкновенные. Их мы ежедневно используем, втыкая, как окурки, в бытовой контекст как-то не так, не туда, криво. На небе светились ясные холодные звезды. «Смотри, вон там Марс, а вот это...» Поднимал руки, дирижировал звездами. Тонкие, бледные кисти. Продолговатость прозрачных ногтей, полукруг месяцевлунок.

— Неправда, темно, не видишь.

— Правда, давно заметила, знаю. У тебя красивые ногти.

В магазинах прицеливался взглядом. Мишень, покачнувшись, падала, не сопротивляясь, сразу в корзину. Два-три, а то и четыре прицельных выстрела.

— Много, как много.

— Это на выходные.

— Хорошо. Сегодня среда. Не дотянем. Знаю по грустному опыту.

Жмурилась от ужаса (ведь нехорошо), брела след в след к кассе. Приклеенная я к тебе, Сашка. Тень твоя, эхо. На месте выяснялось: забыли тару. Сашка распахивал добычу по внутренним карманам объемной алой куртки. Сашка решал маленькую проблему адекватно и сразу. Он ее вообще не видел. Не было у нас на двоих бытовых проблем. Пусть от них некомфортно себя чувствуют другие. Назад нас под руки вели друзья-слова и ангелы Венечки Ерофеева. До Кремля так и не дотопал. Может, его в действительности и нет. Мираж.

— Надеть. Одеть в другом контексте употребляют.

— Хорошо, запомню.

— Сарабанда, не сарабанта.

— Знаю, случайно. Согласные путанные какие-то. Сами по себе агрессивны в слова заскакивают.

— Что-то путаешь ты опасно. Давеча в аптеке. Хорошо, провизорша оказалась женщиной доброй, полицию на нас не вызвала.

— Почему? Таблетки для похудения самые невинные. И лекарство от головной боли. Все, что надо было купить. В чем конфуз?

— Ты метамфетамин попросила. Наркотик это. Женщина ясно сказала: в наличии нет, продается по рецепту. Уже глянул — производное от амфетамина. Ограниченно применяется в медицине. Откуда ты знаешь? Что, баловалась?

— Да, нет вообще-то. Не приходилось. С наркотиками у меня ничего. С мужчинами бывает. Наверное, перепутала. А, вспомнила. Метформин. Его имела в виду. Подруги посоветовали.

— Не спрашиваю, зачем тебе понадобилось резко худеть в Румынии. Не моего ума дела, но вот так невинно случайно сорвалось с языка. Ты меня иногда пугаешь.

Поначалу обещал предоставить в распоряжение диванчик. Подумал, галантно уступил кровать. Спал, как жук, лапками кверху. Ноги не помещались, руки торчали над головой. Страшное зрелище. Согнутый в коленях и локтях, хмельной, уязвимый. Нет, так нельзя. Кровать широченная. Трех спокойно примет.

— Тебе третий нужен? Ужас какой.

— Нет. Я про ширину жилплощади. Иди ко мне, дорогой, пожалуйста. Два одеяла. Никакой тактильности. Обеспечу. Обещаю. Между нами колючая проволока — ноутбук.

Лэптоп ночами прилежно на посту. Смотрит квадратным голубым глазом. Из него, как кровь, сочится лекция по астрономии. Или про жуков, или про птиц. Чертов Набоков. Бабочек мне сейчас только не хватает.

— Посмотри. Жук-палочник. Безобидный и очень симпатичный.

— Действительно, милашка. Не видела никогда такого. На тебя очень похож, когда на диванчике себя раскладываешь каждым членом отдельно. Беспредельна фантазия творца.

— Послушаешь тоже, или мне наушниками воспользоваться?

— Послушаю.

Просыпалась. Ночь, шторы, свет торшера. Жара. Какая жара стоит который день подряд. Задыхаюсь. И нет рядом доверчивого дыхания. Исчезло. Опять на диване лицо, как у покойника, задрано вверх. Мольбы с просьбой вернуться. Зачем же так скукоживаться? Матрац на кровати замечательный, почти лечебный. Вдвоем лежать хорошо. Лучше, чем одному. Впереди длинный беспокойный день. Господи, как же тяжело ему все это нести. Отдай, разделим ношу на двоих. Отчего плачешь ты,

друг мой. Обними. Вот я вся здесь. Жаркая, добрая, жизнерадостная. Покров мой легкий, не тягостный, защита от бед и невзгод. Не бойся, позволь.

Где он? В кровати нет, на диване тоже. Пять утра. Куда пропал человек? В ванной комнате на одеяле скрючилось тело. Как в чемодан уложил. И ноги тоже.

— Иди оттуда. Сейчас же. Слышишь?

— Не оттуда, а отсюда.

— Какая, к дьяволу, разница. Уходи. Вернись, пожалуйста. Прошу. И руки не забудь помыть.

— Зачем?

— Не знаю. Ложись рядом. Бочок к бочку и сопи. Нравится слышать, когда ты ровно посапываешь.

Пошел снег. В теплой Румынии, где есть Черноморское побережье и прекрасный курортный город Констанца, в конце февраля. Снег падал три дня. Мелкой линейкой в косую, кружился дробным горошком снежинок, бил в лицо, настырно лез за воротник. Машины на обочинах окуклились, стали невидимыми. Самокаты валялись убитые наповал вдоль тротуаров. Другие зарылись плоскими носами в коричневую мокрую кашу. Ходить невозможно. Как же мои достопримечательности? Да ну их ко всем чертям. Очень надо. Рядом буду. С утра до ночи. С ночи до утра. Где ночь, день, утро? Одна сплошная темнота, одна сплошная кровоточащая рана. И жарко. Сквозняку бы на пару часов. Улицы-улитки, залитые мутной водой подтекающего снега, трамвайные пути. Особняки, галереи с римскими колоннами, прикрывающие крыльцо, высокие окна под бровями лепнин. Атриумные замкнутые дворы, кусты шиповника, кампсиса, распатланными косами перекинута через заборы, сахарные стебли неунывающей во все поры года глянцево-изумрудной лавровишни. Еврейский старый изысканный район, переживший погромы сорок первого,

издевательства, пытки, массовые убийства. Умеют политики поднять со дна естества собственного народа первобытную кроважадную хтонь. Здесь резали, грабили, разрушали. Кровь текла по тротуарам рекой. Золото, драгоценности — главная приманка, на которую и клюет ни тени сумняшеся человек. Запах смерти, раздутые ноздри, эйфория власти над чужой беззащитной жизнью. Сейчас красиво, уютно. Летом вообще рай. Мажорный район, обитель состоятельных людей. Не тех. Других. Тех больше нет.

Все когда-то заканчивается и наступает мир. Есть еда, одежда, деньги. Не хватает памяти. Людям свойственна забывчивость. Исток и причина всех бед на земле. Напоминают. На днях в Бухаресте звучал «Бабий Яр» Шостаковича. В стране, где уровень жестокости к евреям зашкаливал десятилетиями.

— Везут на родину 774 тела. Вот сейчас. Сию минуту. Знаю каждого по имени. Ты не представляешь, как это страшно.

— Наверное, нет.

— Трамп финансирование снял. Пленные могут без элементарной помощи остаться. Где деньги взять?

— Родной, когда закрываются одни двери, непременно находятся другие. Ищи, отворяй, не бойся. У тебя получится. Не переставай искать. Подумаешь, мудака Трампа. Их было и будет. Вы же фонд, организация, неважно. У вас великая миссия, и тысячи людей ждут с надеждой. Что мы напрасно три дня подряд «Властелина колец» смотрим?

Этой ночью Сашка спал особенно беспокойно. Скорбная спина, закутанная в пижаму, вздрагивающие плечи, нежная ямка на затылке, легкий цыплячий пушок на бритой голове. Теперь получше, затих. Только ступнями мотает. Одна вправо, другая влево. Вместе и пооче-

редно. Как крокодил хвостом. Тоже чувствительная часть и нервы. Ох, нет. Дотронуться, попросить, чтоб повернулся лицом.

Лучше б этого не делала. Вздрогнул резко. Руки, подняты над головой, как для защиты. Вытаращенные близорукие глаза вышли из орбит, поплыли по комнате отдельно вкруговую. Повисели кучкой в душном воздухе. Вернулись.

— Что? Что случилось?

— Прости. Ничего.

— Нельзя же так пугать человека среди ночи.

— Я не хотела, ещё раз прости. Спи.

Странную парочку слепцов понемногу стали примечать соседи и в районе. Жить в обществе и быть от него свободным нельзя. Кто говорил? Знаем, кто говорил. Выделяться тоже нельзя. Раздражает. Люди привыкли ходить на работу, обедать, смотреть телевизор, неистово плодиться, пить пиво, виски, водку.

Случился обыкновенный коммунистический донос. Привет, Чаушеску. Не зря парламент, как гробница фараона, возвышается над городом. Знак и символ. Добропорядочная соседка отправила в ректорат угодливое письмо. Присмотритесь внимательно. Вы слишком добры. Предоставили ученому бесплатное жилье, а он баб водит. Одна поселилась и уезжать не собирается. Аморально. Порочит репутацию заведения.

— И что?

— Коллеги собрались препарировать донос. Возмущены, ректор за меня заступилась. Единственно, дописали в устав: проституток водить нельзя.

— А гетер можно. Аспасию, Таис, Родопис. Умницы-разумницы. И чтоб комсомольский суд, а там я обвиняюсь. Одежду срывают, как с Фрины, а там... совершенное тело не может носить в себе порок. На том и порешили. Греки не дураки. В красоте разбирались.

— Помнишь человека в ресторане, на которого ты сильно пялилась?

— Еще бы.

— Так вот, он мой коллега. Специалист по византийской иконе. На концерте вместе с нами в зале был.

— И? Ты не говорил.

— Возмущен до предела.

— То-то его кукожило, коробило. Странно, человек напротив, один. Зал пустой — и ни взгляда в нашу сторону. Мне вообще казалось, что он голову от нас руками, как капустным листом, прикрывает. Мерзкий сперматозоидный тип.

* * *

— Саша, Сашка, ну этот Басё и колбасё. Наше не всё, а ваше всё. Очевидное противостояние.

— Не знаешь, кто такой Басё? Убила, сразила, не верю, не может такого быть.

— Акутагаву хоть знаешь?

— Знаю.

— А Мураками? Их, на всякий случай, два.

— Зато знаю про императора Фу Си, который в час цветения дикой сливы сидел на берегу мутной реки и медитировал на воду, а может, и на облака. Из воды вышла лошадь мокрая и влажная. Отчего она казалась цвета никакого. Кобыла обошла императора три раза, наконец, уселась прямехонько перед ним. На спине у лошади были начертаны знаки. Фу Си срисовал их, потом задумался. Так случились основы китайской иероглифической письменности. И если бы не лошадь, ее длинный опущенный грустный хвост. Какая ерунда этот твой Басё, лошадь, император. Не знаю ничего. Про мыслящий тростник тоже не из того источника. Плохая из меня гетера. Спать пошла. Надоел.

— Ладно, прости. Наехал. Нервы.

— Вы, столичные штучки, не понимаете. Контекст не тот. Задачи не те. У тебя руки вон какие нежные. Мне по-другому приходится жить. Выпало.

Москаль он и есть москаль. Москвич вдвойне. Член метрополии. Член! Лучшие учебные заведения, перспективы, деньги. Вы его пропустили. Вы. Заносчивые, самолюбленные люди. Неважно, что в Киеве давно живешь. «Хороший русский» — ты. Вот кто. Враг. Агрессор. Виноват. Ты во всем виноват. Басё наше все. Отстань. Видеть не хочу. Интеллектуалы чертовы.

— Пошли.

— Куда?

— В аптеку. У меня лекарства кончились.

— Сам иди.

— Как я без тебя?

— Обычно.

И вот бредем по темной, закутанной в тайны прошлого, улице. Фонари за нами следом — преследуют, следят глазами пустыми. Перекресток, трамвайная линия, плавный ход вагончиков на светофоре. Освещенный, с ноготок, цветочный павильон. В нем бесперспективно скучает женщина в пуховом белом платке. Обхватила руками масляный обогреватель. Легла на него грудью. Холодно. День угас. Вечер. Сашка рывком распахивает входную дверь. Места войти нет. Замер на пороге. Красная куртка, красная ермолка. Я за спиной. За его спиной. Моя защита, моя стена Плача. Заглядываю внутрь через плечо. Женщина хватается за калькулятор, лихорадочно считает, сбивается, начинает снова. Наконец, понимаю, что происходит.

— Нет, нет, не хочу. Не надо.

Поздно. Ко мне по воздуху плывет огромный букет гиацинтов. Белые, розовые, лиловые нежные барашки.

Не объять. Их так много, так много. Руки не в силах обхватить. Как же так? Никогда, ни от кого. Что видела в этой жизни? Почему? Почему так случилось? Нет счастья. А было ли? Дура, а это что? Рыдаю. Громко, безутешно, на всю улицу. Так плачут дети. Иногда взрослые женщины. Катарсис.

— Сашка, они пахнут весной и тленом. Еще любовью. Любовь и война вещи несовместимые.

— Да.

— Что да? Первое или второе.

— Все.

* * *

— Сейчас доставка прибудет. Алкоголь заказал.

— Да? Не знаю, выпью ли с тобой мировую. Ещё подумаю.

Бумажный глухой пакет. Ром, виски, бутылка розового вина, фрукты. Да, Марлен Дитрих и Эрих Мария Ремарк. Ни хрена себе замахнулась. Учил ее в винах разбираться. Культура и бескультурие питья. Букет алых тюльпанов, коробка «Рафаэлло». Боже мой, оказывается, я люблю мужчин. Выборочно. Этого точно. Больного, измученного, бледного, как моль, психопата. Изгнать навсегда нельзя. Мужчин, конечно. Возвращаются. Так сладко ноет внизу живота. Неужели это я? Настигло, накрыло. Не было сколько лет. Всех моих, которые нужны, чувствую и понимаю, давно разобрали по винтикам. Ничего не осталось. Никого. На горизонте точно. Так и умру курочкой нетоптанной. А может? Стоит ли загадывать наперед?

— Смотрим кино?

— Да.

— Тебе еще налить?

— Да.

«Ты понимаешь», — размахиваю руками в попытке что-то сказать, но забыла, что именно конкретно. Сашка весь в помощь.

— Побольше существительных и прилагательных. Что же только глаголами пользуешься? Есть и другие части речи.

— Хорошо. Этот Властелин. Про нас, про Украину, войну. Красиво как, какие пейзажи.

— Новая Зеландия. Вот видишь, уже получше, когда не одни глаголы.

— Там столько благородного пафоса. И от него не противно. Наоборот. Воодушевляет. Фальши ноль, дух и сила. Лица, как с портретов живописных. Тогда, давно.

Дальше не успела развить мысль, прыгающую перед глазами жабой-ропухой. Сверху сорвались и придавили звезды. Причем все сразу. Сколько их там, на небесах. Сашка знает. Я нет. Уйдите, какого черта вы это сделали? Как же так? Стояла, стояла и рухнула. Нет, убери руки. Тяжелая, сама поднимусь. Смешно. Ночь, улица, фонарь, аптека, глубокий обморок сирени. Только не говори, что путаю. Так надо.

Между утром и ночью случилось то, за что стыдно. Знаю, не помню, что именно.

— Не рассказывай, не надо. Пропустим. Забудем или перенесем на потом. Поставим на паузу.

— Хорошо. Только напомнить должен: я женат.

— Ты верный муж. Наверное, она у тебя счастливая. Прости.

* * *

Вышло солнце, и наступила весна. Не вся. Туфельку парчовую только показала. Снег весело таял, с крыш капало за шиворот и ничего неприятного, даже хорошо. Пусть капает, позволяю. Самокаты определились. Взяли себя в руки и надежно выстроились в ряд.

* * *

— Ты вызовешь такси?

— Да, безусловно. Провожу и отправлю.

— Спасибо.

— Разбегаемся в разные стороны. Ты в Вильнюс, я домой.

— Только на четыре дня. Потом вернусь и до конца месяца буду здесь.

— А я там, где война, рвутся бомбы и умирают ежедневно не от болезней и старости.

Уезжать хорошо ранним утром, когда только зарождается день. Еще сонный и лень говорить. Ну, вот оно, зеленоокое.

— Обними меня, пожалуйста, обними крепко.

— Обнимаю.

— Спасибо. Береги себя, слышишь.

— Да. И все. Сказка закончилась.

* * *

Нет. Этого не может быть и быть не должно. Дежавю, только теперь в обратном порядке. Не тот аэропорт. В том, моем, всю уже идет посадка на рейс. И связи никакой. Господи, как достало. Где Wi-Fi? В аэропорту обязательно должен быть. Теперь и глаголы исчезли. Одни междометия прыгают перед глазами. Что за наказание? Подключилась. Хоть одна с утра хорошая новость.

(Из переписки в мессенджерах)

Она:

— Дорогой, помоги.

Он:

— Рок какой-то. Уже едет, жди. Будет бесплатно.

Служба покачалась и извинилась.

Она:

— Какое мне дело до их соболезнований? Где мой аэропорт? Где мой самолет?

Он:

— Свет мой, спонсор моего инфаркта. Адрес ты знаешь. До новостей не тронусь никуда.

Она:

— Забыть бы этот адрес навсегда. Ты знаешь, он был правителем Валахии. Книжником великим, религиозным человеком, с Украиной дружил. Какие-то опасные связи известны, очевидны. Не вникала.

Он:

— Кто?

Она:

— Матей Басараб, тот который 55–57. Широкий был человек. Мощный, фундаментальный.

Он:

— Сумасшедшая. Если что, я ключ оставляю, запирать не буду. Напиши-позвони. Пока выдохну.

Она:

— Люблю тебя. Обожаю, задыхаюсь от любви.

Я тут преданными глазами у стойки регистрации на юношу с девушкой смотрела долго. Главное оружие — безмолвие. Теперь вот едем на его машине в нужное место. Всего 20 евро. Как подумала, что в твою нору придется возвращаться. Нет, никогда. Пешком пойду. Хватит. Сколько важного промолчали вместе.

Он:

— Ты моя богиня.

— Да.

На этом связь оборвалась.

Григорий ВАХЛИС

(Иерусалим)

ДОКОПАТЬСЯ ДО ЧЕРВЕЙ

Рука протиснулась в дыру и заскребла ногтями. Накрепко зажав добычу, потащила вверх... На убитую подошвами городскую землю легла еще одна горстка сероватой грязи.

— Давай-давай! — приговаривал сиплый голос. — Сперва будет песок, потом земля, потом кирпичи, а потом черви!

— Все... Дальше не лезет! — сказал я. Руки не хватило, измятый рукав клетчатой сорочки уперся в подмышку. Обломанные грязные ногти болтались над пустотой. Шея больно изогнулась, так что я видел лишь край стены да верхушку тополя над ней. Косой луч высунулся из-за крыши и полез в кирпичный колодец, навстречу чахлым деревьям, качелям и мусорным бакам. В углу, за кустами, было еще темно. Баба Соня сидел сбоку и чесал шею, бледный отсвет листвы окрасил её в зеленоватый цвет. Ногти у него были такие же щербатые, как у меня, «траурная каемочка» поблескивала застрявшими песчинками. Копать начал он, но, худой и рахитичный, скоро устал. Перед этим, тесно прижавшись плечом к плечу, мы вытянули грязные, в цыпках руки. Моя была длиннее.

Хлопнула калитка, еще одна, белобрысая и толстая, с черной дерматиновой сумкой, привела своего в детсад.

«Докапывание» вообще свойственно людям: «...до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины...».

«Сущность есть категория философского дискурса, которая характеризует устойчивое, инвариантное состояние предмета, выражающееся в единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия, субстанциональное ядро самостоятельного сущего».

Где же черви? Дайте потрогать, ощутить, зажать в кулаке — как они там шевелятся!

Светил в углу самодельный ночник из бывшей материнной кофточкой: в виде поникшего цветка. В синем его свете отец напевал тихо и задумчиво: «Расцветет, словно сад, отвоеванный край, будет он и богат, и силён. Эх, дожить бы, Чапай, эх, дожить бы, Чапай, до счастливых желанных времен...».

Засыпая, я видел пулемет на обрыве. Рука подымается над водой. Пули бурвят воду. Вот, копнув последний раз, Чапай уходит на дно — там холодно и сыро. Во сне моя рука леденеет, набухает тяжестью...

Жизнь! Ощущение чего-то, набившегося под ногти, немилосердно свербящее там. Тут же мать: тщательно и терпеливо выковыривает эту грязь острым предметом, пребольно зажав в своей руке мои пальцы.

Тогда очень следили за руками. Руки были лицом человека. И они обязаны были быть чистыми — как у чекиста! Наряду с горячим сердцем и холодной головой. Нечистые руки символизировали преступный образ мыслей — до самой измены Родине. «Руки на одеяло!» — кричала молоденькая пионервожатая в лагере — лучше бы она просто пореже заходила в палату во время дневного сна...

Говорить я научился рано — месяцев девяти от роду. А вот думать... Очень тяжело думать! «Чистыми руками» невозможно докопаться до чего-нибудь стоящего. Рук не испачкав, ногтей не обломав, ничего не наскребешь, и никак не сойти с единственно-верного пути. Тем более собственная мать чем-то острым выковыривает любую самостоятельную мысль, грозящую любимому детищу опасными расхождениями с...

После манной каши с хлебом мы с Бабой Соней приступили к подвижным и настольным играм. Потом, построившись в колонну парами, держась за руки, двинулись вверх по улице к парку, на детскую площадку. Там были настоящие качели-«лодочки» на цепях — не то, что «коники» у нас в садике... Неподалеку, у фонтанчика, среди заостренных как сабли листьев, стоял памятник полудетому человеку, воткнувшему цементной рыбе в рот толстую палку. Вспомнилась «Сказка о рыбаке и рыбке»...

Мама-папа у Бабы Сони были нормальные люди — просто пили горькую. Почему — никто не интересовался — время было такое... А Баба Соня давала внуку бутерброды с настоящим сливочным маслом, читала ему «Дядю Степу», рассказывала про Ивасыка Тэлэсыка и Бабу Ягу, про умершую в голод мамину старшую сестричку... Она была ему мамой, папой и вообще всем — вроде Ленина. Порченный рахитом белоголовый мальчик заговаривал со сверстниками так: «А Баба Соня сказала!».

К седьмому классу я понял: повезло Чапаю, что утонул. Не дожил до желанных времён... И не влекло уже меня, стоя плечом к плечу, тянуться рукой, выкрикивать радостно-торжественным голосом. А Баба Соня потерялся на поворотах судьбы. Сразу, как пошли в школу. Я в 87-ю, а он не знаю в какую. Раз только я его встретил — в 1972 году, когда покупал билеты на футбол. Глянули из око-

шечка кассы знакомые мучительно-восторженные глаза — но тут же оттолкнула меня толпа, понесло куда-то вдаль говорливое море болельщиков...

Потом уже, студентами, встретились опять-таки случайно в трамвае. И больше не расставались. Пока не расстались уже навсегда...

Баба Соня оказался сектантом. Упрямая какая-то секта. А я к тому времени увлекся поэзией, дзен-буддизмом, всем таким, короче... Встречались, правда, очень редко. Но я любил эти встречи. Сама его фигура напоминала о чём-то, смутно и непонятно.

Стоял сентябрьский прозрачный денёк. Шли вдоль полотна железки, небо бледное над головой, рельсы сверкают — хорошо! Местечко присматривали, где бы получше присесть на травке, чтоб многоэтажек этих не было видно. Чтоб не напоминало о жизненной суете, правах-обязанностях и т.п. Вдали, в чахлам лесочке, темнеют разбитые вагоны, косые тени лежат на заброшенных путях, кучи гнилых шпал теряются в зарослях пыльного бурьяна, в сетке-авоське бутылка креплёного и закуска: хлеб и две банки сардин в масле. И вдруг... яма! Прямо под насыпью, где канализационный коллектор. Над ней труба железная. Потом уже сообразили: там, чуть подальше, за тополями, столовая ДВРЗ. Оттуда и течет. А из ямы — шум. Черви! Извиваются! Трутся чешуйками друг о друга. А у Бабы Сони глаза страшные! Может, апокалипсис увидел, может, еще что, сектантство — вещь серьезная!

— «Скажите же червям, когда начнут, целуя, вас пожирать во тьме сырой, что тленной красоты навеки сберегу я и образ, и бессмертный строй...» — громко процитировал я любимые тогда строки.

— Опарыши это! — прошептал Баба Соня. — Червь трупный! Мне захотелось рассказать ему про «Алмазную сутру», про дзэн, но что-то остановило, не к месту это всё показалось. Постояли над ямой, думая каждый о своём. Но

тут загудело вдаль, затренькали тревожно рельсы, налетел шквал, обдало горячей пылью, загрохотало бешено и весело над головой.

Потом сидели на скамейке, в сквере. Я вынул из кармана пачку малодоступных тогда «Мальборо». Баба Соня сперва покачал головой, улыбнулся и неумело вытащил одну согнувшуюся сигарету.

Сизо-голубое небо, бледный осенний свет, городская тишина с далёкими живыми шумами... К чему это? К чему было? Разве поймешь...

Время пришло — и меня занесло... на поворотах. Отсюда ни в какой телескоп не увидишь ни путей, ни столовой, ни города самого, ни тех лет. Одна Иордания на горизонте.

Здесь, в пустыне, нет ничего. Едва различимый горизонт лишь намекает на «верх» и «низ». Лежу на спине. Остывший к ночи песок смешался с седоватой шерстью на затылке. Пульсируют в голове тяжкие комья — не то память, не то боль. И вдруг — косой луч, листва в золотых просечках! Баба Соня — махонький, худой...

Вытянул руку с кривой улыбкой, скребу ногтями черное каменное небо и слышу — ворочается там, трясет мир неизмеримый червяк.

Михаил ОКУНЬ

(Ален)

ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА НА СВЕТЕ

Идти в детский сад ему не хочется. И сильный дождь тут в подмогу. Глядя на ливень из окна, он говорит:

— Машины от дождя убегают...

(Ну, это понятно.)

— И кусты убегают...

(Действительно, наклонились до земли от сильного ветра, бегут.)

И, подумав:

— И дома бегут...

А это еще почему? Пригляделся — косой, почти горизонтальный дождь создает впечатление, что дома бегут ему навстречу. Так-то.

Пока пережидаем непогоду, показываю ему две детали, с которыми работал на участке мелкого монтажа фабрики «Интегра» городка Мёгглинген: видишь, железная ставится снизу, пластмассовая — сверху, нажимается рычаг, и пресс загоняет пластмассовую деталь в железную, запрессовывает. А зазеваешься, сунешь туда случайно палец, — каша будет...

Молча соображает, спрашивает:

— А морковка будет?

Наконец, дождь кончается, отправляемся в детский сад. Наша пятнадцатиминутная дорога по Фарбахштрассе, названной именем одного местного деятеля, по большей

части обычно состоит из разговоров об окружающих «фарбах» — цветах. Цвет облаков, подсвеченных восходящим из-за невысоких лесистых гор солнцем, цвет самих гор, проезжающих мимо машин, крыш, мокрого асфальта... Ведь он художник — статьи в местной прессе, выставка в офисе одной фирмы. Ведем, так сказать, профессиональную беседу.

Хотя сегодня его занимает другое. Вчера их группу водили в сумасшедший дом (я думал, поведут в дом престарелых). Это в связи с праздником св. Мартина, который велел всем помогать и делиться последним. Ходовая история — как он мечом отрезал часть собственного плаща, чтобы отдать ее замерзающему нищему.

Впечатлений много. «Один дедушка всё время пел, одна бабушка танцевала и трогала меня пальцем (показал, как). Один дядя всё время бил себя по голове (показал, как). На глазу у него была кровь. А голова у него меньше, чем у Амина (Амин — его детсадовский друг, мелкий для своих лет азербайджанский ребенок, голова с кулачок). У одного дяди маленький палец (показывает мизинец) был очень большой. Один дядя только сидит, не ходит. Все дети смеялись, я не смеялся, и воспитательницы не смеялись».

Подумав:

— Я только смеялся, когда бабушка танцевала.

Спрашиваю:

— Ты их боялся?

Помолчав:

— Я отходил назад (показал, как). Они хорошие люди, но не умеют правильно говорить, ходить, шевелить руками.

И, тем не менее, несколько раз попросил: «Скажи воспитательнице, что я больше туда не пойду».

Он рассматривает припаркованные к тротуару машины и определяет: «Добрая, очень-очень-добрая, злая...»

— Как ты их различаешь?

— Вот видишь, какие у этой глаза узкие — она злая.

— А эта? — я показываю на ретро-«Фиат» с двумя парами маленьких круглых фар.

— Это — инопланетян!

— ???

— У него четыре глаза и носа нет.

Некоторое время мы идем молча. Потом запеваем его любимое «Вечный покой сердце вряд ли обрадует... А для звезды, что сорвалась и падает...» Идущая навстречу спортивная пожилая дама с палками для ходьбы nordic walking внимательно смотрит на нас.

Вдруг он спрашивает:

— А сколько тебе лет?

— Шестьдесят.

— А в детском саду Абдуль сказал, что ты не как папа, а как дедушка...

(Наблюдателен для пяти лет этот чёртов Абдуль со своим мягким знаком.)

В последнее время его воображение завораживает магическая цифра — миллион. Смотрит на номер дома: 121.

— Айнхундерттайнундцванцих... Это больше миллиона?

— Нет, меньше.

— А что больше миллиона? Миллион — это последняя цифра на свете?

— Миллиард больше.

— А есть больше миллиарда?

(Ну, есть там еще биллионы, триллионы... И так далее. Впрочем, математики и сами в этих своих шкалах запутались — для одних миллиард, для других биллион. Нам-то, сынок, это на что? Вот Пифагор говорил, что Бог есть число. Или наоборот... На том и остановимся. А то когда-то родившийся в Петербурге немец по имени Георг Кантор даже сумел строго математически доказать, что одно бесконечное множество может быть больше

другого, а третье — и вовсе больше двух предыдущих, вместе взятых. И уверовал, что его теория трансфинитных множеств ниспослана ему свыше. И закончил свои дни в психиатрической лечебнице. Может, в такой же, которую ты вчера повидал. Что и немудрено — такие штуки даром не проходят.)

— Два миллиарда.

Задумался.

— А мы все умрем?

— Ну... в общем, да...

— Все-все?

— Все.

— Проживем миллион лет и умрем?

(Если бы...)

— Нет, поменьше проживем...

(Ведь это же хорошо, сынок, что мы не знаем своей последней цифры на свете!)

— Сколько проживем? Ты скажи, скажи...

Елена МОРДОВИНА

(Киев)

ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ

I

В южных городах тополинный пух начинает донимать в мае. Здесь он появляется только в июне, но от этого не легче.

Алина шла в сторону метро за веселыми школьниками. Ветер поднимал пух, и он летел ей в лицо, противно лез в глаза.

— Закрывай мороженое, — кричали друг другу дети. — Сейчас налипнет.

Клиент обещал денег на такси, но она решила ехать на метро, а деньги за такси оставить себе. Этого убудка Алина терпеть не могла, но, похоже, ему она чем-то приглянулась. Са-а-ша. Третий раз уже вызывал ее к себе.

На эскалаторе почти никого не было. На самом верху, там, где ступеньки сливаются в плоскую ленту, она почувствовала мерзкий запах разлагающейся плоти. Наверное, в механизм попала крыса.

Алина вышла из метро и набрала Сашу. Боялась опоздать.

В любом случае, на метро в это время быстрее, чем на такси.

— Я уже подъезжаю, подожди меня возле дома, — и бросил трубку.

Слава богу, не опоздала.

На спортивной площадке играли подростки. Мячик перелетел через высокое ограждение и скатился по склону холма в другой двор.

Алина смотрела, как мальчик полез за ним через решетку. Девочка осталась на площадке и смеялась над его неуклюжими движениями.

Он достал мячик и принес его обратно.

— Мне больно было, — закричал он, — по этим решеткам лезть. Понимаешь? Больно! Все руки ободрал, а ты смеешься!

Обиделся, чуть не плачет.

Алине самой хотелось плакать. Наверное, оттого что пух летел в глаза.

Во двор заехал серый автомобиль.

Саша хлопнул дверью и нажал кнопку на брелке. Автомобиль пискнул.

— На такси приехала?

Алина кивнула.

— Дура... Да видел я, как ты шла от метро. В пробке как раз стоял. Денег за такси не получишь. Дура, — повторил он.

Крысиный запах шел от его шеи и подмышек. Сначала Алина подумала, что ей показалось. Она поползла с поцелуями вверх по его волосатому горлу, но когда добралась до самой пасти, оттуда тоже воняло так, будто он только что съел дохлую крысу.

Ублюдок попытался засунуть ей в рот свой поганый язык.

— Подожди, не надо.

— Только не говори, что ты не целуешься с клиентами. В прошлый раз сосалась, как... соска, — подыскал он нужное сравнение. — И не говори, что с кем-то меня путаешь. Я этого не люблю.

Он ткнул ее лицом в свой обрюзгший пах.

Вонючая крыса. Десять вонючих крыс. Глотку резко сжало спазмом.

Добежать до туалета она не успела и выблевала все прямо в коридоре.

— Блядь! Нахер отсюда, блядь! Сука конченная. Убери, сука, за собой. Ты поняла? И нахер отсюда!

II

Учебный центр, в котором Алине предстояло сегодня работать, располагался сразу за главным корпусом Строительного.

На газонах сидели студенты, с папками, тубами, огромными пестрыми сумками. Они раскладывали чертежи, советовались, дочерчивали поэтажные планы, наклеив листы на стекло открытой дверцы автомобиля, о чем-то мечтали среди пушистых одуванчиков.

Бесконечное число прозрачных шаров застыло в теплом недвижимом воздухе.

Подработка в учебном центре для парикмахеров большого дохода не приносила, зато раз в две недели можно было подстричься или покраситься.

Возле самого входа, у стены, целовалась парочка. Парикмахеры вышли перекурить. Одного парикмахера она знала — с длинными волосами и двумя зажимами в волосах — салатовым и розовым. Остальные зажимы пристегнуты были к кармашку фартука. Второго она видела впервые. Юноша-антрацит. Поскольку работа модели предполагала общение с большим количеством людей, многих из которых она видела в первый и последний раз, ей удобно было давать им свои имена — первое, что приходило в голову.

Антрациту имя подходило как нельзя лучше — черные кудри, черная рубашка и брюки. Черноту оживлял только изумрудного цвета галстук на раскрытой груди, в треугольнике между расстегнутых пуговиц.

Она кивнула Длинноволосому с зажимами и зашла в здание.

Скользя ладонью по хромированным перилам, спустилась вниз.

Семинар еще не закончился. Моделей пока было мало. В коридоре, в специальном закутке, стояли биде для мытья волос — Алина не знала, как они правильно называются. Рядом висели полки с разноцветными коробками краски. Девушки сидели в креслах, приставленных к этим биде, скованные и словно напуганные. Ни одной знакомой.

Алина села в кресло и стала наматывать на палец синюю нитку, которую нашла на джинсах.

Из учебного зала начали выходить люди. Последним появился Хамель:

— О, привет! Давай, ни к кому не подсаживайся, я сам тебя возьму. Поговорим. Только схожу перекурю.

Он оглядел остальных девушек. Взгляд у него был цепкий, жесткий.

Алина вращалась в высоком кресле.

Хамель брал пряди ее волос и что-то объяснял остальным про натуральную базу. Еще полгода — и она будет знать об этом больше всех этих парикмахеров.

Девушек разобрали. Стилист справа будет красить Зеленое яблоко — невысокую полную барышню. Непонятно, как она здесь очутилась среди моделей. Алина даже поменялась с ней стульями, взяла себе стул пониже. Она косилась на модель, которая попала к Антрациту, и немного завидовала. Все тысячу раз отражалось в зеркалах. Они о чем-то говорили. Неудобно следить за чьим-то диалогом прямо — и она наблюдала за их беседой через зеркало.

Хамель разболтал смесь, похожую на черничный йогурт.

— Ну, и как ты теперь?

— Хамель, слушай, найди мне какую-нибудь работу. Не могу больше. За квартиру нечем платить.

Он зачерпнул черничный йогурт пальцами и прикоснулся к голове.

— Что угодно, — продолжала она. — Я уже готова рекламки возле метро раздавать по утрам.

— После демонстрации подождешь меня на улице.

Он закрыл тубик с краской, выдавил остатки о ребро стола и снова отвинтил крышку.

Зеленое яблоко была очень похожа на Катю. Ее красила девушка в легком топике в косую полоску. Сейчас она взбивала краску.

Хамель отошел, чтобы снова объяснить кому-то про натуральную базу.

Кроме него между столиками расхаживала Маргарита, кастинг-директор, с оранжевой розой в волосах, высокая, скуластая, и Коала (у Коалы на шее — серебристая коала, вцепившаяся в черный канат, с сапфировыми глазами). Они тоже давали всем советы.

Фотограф появился, когда все уже ходили с краской на волосах. Маргарита отчитывала его, а он шарahalся по залу и постоянно ронял стулья.

Модели в целлофановых обертках были похожи на цветы, которые спрятали от дождя уличные торговцы.

Когда всех покрасили и высушили, ассистенты быстро соорудили сцену и составили стулья несколькими рядами.

Алина не могла дождаться, когда наконец поговорит с Хамелем.

Девушки по очереди выходили на импровизированную сцену. Парикмахеры что-то объясняли своим коллегам, показывая на моделей. Все были в босоножках. Буквально все.

Только она одна — в кроссовках и джинсах.

Хамель отчитался быстро.

Оставался только Антрацит со своей красавицей.

— Мою модель зовут Оксана, — начал он противным фальцетом. У Алины сразу пропал к нему интерес. — Натуральная база — пять ноль. Корни — полсантиметра, основное полотно — окрашено в блонд. Сначала я сделал декапирование, выдержал двадцать минут. Смыл шампунем и бальзамом. Потом взял краску девять два. Оксигент три один, двадцать минут. Смыл, высушил. И посмотрите, какие красивые волосы.

— Оксана, скажите, вам нравится, когда вас вот так трогают? — прорычала с места Коала.

— Да, когда это делает Андрей — мне очень приятно.

— Я к тому, — сказала Коала, — что к модели нельзя прикасаться при демонстрации, это чтобы вы не забывали. Потом — что угодно, но не на показе!

— Я просто взял прядь, чтобы продемонстрировать текстуру волос... — Антрацит широко улыбнулся Коале, пытаясь сразить ее наповал. Но улыбка, которая так действует на моделей, не оказала на Коалу никакого видимого эффекта.

— Если так демонстрировать, как вы, можно во время показа дреды модели накрутить.

Зал засмеялся, Коала мягко прикрыла глаза, довольная своей шуткой.

Хамель махнул Алине рукой и кивнул на дверь.

Парочка возле входа, на удивление, еще целовалась, но уже переместилась на скамейку.

— И что, вообще никак? — Хамель вытер руки о нагрудник фартука и достал сигареты из заднего кармана. — Катя говорила, что тебе крысами воняет. Может, клиент такой попался?

— Все абсолютно. Месяц уже вообще никого видеть не могу. Капец полный.

— Ну, выбирай тех, кто приятнее.

— Никого. Вообще! Летом и так работы нет.

— Вообще... никого. Запиши телефон. Костя берет в эскорт типа для красоты пипеток. Знаешь, одна работает, остальные целок из себя строят. Думают, что они модели, блядь. Поработаешь целкой на старости лет. Скажешь, от меня. Да он тебя должен знать.

III

Богдан не любил столицу.

Утром люди набивались в вагоны метро, словно осы в щель.

Возвращался он поздно, когда в метро никого почти не было.

Он откинул голову, вытянул ноги в проход и вспомнил про ос.

Однажды брат прибежал к нему и сказал, что осы снова занимают то маленькое гнездо в сарае. Собственно, это было даже не гнездо, а букетик в несколько ячеек. Прошлым летом они не стали его сбивать, а покрасили поверху серой краской из пульверизатора. Что-то вроде украшения получилось. А теперь вот они слетелись.

Возле сарая брат прикармливал рыжего соседского спаниеля. Подальше от дома, чтобы не слеталась мошкара. Богдан подошел, и пес поднял на него морду. С ушей капало масло — брат дал ему остатки селедки в пластиковой плошке. Богдан открыл дверь сарая и увидел, как по ячейкам гнезда ползает шесть или семь ос.

Дихлофоса не нашлось. Он взял спираль от комаров и спички. Установив пластину со спиралькой под самым гнездом, подпалил ее с обоих концов и отошел в сторону. Ос Богдан побаивался. Присел на корточки и стал смотреть, поглаживая спаниеля. Тот с любопытством заглядывал в глаза и словно спрашивал, к чему вся эта суета.

Дым тем временем курился, и осы начали что-то соблаживать. Они суетились, то отлетая прочь, то снова подлетая. Ползли в щель, за которой находилось гнездо, отползали, присаживались в стороне, умывали лапками головы и снова лезли в щель. Защищали своих личинок.

По большому счету, люди тоже делают это ради своих личинок — лезут в щели вагонов метро, теснят, ненавидят друг друга...

По вагону шли, переговариваясь, какие-то мужики.

Богдан даже не стал открывать глаза. Он только собрался поджать ноги, как кто-то врезал ему по голени тяжелой подошвой.

— Больно, вы что? — он брыкнулся в ответ. Вот не надо было этого делать.

Не успел он вскочить, как получил удар в висок. Голова, издав какой-то нереально звонкий звук, врезалась в металлическую обшивку окна.

Кто-то осторожно тряс его за плечо.

Сначала Богдан не смог разглядеть — перед глазами шли круги. Словно откуда-то со стороны он слышал, как подвывают от боли.

Перед ним стояла девушка с колечком в губе и густо подведенными глазами, как у Аврил Лавин (у него в комнате, там, дома, висел плакат). Колечко было в виде трилистника...

— Эй, ты меня слышишь вообще?

Она трогала его мокрые, склеившиеся волосы. Богдан слеп от каждого ее прикосновения. Голову как будто раз за разом ошпаривали кипятком.

— Ч-ч-черт! Отстань.

— Может быть трещина. Надо в больницу, что ли.

— В какую, нахер, больницу?

— Тебе далеко до дома?

— Не знаю.

— Тогда идем ко мне, я тебе рану промою. Я здесь совсем рядом живу.

— Не боишься?

— Есть чего бояться, можно подумать...

На тахте было жестковато. Богдан приобнял девушку за талию и притянул к себе.

— Зашевелился уже, герой. Смотри... Тебе сейчас двинуть в то же самое место — вообще копыта отбросишь.

— Алина... — он пробовал на вкус ее имя.

Рука уже скользила под майкой.

— Нет, я не могу.

— Да ладно, брось, — он скинул лямку с одного плеча.

— Я серьезно не могу, — она отставила в сторону бутылку и кинула рядом мокрую вату.

Вообще-то Богдану нравилось, когда девчонка хоть немного ломается. Такая не лезет в постель с первым встречным — это он точно знал. И ему сделалось очень спокойно, как будто по всему телу разлилась горячая водка.

С утра он чувствовал себя гораздо лучше. Боль притупилась. Можно было ехать на работу, но ему не хотелось так скоро расставаться с Алиной.

Он гладил девушку по спине.

— Мы же земляки, считай. Если бы дома остались, то не надо было бы никуда сейчас ехать. Пошли бы к морю, смотрели, как пролетают над водой стаи бакланов. Вдыхали запах йода...

— И что за счастье? Если бы тебе нравилось так без работы сидеть, ты б сюда не ехал. Оставался бы себе...

— Бегали по пляжу, взрыхляли ногами красный песок. А вечером взбирались на холм смотреть, как заходит солнце.

Она высвободилась из его объятий и пошла за халатом.

— Выбрасывали из постели сколопендр... ты бы визжала. Я хотел бы услышать, как ты визжишь. А тебе бы откликнулись фазаны, кочующие по степи.

— Вставай давай, фазан. Ты на работу собираешься?

— Да, вечером вернусь поздно.

— А тебя кто-то вообще приглашал? Шустрый...

Алина подошла к комоду и долго рылась в верхнем ящике.

— Ключи возьми, я могу позже тебя приехать. У меня сегодня подиум.

IV

Катя стояла у окна и курила, глядя на двор. В темном стекле отражалась кухня. В тот вечер Катя вообще много курила, вытягивая из пачки одну за другой тоненькие сигареты.

— Не хочешь курить? — поинтересовалась она у Алины.

— Нет, я вроде бросила... Давно уже не курила.

— А остальное? Я слышала, у тебя кто-то появился. И что, с ним можешь? Крысами не воняет? — она расхохоталась. — Ладно. Пошла сапоги наматывать. Ришар подарил, когда приезжал. Такие сапоги классные. Наматываются, как портянки. Я тебе уже показывала фотки с майских?

— Да, я не досмотрела, к тебе пришли тогда.

— Тогда иди досматривай, до такси еще есть время. Не хочу раньше них приехать. Нет, не те. Это мартовские еще. Вот это мы все вместе, гуляли с Ришаром, дубленку ему купили, он ничего теплого не взял такого.

— Эти я видела...

— Открывай майские тогда, я пойду сапогами займусь.

Катя долго возилась в коридоре, гремела, роняла какие-то предметы.

— Смотрятся, конечно... Интересно, кто это придумал, сапоги наматывать. Как портянки. При ходьбе сползают, конечно, постепенно.

— А нам никуда и не надо ходить, вон такси уже приехало.

— Блин, Ришар как раз в скайп ломится. Сейчас, только ответчу ему.

Набережная была пуста. Пекинские львы отражались в холодной августовской воде — немые стражи с разверзнутыми пастями. Мостик покачивался. Швейцар помог Алине снять плащ.

Им, конечно, все улыбались. Улыбались будды в коридоре. Улыбались девушки в узорчатых халатах.

Почему-то в китайских ресторанах всегда пустые залы. Слева, при входе в зал, играл одинокий саксофонист.

— Да, мы резервировали столик.

— На шестерых?

— На шестерых пока.

— Вот этот, пожалуйста.

Невысокая тихая девушка подала меню.

— Что мы себе закажем? Сегодня хочу напиток. Не была пьяной с самого дня рождения.

— А у меня вообще, считай, дня рождения не было. Но я как-то напиваться не очень хочу. Мартини — нормально. Только льда побольше.

— Здесь фирменный коктейль интересный. А какой меня Ришар научил коктейль делать! И приготовить, вроде, легко, и вкус такой необычный. Покупаешь замороженную малину и малиновый сироп. На дно бокала наливаешь сироп, сверху — шампанское, и бросаешь ягодку туда. А-а-а! Нам два коктейля «Мандарин»...

— Что-нибудь еще?

— Ничего пока. Спасибо.

Саксофонист заиграл следующую мелодию.

— Слушай, как я эту люблю. «Dance me to the end of love...» Сегодня такие мальчики будут. Приятели Джо. Возьми себе кого-то? Так и будешь до осени у меня деньги стрелять?

— Не, я не могу.

— С этим своим можешь? А если они не очень противные будут? Выпьешь побольше.

— Не очень мне нравится этот коктейль.

— Да, слишком крепкий...

— И резкий. Когда они уже придут? Девочка еще вообще не звонила. Она не может не прийти. Костя из агентства в два счета выставит.

Первым вошел Джо. За ним — трое его приятелей. Все в черных свитерах, рассеянные, немолодые. Жалкое зрелище.

— Привет, Джо.

— Привет, рад тебя видеть. Как у тебя?

— Отлично все. А ты как?

— Лучше всех. Познакомьтесь, девушки. Это Питер... Джефф... Его брат — Тим. С Катей вы уже знакомы. А это Алина.

— Очень приятно.

— Рад познакомиться.

Джо заказал себе пиво.

— Делает вид, что ничего не хочет, — довольно громко шепнула Катя через стол. — Даже перед друзьями не стыдно. И ресторан мог бы получше выбрать.

Алина уже знала, что Джо так и просидит весь вечер, чтобы не участвовать в оплате счета. Пока новые знакомые изучали меню, она старалась понять, кто из них кто, руководствуясь Катиными рассказами, слышанными накануне. Напротив сидел Питер, высокий старик с залысинами на сторону седыми волосами. Выглядел он довольно свежо, как для старика, хотя и был ровесником

Джо. Когда-то они вместе учились в Гарварде и снимали на двоих одну квартиру. Мультимиллионер, редупредила Катя. Старый, старый... Конечно, блеск в глазах, безупречная осанка, идеально белые зубы... Она не любила белые зубы у богатых стариков. Это как-то неестественно. Как будто оживший труп. Напоминало эти рекламные фотографии с белозубыми стариками и старушками. В жизни глянец исчезал, оставались эти белые зубы под пергаментными мертвыми губами.

— Марина скоро будет. Пробки на дорогах. Немного опаздывает.

— О, мы сегодня видели такую страшную картину. Машина сбила двух девушек, и они валялись на обочине. Мы проезжали мимо... Это было ужасно!

— В Штатах я такого не видел. Здесь я этих аварий видел, ну, наверное, шестьдесят или семьдесят.

— Джо, ты, как всегда, привираешь.

— Да нет же, правду говорю...

Катя снова зашептала:

— Питер попросил разрешения поухаживать за Мариной. Через Джо. Она ему позволила. Так что посмотрим на этого красавчика.

Джефф сидел справа от Питера. Напротив, рядом с Алиной — его брат.

— Тим. Тимофей, — представился он на русском. — Разрешите за вами поухаживать. Очень приятно. Я плохо говорю по-русски. Я учился в Пятигорск-ке. И потом в МГУ немного.

— Отлично говоришь по-русски, Тим. Ты, наверное, шпион.

Тим рассмеялся. Алина засмеялась в ответ. Засигналил мобильный. Богдан. Она сбросила вызов.

— Нет, я не шпион. Она сказала, что я, — сообщил он брату по-английски, — наверное, шпион. Я так хорошо говорю по-русски.

Черные свитеры оторвались на мгновение от изучения меню и заулыбались.

Через некоторое время появилась Марина. Она заняла приготовленное для нее место у окна, напротив Джо, и подставила Питеру щеку для поцелуя. Катя вытянула из пачки очередную сигарету.

Снова зазвонил мобильный. На этот раз Алина ответила:

— Что ты названиваешь? Тебе не ясно, если человек сбросил твой вызов. Я на работе. Потом перезвоню.

Питер оживился, объясняясь с Мариной на упрощенном английском. Та всем своим видом хотела показать, что с Питером ей безумно интересно. Когда-то она встречалась с Джо, но тот нашел себе какую-то бухгалтершу, и теперь Марина хотела ему досадить.

Официантки разливали соевый соус по белым прямоугольным соусницам. Алина разговаривала с Тимом.

Марине, видимо, надоело очаровывать Питера. Она обратилась к Джо на своем простом английском. Ласково, как только могла:

— Joe, why you don't eat?

— I'm dieting.

— You die tomorrow. Today you eat.

Алина с Тимом покатались со смеху.

— Ты слышала, как она сказала? — Тим приблизился к ней вплотную и шептал на ухо: — You die tomorrow. Today you eat.

— Честно говоря, она его до сих пор ревнует.

От Тима пахло дорогой туалетной водой, кажется, «Пур ом» от «Версаче», новинкой этого года. Он продолжал удивлять Алину каждой новой фразой.

— Нет, Тим, все-таки ты шпион, — Алина становилась все веселее. — Какой ты американец, ты русский! Уж я-то знаю.

Друзья перемигивались, улыбаясь уголками губ. У Джеффа это получалось особенно выразительно. В его взгляде ей мерещился знаменитый прищур Ричарда Гири. Наверняка он разбил много женских сердец. Этот пожилой красавец не тратил свою драгоценную энергию на болтовню. Казалось, он все время о чем-то мечтал или что-то вдохновенно обдумывал, что, по сути, одно и то же.

Тем временем Тим, заметив интерес Алины к Джеффу, продолжил очаровывать девушку с удвоенной силой. Теперь он считал по-русски, загибая пальцы:

— Один — час, два — часа-а-а, три — часа-а-а, четыре — часа-а-а, пять — часо-о-о-ов!

— Молодец, Тим! Если бы я была американкой, то ни за что не стала бы учить русский. Это очень сложно.

— Очень сложно!

Джо продолжал сплетничать, отрывая Алину от болтовни с Тимом.

Она сбросила еще два звонка.

Вскоре появилась девушка в легком костюмчике. Почему-то казалось, что она только что с тренировки по верховой езде. Может, это ее наряд. Может, осанка. Может, белокурые волосы, собранные в хвост. И детское лицо с правильными чертами, пушистые ресницы. Пытливый и настороженный взгляд...

— Как тебя зовут, девушка? — спросил по-русски Тим.

— Таня.

Она села с краю и молча оглядывала всех до конца вечера.

Алина даже не заметила, когда ушел саксофонист.

— Костя, наверное, сказал, что выгонит ее из агентства, если она не придет... — шепнул Джо на ухо Алине, впрочем, достаточно громко, чтобы слышала Марина. — Джефф, ты почему скучаешь?

— Жду своего Кунг Пао.

— О, это будет долго. Они еще должны его поймать и ощипать. Вчера они черт знает сколько ходили на рыбалку... И пиво они, кажется, сами варят. Как хорошо, что мы живем в Америке! Заказа нет? Мы пошли! Бай-бай! И вы скоро разоритесь.

— На тебе разоришься! Пей уже свое пиво и помалкивай, — кинула Марина, даже не намереваясь приглушать голос.

— У них сегодня просто жаркий день, — Джеф указал рукой на пустые столики. — Посмотри, сколько клиентов. Запапа!

— Попробуй сашими. Здесь на всех хватит. Угорь очень вкусный. Рекомендую.

— Нет, я сырую рыбу — нет. Я видел фотографии. Там мозг человека, пораженный...

— Джо, только не за столом!

— Но поскольку кое-кто перешел на японское, почему бы нам не заказать саке? Официантка, нам две бутылочки саке и пять стаканчиков.

— Да, и мне вилку десертную верните, пожалуйста.

Вилку Алины унесли вместе с тарелкой, а она хотела попробовать десерт, который на всех заказал Питер. Что-то похожее на печеные яблоки.

— Боюсь, когда тебе принесут вилку, мы уже переместимся в ночной клуб, — сострил Тим.

— Кстати, ночной клуб! Уже начало двенадцатого.

Мобильный Алины продолжал трезвонить.

— Ничего, немного опоздаем.

— А мне так хорошо, что не хочется уходить. Давно не была в такой расслабленной атмосфере. Знаешь, Тим, у меня и дня рождения, считай, не было.

То, что было похоже на печеные яблоки, оказалось киви в застывшей карамели. От теплого саке Алину развезло окончательно. Она уже лежала на плече Тима, прихиваясь к его запаху.

— Ты знаешь, знаешь? — дергал ее за рукав Джо, пытаясь склонить на свою сторону. — Только это тайна. У нас с Тимом проект.

Джо громко шептал в ухо:

— Титан! Нам продадут месторождение — шестьсот тысяч тонн титана. В Украине. И китайцы готовы это купить. Знаешь, сколько они за это заплатят? Два миллиарда долларов!

Тим неодобрительно взглянул на Джо.

— Не беспокойся, Тим. Ей я доверяю на все сто.

— Видел, Тим мне показывал какое-то письмо на телефоне? Так это был ответ! Да! Это был их ответ «да»! Давай за это выпьем. Тихонечко. Чтобы никто не знал. Это коммерческая тайна, ты понимаешь.

Из-за стола ее вытянула Катя:

— Не пей больше! Мы выйдем на свежий воздух, покурим, проветримся, — объяснила она Джо.

Как только они взошли на мостик, Катя завизжала:

— Ты что, дура, да? Все у тебя нормально теперь? Давай, начинай работать. Этот Тим, он «мультик», дура. Ни в какое сравнение с нашим ущербным Джо, который свои пару миллионов на всю семью размазал — и лишний раз в ресторане заплатить щемится.

Снова раздался звонок. На этот раз Алина не стала сбрасывать.

— Да, Богдан, алло... Нет. Я сегодня вообще не приду... Какая тебе разница?.. Ну, тогда собирай вещи и уматывай! Давай! Я пьяная? Я предельно серьезно! Ключ под ковриком оставишь.

Когда подали счет, Джо делал вид, что о чем-то напряженно думает. Об украинском титане или заброшенных угольных шахтах, которые сделают его мультимиллионером. Тим едва заметно вздыхал.

Алина смотрела на них, и все они казались ей похожими на крыс. Черных крыс со сморщенными мордочками. Две жирные крысы и две худые. Они потихоньку вставали из-за стола и останавливались у дверей, не решаясь выходить первыми.

Одна из крыс попросила всех стать ближе друг к другу и сделала групповой снимок.

2008–2012

Марк ЗАЙЧИК

(Тель-Авив)

СУДЬБА ЛЬВА ИВАНЫЧА

— Слушай, Лёва, ты Франца помнишь? Ну, немчуру эту длинную, а? — спросил Яшина начальник отдела спортивных игр Кружевной. Он был одет в заграничный свитер с белым оленем на груди. Сам он оленем не был. Когда-то он играл с Лёвой правым защитником. Ничего себе был бек, трудолюбивый и цепкий. Но не гений.

Яшин сам был из гениев, совсем недавно еще был гением. Перестал играть в сорок лет, набрал вес, стал меньше смеяться. Недавно ему отрезали левую ногу из-за гангрены, вызванной, по словам лучших специалистов Будапешта, облитерирующим эндартериитом. Почему специалист был из Будапешта, узнаете позже.

А пока в ведомственной клинике у Льва Яшина состоялся тяжелый разговор с лечащим доктором. «Меньше употребляйте мучного, товарищ Яшин, чтобы не набирать веса, и курить бросайте», — рекомендовал ему суровый врач Владимир Львович Гиршович, но это было невыполнимо. Лев Иванович Яшин любил поесть и выпить, потом покурить, и опять покурить. Любил посмеяться, любил оглядеть даму, любил игру в воротах и в поле. Но теперь многое осталось в прошлом. Врач Львович, старый знакомый, личный болельщик и душевный человек, сказал Яшину правду. Справедливости ради добавим, что алкоголем Лёва не увлекался никогда, не так как некоторые, во всяком случае.

Теперь ему было можно почти все, в воротах он стоять перестал. Курил он и раньше, даже в перерывах тянул папиросу-другую, даром что вратарь, тренеры закрывали глаза, потому что Льву Иванычу это не мешало, а помогало.

Яшин тяжело опирался на вишневую палку, к которой еще не привык. Он погрузнел. Протез был тяжелый, неудобный и необжитый. За окнами был октябрь, слякотный промозглый месяц. Стояла очередь в продуктовый магазин, Яшин видел окончание очереди из окна кабинета Кружевного. В комнате было тепло, но неуютно. Вечно этот Эдик чего-то чудил, мутил, начальствовал, обсуждал. А когда-то, еще совсем недавно, был надежный парень, прочный и жесткий в отборе. О мяче речь здесь идет.

— Как его забыть, конечно, помню, хороший парень, — сказал Яшин и вздохнул.

Кружевной, у которого по рукавам еще не сновали вверх-вниз веселые наглые бесенята, покосился на свое левое плечо с обнаженной полулежащей грудастой русалкой по имени Тоня, часто мигавшей ему, и сказал:

— Немчура едет, Франц Беккенбауэр, Лёва, встречай послезавтра. Вот талоны на водку... раков там, колбаска там, копченая рыбка красная... икорка, пиво, ну, сам знаешь, надо, чтобы по-человечески прошло, без лишних слов, ты понял? Без излишеств и загулов. — Кружевной тяжело вздохнул. — Франц этот теперь в «Блице» работает на свободной основе, не то что некоторые... Мог бы и не работать, пить пиво и все, деньги-то есть, денег не меряно у него, а пиво какое баварское, а?! Так нет, ездит, ездит, пишет и пишет, сын сукин, что ему надо, реваншист... В общем, Лёва, на уровне руководства Спорткомитета просьба к тебе, справишься, пожалуйста, он только тебя хочет интервьюировать в СССР, друг говорит... напишу для «Блица» статью про моего далекого русского друга Лёву. А что с Числом делать, никто не знает. Он хочет с ним

встретиться тоже, говорит, большой был форвард Число, да кто же спорит. Не подведи, Лёва, уж, и помни про лифт все время...

Эдик вздохнул.

Слово «лифт» отозвалось в сердце Яшина резкой болью, он взялся за угол стола своей невероятной правой ладонью, чтобы устоять. В лифте погиб по пьяному делу его любимый ученик из молодежи, кудрявый мальчик, которого никто не мог остановить в игре. Справлялись с ним защитники только грубостью, если успевали. Только лифт и остановил этого форварда.

После смерти веселого пацана, который Яшину был за сына, у него самого получались только дочки, его от тренерской работы отстранили, формулировка была, что «не хватает строгости тов. Яшину», это было правильно. Ну, какая там строгость у Лёвы? Сам-то он вырос недоедая, с четырнадцати лет у станка, а этим нынешним, конечно, все с неба упало: здоровье, образование, кудри, деньги, девочки, зарплаты. Вот и допрыгались, пацаньё. Эх.

Он кивнул Кружевному и вышел, припадая на левую ногу, в коридор с коричневыми стенами под фанеру, пол заскрипел под его шагами пожилого человека.

Немчура Франц, о котором шла речь в кабинете Кружевного, вышел к встречавшему Яшину ровно в полдень. Он прилетел прямым рейсом из города Мюнхен.

С Францем, которого все в мире звали Кайзером, вместе прилетела дама средних лет, которая оказалась фотографом и переводчиком. Дама была ничего себе, родилась в Казахстане и переехала в Германию в результате какой-то таинственной сделки на министерском уровне между ФРГ и СССР. Лёву она не заинтересовала, хотя женщин он очень любил. Просто было не до нее сейчас. Лёва был хозяином и играл эту роль широко, соответствуя лучшим русским образцам. Он волновался, будучи ответственным

за прием дорогого гостя. Ему очень хотелось курить, но в аэропорту было нельзя курить. Лева стоял у стула подле буфетной стойки с пригожей теткой в кудрях и наколке. Она Яшина, конечно, узнала и суетно переставляла пустые чашки с места на место. Звучала популярная песня Арно Бабаджаняна в исполнении Муслима Магомаева. «Кто никогда не бывал в этом городе светлом...» — громко пел бакинец. Лёва поправил галстук, никогда прежде он так не волновался, даже перед одиннадцатиметровым, который ему пробивал когда-то совсем юный Кайзер, молоко на губах не обсохло. Но тот забил тогда, несмотря на отсутствие опыта и авторитет Лёвы, его дарование было сильнее возраста и волнения.

А сейчас Франц Беккенбауэр был стройным, поджарым рыжим красавцем много моложе своих тридцати семи. У него было собранное безупречное лицо баварского немца. Он был тоже из гениев, неприкасаемых, как и Лёва. Франц был одет в элегантное распахнутое пальто и толстый вязаный шарф, накрученный вокруг высокой шеи. На него с любопытством глазели пассажиры и служивые люди аэропорта Шереметьево. Девчушка подошла сбоку к Францу с блокнотом, и он лихо, но аккуратно расписался в нем, вытащив из кармана дорожную авторучку и испросив имя.

Тут он увидел Лёву, все оставил, широко прошагал к Яшину и обнял его руками, как самого близкого человека. Лёва с трудом устоял на ногах, но на Франца этого можно было положиться во всем, потому что человек он был прочный и надежный от рождения и дарования. Сентиментальный Яшин, которому недавно стукнуло пятьдесят пять, прослезился от неожиданных чувств. Ничего в нем не осталось от прежнего огромного рукастого русского мужчины с веселым и доброжелательным лицом, только вот сентиментальность. Он и раньше часто плакал в кино и над разными книгами, которые читал, лежа в но-

мере в расстеленной кровати с дымящейся папиросой в зубах нагло врагам. Яшин любил чувствительные, как он говорил, книги: про войну, про разлуки и расставания, про встречи, про счастливые воссоединения любящих сердец. Франц тоже был из такой книги о счастливом прошлом, которое совершенно неожиданно появилось в нынешней сумрачной, посеченной московским дождем жизни Яшина рейсом из Мюнхена.

«Верь только жизни, Лёва, потому что она учит лучше всех книг», — часто говорил когда-то Яшину, сверкая безупречными белоснежными зубами в совершенных губах, его постоянный сосед по комнате в гостинице Валера Воронин, яркий, вороной масти парень, с пробором в волосах и безупречным римским профилем киногероя. Он был тоже из великих, тоже принадлежал к сонму людей, допущенных во все списки наилучших, был обожаем и неподражаем на поле. Все видел, все понимал, кого, чего и куда на поле, в этом он был схож с Кайзером, с которым его постоянно сравнивали. Но где был Кайзер сегодня и где Валера, который уже давно, лет десять как, лежал в могиле под бедной плитой на пригородном кладбище.

Они вышли на улицу по мокрому, но чистому асфальту тротуара. У машины Яшина, тогда уже полковника милиции, стоял постовой и что-то резко выговаривал неизвестному адресату в пластиковый микрофон, прицепленный к лацкану грубой синей шинели. Увидев подходящих людей, он прекратил разговор и отдал честь Яшину: мол, все в порядке, товарищ любимый полковник.

Постовой стоял по стойке смирно, когда они отъезжали. Он провожал машину взглядом и дальше, не шевелясь.

Они въехали в суматошную столицу России, проехав на красный свет большого перекрестка, который потом заменила громоздкая, не менее сложная для шоферского понимания развязка.

Поехали в Лужники, где за двенадцать лет до этого дня игрался прощальный матч в честь Лёвы: сборная мира против его эмвэдэшной команды. Морщинистый дядька в новом ватнике открыл им запасной вход, и все прошли внутрь: пожухлая октябрьская трава желтая и готовая к смерти, вода на олимпийских беговых дорожках до щиколотки, футбольные ворота без сетки — надежды мало, ее почти нет в это время года на огромном стадионе в Москве. Да и на другом стадионе ее тоже нет глубокой осенью. Тогда не было, во всяком случае.

Походили вокруг поля, вдыхая запах дерна, затем зашли в голую раздевалку, где когда-то переодевалась и готовилась к игре сборная мира, собранная по нитке, по игроку. Франц показал на место в углу, которое он занимал тогда. Даже деревянная вешалка над скамьей сохранилась. Гость обошел просторную комнату, заглянул в душевую, прикрыл форточку.

— А Игорь-то что, увидимся с ним? — спросил Кайзер издали. Яша понял без перевода и сказал, что «увидимся, конечно, Франц, не волнуйся». Сказал, а у самого все внутри похолодело: Игорь Численко, которого все, и противники тоже, любовно звали Числом, потрясающий форвард сборной, злой, легкий, реактивный, с чудовищным по силе ударом, сегодня был не в лучшем виде. Служить он не мог, хотя ему и предлагали не раз. Говорил он с трудом. Где-то работал, попадал в истории, пока ему все сходило с рук, спасало прошлое. Ведомство блистательно талантливого организатора Лаврентия Павловича Б-я и безусловно преданного делу партии Виктора Семеновича А-а тянуло и вытягивало своих бывших игроков из всех сил. Пока было что тянуть, потому что тело футболиста тоже всего лишь тело, брэнное и склонное к болезням, уж Льву ли Ивановичу с одной ногой этого было не знать. А?!

Ногу Лёва потерял за рубежом, точнее, в Будапеште. Приехал в сентябре на детский турнир в Ужгород почетным гостем. К нему был прикреплен пресс-атташе соревнований, высокий ласковый парень лет двадцати трех, который все пытался его накормить. «Вы не представляете, Лев Иваныч, какая здесь кухня, много народов, влияние Балкан и Азии, про напитки я уже не говорю, давайте отведаем, это невозможно представить себе, а?» — говорил он нараспев Яшину. Тот морщился, чувствовал себя не очень хорошо, пить не хотел, есть тем более. «Ну, потом, Сережа, тебя как по отчеству-то?» — спросил Яшин, чтобы перевести разговор. Парень, кажется, смутился, с отчеством его было что-то не то, хотя с виду и не скажешь, да Яшину было все равно, он людей делил на две нации: хорошую и не очень хорошую. Этот стеснительный шкет был из хорошей, и слава Богу. Да и с виду не подумаешь ничего дурного.

Приехала группа располневших мужчин, с которыми Яшин играл еще совсем недавно. Верховодил всем Михайло, щирый, шумный, веселый мужик, великий полузащитник, отпустивший усы. Он любил Лёву, вообще, здесь, в этом месте, все его любили, что было непонятно. «Все, едем в деревню, Левко, ходим по ягоды и грибы, там тебя ждут не дождутся, и стар и млад, дым коромыслом, завтра приедешь как новый», — сказал он с порога.

С всенародной любовью к Яшину в СССР было не очень просто. Народ относился к нему как к чему-то неизбежному, как к празднику 7 ноября, скажем. «Ну, надежен, ну, хороший, ну, признанный, ну, держит игру в руках, но с вратарями у нас все всегда хорошо, вон их сколько... И Хома был, и Серго, и Масло, и Пшено, и Баня, и Анзор, да и Макар не хуже, а команды нету, и все тут. А Стрелец великий в тюрьге мается, а Число вон где, а Валера что, совсем бедолага?!» — говорили фанаты игры.

Что делать с этим самым советским футболом и его героями, никто не знал. Их по-тихому любили, по-тихому поносили. Лёву Яшина временами носили на руках, потом сбрасывали с этих рук и с мраморного пьедестала, мол, надоел, устали, надо менять, а то какой-то культ личности. Лёва расстраивался, проваливал какие-то игры, переживал, уходил в дубль и вообще из Москвы, но всегда возвращался лучше прежнего. Такой вечный ванька-встанька, с дымящейся беломориной в огромной руке.

Как и всякий хороший вратарь, Лёва пропускал досадные мячи из разряда курьезных, но все-таки отражал и ловил, и брал несравненно больше и бесконечно труднее. «Ловит мячики, как пикирующих мух», — шутил про Яшина один его коллега, приняв бутылку шампусика, как называли полусухое «Советское шампанское». В Киеве этот напиток уважали, да и в Москве в определенных кругах, приближенных к футболу, тоже. Число вот только ценил коньяк от трех до пяти, а Валера, вечная ему память, просто обожал все, что наливается и пьется.

Короче, Лёва никуда с Михайлом и его соратниками не поехал, хотя там даже Федя-соха был среди них, примчался ради Лёвушки, и роскошный Вася приехал из-под Мукачево, но не было времени, простите меня, ребята. Да и силы у Лёвы были уже не те, конечно. Вечером его Сережа посадил на замечательный поезд Москва–Будапешт, и Лёва, простившись с чудным провожатым, человеком без отчества, но с недавно обретенной далекой родиной, покатила со всеми удобствами в столицу Венгрии. Там у него случился приступ, его отвезли в лучшую больницу, и решительный местный хирург отрезал ему часть левой ноги, другого выхода не было. В Москву Лёва Яшин вернулся с одной ногой, инвалидом.

Лёва спросил у Франца: «Может быть, выпьем с тобой, друг, за все хорошее?». Особых надежд Лёва не стро-

ил, все-таки гость был человеком германским. И не просто германским, а западногерманским. У Лёвы были свои понятия, конечно, но он полагался на свою интуицию, которая его всегда подводила. Но здесь все было без ошибок.

Женщина перевела его слова без запинки. Франц сказал, что с удовольствием. Лёва достал из внутреннего кармана пальто бутылку «Столичной», мужик сбегал за стаканом, и они с гостем приняли по 180 граммов беленькой и родненькой, как говаривал когда-то Валера, вечная ему память, бедолаге. Франц даже не поморщился, вот что значит стальной характер. У мужика нашлась сушка, половину ее Лёва протянул гостю, как близкому другу.

Оставшееся зелье Лёва передал мужику в ватнике, у того ходил кадык вверх-вниз, страшно было смотреть, какая жажда владела человеком к середине осеннего дня. А они уехали в гостиницу «Метрополь». Немецкие дорогие гости получили по номеру люкс, Лёва ждал на улице в машине с включенным двигателем, потому что было холодно. Он вообще стал мерзнуть в последнее время, возраст, наверное. В радиоприемнике пела Мария Пахоменко, Яшин очень ценил и почитал ее, она грела ему сердце всегда. «Над голубыми глазами озер», — пробурчал он. Вот в Ленинграде его всегда не любили, он это знал и помнил. Ну, что поделать, не судьба. Он верил в судьбу. Относительно Ленинграда и нелюбви к нему местных фанатов Лёва сам для себя решил. И переубедить его в обратном было невозможно.

А никто в Питере этом самом не знал и знать не хотел, что на ту злосчастную игру с Колумбией он вышел с сотрясением мозга. Потом ему добавил по башке их нападающий, выбежавший один на один из-за спины «Гуся». И все. Он и видел-то мяч с трудом. А замен тогда не было на чемпионатах мира. А голы все залетали и залетали, а болельщики все помнили их и помнили... И не было Лё-

ве Яшину прощения за это, как он сам считал. И на Путиловском, и на Лихачева, по его мнению, Лёву не чтили как голкипера. У них, одетых в клеши и нейлоновые плащи работяг, были свои герои, а не такие, с дырами вместо рук.

Когда Франц и дама, принаряженные, красивые, ну, совсем красивые, наконец вышли и сели к Лёве в машину, было уже три часа дня. Яшин повез их к себе на улицу героя Гражданской войны Василия Чапаева, 22. «Красиво как, — сказала дама по имени Раиса, — я ведь в Москве раньше только проездом была, листья желтые». Яшин согласился, что красиво. Франц Беккенбауэр наблюдал за московской жизнью как за надвигающейся атакой противника, очень внимательно. Он, в своих прямоугольных очках и полосатом галстуке, был похож на подающего большие надежды аспиранта кафедры математики в каком-нибудь Гейдельберге. Как будто это не он пятьдесят минут назад выпивал, не морщась, граненый, почти полный стакан водки у кромки пустого футбольного поля, стоя по щиколотку в воде, натекая на беговую дорожку, сделанную из неведомого русского пластика.

Еще через час сидели в гостиной Яшиных за круглым столом и обедали. Гостья походила по квартире русского вратаря и все осмотрела. Она пыталась сфотографировать их кухню, где Таня возилась со вчерашнего дня вместе с девочками. Лёва твердо сказал даме по-русски: «Вы знаете, Раиса, я не вмешиваюсь в вашу работу, но в этом доме вы фотографируйте только то, что я разрешу. Никаких сенсаций. Я вратарь сборной СССР на пенсии, всем доволен, и кухней тоже, и метражом, и всем-всем, кроме здоровья. Да и здоровьем тоже. Ферштейн? Щелкайте только после моего кивка, ферштейн?».

Никогда Лев Иваныч Яшин таким не был, уж с дамами точно не таким, это тяжелый протез и раздражение от усталости сделали его таким. Раиса испуганно закивала, что

понимает. Сделала только одну фотографию за столом Франца и Лёвы, на фоне окна с видом на улицу с поворачивающим желто-красным трамваем. Напряжение за столом сошло во многом благодаря нейтральному и любезному Кайзеру. Через двадцать минут они уже вспоминали свои встречи там и там, эпизоды, столкновения, травмы и вымпелы. Лёва заранее отстегнул протез, они щелкали раков из таза, который стоял на столике подле, пили чешское пиво, запивали водкой. Кайзер сказал, что знал про этот русский обычай, но не знал про его великолепное воздействие на организм. Он оглушительно хохотал, его движения были неуверенными, он отирался льняным полотенцем. Девочки Яшина смотрели на него с восхищением и сожалением одновременно. В услугах Раисы необходимости не было. Сидели допоздна. Уже потом Кайзер спросил про великого Воронина и ужасного Игоря Численко, к которым у него было почтение еще с тех лет. Число ему однажды так засадил с левой ноги, что Франц, по его словам, неделю хромал. «Без перелома обошлось, но болело жутко, это он мне ответил на подкат», — признался этот чудесный полупьяный немец. Число вообще нельзя было дразнить и раздражать на поле, да и в жизни, он становился неуправляем и мог совершить все, что угодно.

Лёва подобрался, он ждал этого вопроса. С этими гостями из ФРГ ничего нельзя знать заранее. Даже Кружевной не мог всего предусмотреть. И на поле в игре с Францем было так же. Вот все их ругают за организованность и предсказуемость, но это не так. Яшин их игру очень ценил, даром что реваншисты. «Красавцы», — говорил он про этих рослых мужиков в черно-белой форме. Но и свою сборную, с Эдиком и Никитой, Геной и Витей, Валерой и Лешей, он оценивал очень высоко.

— Валера попал в историю, никто ничего не знает, он вообще был плохой в последние годы. Понимаешь? Коро-

че, нашли его утром в январе неживого неподалеку от дома, где он жил. Вроде бы его ударили по голове и оставили умирать, но, если честно, он уже был настоящий синяк, — сказал Лёва трезвым голосом. Раиса перевела его слова как есть, запнувшись на слове «синяк». Но все-таки разъяснила в конце концов, растерянно оглянувшись на Яшина. Франц Беккенбауэр был непроницаем, смотрел на Лёву очень серьезно.

— А Число сажает деревья, садовод в смысле, — сказал Лёва. — Недоволен, второй раз женился. Совершенно не оптимистически настроен. Никого не хочет видеть.

— Очень жаль, вот с ним я как раз бы встретился, посидели бы, поговорили, ну что поделывать... — Франц огорчился, не настаивал.

Яшин представил себе встречу Игоря и Франца и поежился, он вообще был мирным, даже смиренным человеком, не любил конфликтовать. Хотя в гневе мог и ответить так, что мало не покажется. А Число был не таким, и выпив, становился опасен. Очень опасен.

Игорь, казалось, был необходим всем своим талантом и ужасом, потому что отпугивал этим тех, кто был по настоящему ужасен.

Он очень любил Яшина, наверное, за то, что тот был полной его противоположностью. Или за общую для них обоих приверженность к неприкаянности, неизвестно. Кто знает, почему люди симпатизируют и любят?

Когда Яшин лежал после ампутации уже в Москве, в ведомственном госпитале на восстановлении, к нему пришел проведать Число с ящиком коньяка и сеткой апельсинов. Коньяк он ногой задвинул под кровать, а апельсины положил на тумбочку. Дежурную медсестру он тихим голосом попросил уйти, и та немедленно без скандала вышла из палаты на четверых, в которой лежал Яшин еще с тремя бедолагами.

Число не остановили на входе, никто не сумел. Кто там мог остановить Игоря Численко, если сам Франц Беккенбауэр или не менее великий гросс Бобби Мур не всегда могли это сделать? Число сидел возле кровати Яшина и говорил ему, что вот, выйдешь, Лёва, отсюда и мы с тобой поедем в Калининскую область, там есть два озера, деревенька, будем рыбу ловить, я ушицы сварю, она полезна для всех болячек...

Лёва слушал его растроганно, тихонько плакал. Число аккуратно выпил полстакана коньяка, занюхал апельсином и ушел со словами: «Ты пей по утрам, Лёва, это лекарство, армяне делают, они очень умные, почти как евреи, тебе полезно».

Франц рассказал Лёве, что его друг по сборной, «да ты его знаешь, Герд, помнишь? Так у него была та же проблема, что и у Валеры и Числа. Его лечили, мы деньги собрали, потому что он все просадил, теперь тренирует детей, от пива отказывается, может, и Числу можно помочь?».

Яшин быстро сказал, что Число сам всем поможет, не надо ему ничего. «Только любовь, понимаешь?» — спросил Лёва. Неясно было, понял ли его Франц. Расстались очень поздно. Эдик Кружевной прислал черную ведомственную «Волгу» с молчаливым водителем, как и обещал, ровно к 21:00.

Франц и Раиса уехали как короли, как им и полагалось. Франц не пел, но Раиса говорила частушки на непонятном языке, кажется, казахском. Шофер держал ушки на макушке, не понимал, переживал. Потом Кайзер все подробно описал про встречу в Москве в своей газетке. Или это был журнал? Никто ничего не знал, одноразовое начинание. Он написал, что Лёва Яшин произвел на него впечатление стареющего льва. Про Пеле, Эйсебио, Чарльтона он тоже написал дружески, но совсем не так. Может быть, он так написал потому, что они все были моложе Лёвы? Неизвестно.

Еще он написал, этот человек, старательно учившийся на бухгалтера в юности, но ставший великим игроком в футбол, что Россия страна пугающая, увлекательная, опасная, засасывающая наивных, лукавых гостей и своих личных граждан непонятным для сознания круговоротом. Это было правдой. Он точно и верно написал про чужую страну, этот мужчина, ставший со временем совершенно седым стройным человеком профессорского неприступного вида. Ему не в чем было раскаиваться. Только про любимую, родную свою чудную Германию он не написал ничего. Мог добавить, без сомнения, читателям новых впечатлений в области романтического страха и великолепного кошмара.

Перед самой смертью с Лёвой Яшиным произошло очень важное в его жизни событие. Он съездил со сборной ветеранов в Израиль. В СССР начиналась совсем другая русская жизнь. Эдик Кружевной стал большим деятелем в Федерации и сколотил сборную для поездки в Средиземноморье, включив в делегацию Яшина. «Без тебя нельзя, тебя там очень ценят, помнят и считают великим, понимаешь? Ты там будешь для престижа», — сказал он. Яшин согласился не сразу, сказав, что не хочет, чтобы его видели в таком виде. «Не хочу жалости». Лёва там уже был прежде, побеждал, аккуратно ловил мячи от местных игроков, правда, один ему забил. Протез у Яшина сейчас был плохой, тяжелый, натирал ногу, поэтому Лёва ходил мало. Очень стыдился. Но ему позвонил Никита, добрый человек, потом позвонил Костя, суровый человек с медальным профилем, безжалостно затоптавший когда-то Число, и Яшин согласился, потому что жизнь ему не надоела еще. Число в делегацию не включили, он был не для выставочных поездок. С деревьями и кустами ему было легче, чем с людьми.

Лёве не нужно было умереть, чтобы услышать о себе хорошие слова. Жизнь Лёвы Яшина держалась в нем изо всех сил.

Яшу возил по Израилю небольшой человек, оказавшийся бывшим москвичом, бывшим одноклубником. Звали его Йосей. На лацкане его серого в полоску пиджака был прикреплен небольшой значок. Он сумел пробиться на новом месте и остаться у дел. Лёву он ценил и уважал, называл Львом Ивановичем, возил на большой машине, помогал пересаживаться на коляску и катал по разным улицам этой небольшой, но солнечной страны. Привез он его и к Стене Храма. Лев Иванович Яшин надел по всем правилам картонную шапочку и написал свою скромную просьбу. Вложил записку в стену, поцеловал камни и простился со Стеной. «Эх, Йосик, поехали обратно, жаль, что на колени там не встают, а то бы умолял на коленях». — «Там встают на колени», — сказал Йося, но не слишком уверенно.

На исходе субботы у Яшина было интервью на ТВ. У входа его ждал директор спортивных передач, элегантный красавец, стоявший по стойке смирно. Он был в костюме, белоснежной рубаше с итальянским галстуком. Ради английской королевы этот человек так бы не одевался, наверняка. Все мраморное крыльцо было занято мечтательными выдающимися девушками и дорогостоящими напитками на подносах, как мечталось Лёве в юности.

Бывший москвич Лёве все переводил, запинаясь, у него были проблемы с выговором некоторых звуков, но человек он был очень хороший.

Возле директора спортивных программ стояли по бокам две рослые секретарши в мини-юбках и держали подносы с напитками и закусками. Охранники телецентра отводили глаза от нарушения порядка. Старший охраны, отставной офицер еврейского десанта, вытянулся по стойке смирно и взял под козырек. Суббота кончилась в Иерусалиме. Телецентр находился возле ортодоксального квартала. Мужики в черных лапсердаках, подобрал полы их,

перебежали мелкими шагами улицу, торопились проститься с выходным днем. Все они были необъяснимо похожи на актера Чарли Чаплина.

«Выпейте, господин Яшин, чего-нибудь, мы вас любим и почитаем как великого вратаря всех времен, чем Бог послал», — сказал директор спортивного вещания, безупречный человек из кибуца на Голанских высотах. Йосик все перевел. Лев Иванович Яшин вытер лицо и выпил стопку местной водки, не чувствуя вкуса. Закусил. От второй стопки он без колебаний отказался. Никогда он так не волновался, даже на Уэмбли.

Его искусно загримировали, замазали глубокие морщины и напудрили землистого цвета щеки. Лучшая из девушек поднесла ему еще стопку водки. На этот раз Иваныч выпил и благодарно закусил. Директор спортивного вещания смотрел на него, как на родного брата после долгой разлуки. «Может, икорки?» — спросил он. Но не до икры было. Йосик повез кресло с вратарем по коридору в студию прямого эфира. За ними попевала гримерша. Встречавшие эту процессию люди кланялись Яшину в пояс, некоторые аплодировали.

Во время интервью, которое шло в прямом эфире в прайм-тайм, бывший вратарь очень волновался и переживал, что не все успел сказать. «Ну как, Йося, было, не опозорился Лёва Яшин-то?» — спросил он на обратном пути. «Горжусь вами, Лев Иваныч, — сказал Йося, — все пенальти вами отбиты». Лёва вытирал ладонью свое лицо. «Хорошо, что я не грешил на этих людей и на других тоже, так лучше мне жить», — подумал Яшин.

Напоследок ему сделали роскошный легкий протез в больнице Тель-Ашомер умелые мужики-болельщики. «Покорили вратаря любовью», — по словам этого самого Йоси. Ему со счастливыми улыбками починили зубы, работали суставы, вообще, подлечили старика, как он сам

сказал Вале по приезде домой в Москву. «Прожил я свою жизнь до дна, Валя», — сказал он жене, которая заругалась и потребовала от него оптимизма и извинений. Лёва ей кивнул, что и правда, «оптимистам живется легче». После этого Лев Иваныч самостоятельно, без посторонней помощи широко, уверенно шагнул из зоны пограничного контроля и оказался в вечности.

Геннадий КАЦОВ

(Нью-Йорк)

Из нью-йоркского цикла новелл «Метробусы»

МЕТРО. ТЕРАКТ

«О, боже! Я не хочу умирать! Я не хочу умирать!!!»

Средних лет афроамериканка истошно вопила: «O, my god! I don't wanna die, I don't wanna die!» — и если бы не она, вряд ли в вагоне обратили внимание на этот неприметный пакет.

В том месте, где он обнаружился, сидела, до выхода на предыдущей остановке сабвея, мусульманка в никабе. Черная с головы до пят молчаливая фигура с парой выглядывавших сквозь прорези глаз.

Рядом с мусульманкой стояла коляска, в которой спал ребенок, сразу вспомнилось мне, и вышла она минуту назад из вагона, толкая коляску перед собой.

Дверь за ней закрылась, поезд плавно отошел от станции, после чего, почти сразу, заорала фальцетом афроамериканка, сидевшая напротив того места, которое покинула женщина в никабе.

На опустевшем сидении остался непрозрачный пластиковый пакет. В нем что-то находилось, выпирая несколькими углами наружу.

Я уверен, паника бы не возникла, не начни женщина безумно визжать, указывая в ужасе рукой в сторону пакета.

Да, само собой, *see something — say something*, как уже много лет нас, пассажиров и пешеходов, предупреждают

повсюду городские плакаты и спецслужбы, но не биться же в истерику с выпученными от страха глазами, когда этот самый «самсинг» вдруг перед тобой возник.

А если это не террористический «самсинг», а мирный?

Без взрывчатки, в чем я был почти уверен.

Правда, мелькнуло далекое воспоминание, заученная текстовка для экзамена по гражданской обороне: при взрыве одного килограмма тротила происходит разрыв внутренних органов и возможен смертельный исход, если вы находитесь на расстоянии от 1 до 3,5 метров. А если вам повезло оказаться на расстоянии до 15 метров от места взрыва — гарантированы травмы и контузия.

Конечно, там ни слова не было сказано о том, как разрывает взрывной волной борта вагона, как скоро могут задымиться загоревшиеся обшивка и изоляционные материалы.

Как, в конце концов, выбраться из него, вставшего во время перегона, полыхающего и с выдуваемыми в мрачный туннель клубами дыма?

Естественно, как выбраться тем, кому повезет после взрыва уцелеть.

Такая чертовщина полезла в голову в считанные мгновения, поскольку пассажиры бросились от пакета в рассыпную, оказавшись по оба конца вагона. Мозг отказывался воспринимать все происходящее всерьез, но инстинкт самосохранения намекал, что лучше держаться от опасного пакета подальше.

И сделать это, по возможности, стремительней и центробежней.

В левом конце вагона дверь оказалась незапертой, и человек пятнадцать пытались одновременно протиснуться в узкий дверной проем. Давка, крики, невыносимые последние аккорды борьбы за жизнь.

Сильные отталкивали слабых. Кто-то пытался успокоить страсти, но его не слышали.

Пакет продолжал угрожать с пустого сидения.

Я с моим счастьем оказался в противоположном конце вагона. Дверь в соседний вагон была заперта.

Нас, похоже, обреченных, если рассматривать обстановку как боевую, столпилось тоже около пятнадцати человек. И до пакета, тут уже начинаешь верить в нумерологию и гематрию, было не больше пятнадцати метров.

То есть, на части не разорвет, но контузит и покалечит прилично.

Чушь какая-то. В обычный рабочий день, в мирное время, в самом неприглядном месте Нью-Йорка — в подземке. Умереть от теракта?!

Весь это бред усугублялся еще и тем, что психопатка, заметившая пакет первой, оказалась именно в нашей команде смертников, и тряслась в рыданиях, поминая бога и дьявола с частотой проклятий в ее адрес со стороны окружающих.

С одной стороны, чокнутую просили заткнуться, но с другой — кое-кто уже звонил по мобильнику в попытке связаться с родными для последнего «love you!» перед уходом на тот свет.

Дверь не открывалась. Связь не работала.

Все это лишь усиливало панику.

Бежать было некуда. Я зажмурил глаза, поддавшись общему настроению — слаб человек — и приготовился к худшему.

В это время в пакете сухо щелкнуло — и раздался оглушающий, разрывающий барабанные перепонки грохот.

Взрывная волна выгнула и вырвала вертикальные хромированные поручни, которые мгновенно вышибли стекла, или сама взрывная волна стекла и вышибла, от-

рывая по пути кресла и выворачивая наизнанку пол листом мёбиуса. А за всем этим из чернильной клубящейся глубины вырвались языки пламени.

Удушающий дым сгущался, заполняя преисподнюю мигом и выдавливая вместе с собой воздух в раскоряченные двери и в полые оконные проемы.

Воздуха категорически не хватало.

Свет потух.

Запахло паленой пластмассой, резиной, гарью и концом жизни...

Верней, все было категорически не так.

Я открыл глаза.

В это время отбросил рваное, грязное ватное одеяло лежавший под ним мужичок.

Всю дорогу он хрипло и громко распевал какие-то маршевые песни, похоже, рассчитанные для строевой подготовки, периодически поднимая край одеяла и оттуда выглядывая.

На нем была вязаная красная шапочка, из-под которой выползал наружу безумный мутный взгляд.

Вытянув ноги, мужичок занимал всю скамью, параллельную проходу, и чувствовал себя по-домашнему уютно, как и прочие городские бомжи, алкоголики и наркоманы, прятавшиеся от январских морозов в вагонах подземки.

Когда толпа с шумом разбежалась в противоположные от пакета стороны, мужичок высунул красную шапочку с таким же красным носом из-под одеяла и удивленно за локальным переселением народов наблюдал.

В какой-то момент он вытащил руку и, не отрывая взгляда от ломившихся в распахнутую дверь в конце вагона, сделал несколько глотков из открытой пивной банки.

Расплескал пиво по седой щетине подбородка и на выцветшую фуфайку, но одним пятном больше, одним меньше — кто считает.

После чего, оказавшись наедине с пакетом в освобожденном от пассажиров центре, практически, вагона, мужичок сбросил на пол одеяло.

Огляделся по сторонам. Не находя причин для беспокойства, он опустил с пластмассовой скамьи ноги в повидавших на своем веку светло-грязно-без-шнурков высоких ботинках.

Не спеша поднялся.

Поставил почти пустую пивную банку на сидение. Сделал шаг к лежащему в трех-четыре метра по диагонали от него пакету и стиснул его правой рукой.

Истеричка подавилась своим последним криком.

Те, кому еще не оторвали голову в битве за взятие открытой настежь двери, застыли в неестественных позах и тарасились в глубину вагона, показывая чудеса левитации.

Рядом со мной стоявший молодой человек стал нервно колупаться в носу. Крайне нервно и очень активно.

Было бы противно на это смотреть, захоти я отвлечься от того, что происходило в эти секунды с бесстрашным мужичком.

Тот взял пакет.

Героически открыл его.

Опустил голову, пытаясь разглядеть содержимое.

Затем, недовольный результатом, вывалил все составные части взрывчатого вещества, как и положено хозяину дома, на сидение.

Частью взрывчатого вещества оказался пустой бумажный стакан с пластиковой крышкой и торчащей сквозь нее трубочкой. Остальными частями были мятая коробка от халяльной, видимо, жареной куриной чет-

верти из KFC, салфетки, белые пластмассовые ложка и вилка с ножом, и прозрачный куб с остатками овощного салата на дне.

Короче, мужичку поживиться оказалось нечем.

Он еще раз посмотрел по сторонам.

Ничего не пытаясь изменить, в который раз убедился в том, что вокруг полно сумасшедших, и вернулся на скамейку, под родное мягое одеяло.

Накрыл им голову.

Надо думать, мгновенно уснул.

Поезд подошел к станции. Вагон очистился буквально в секунду. Надо или не надо было сходить на этой станции, но вышли все.

Выжившие, сконфуженные, не контуженные, еще не до конца осознавшие, что в пакете ничего угрожающего их судьбам не было.

Я покинул вагон. Двери за мной закрылись.

Мне захотелось оглянуться.

Вагон был пустым, на первый взгляд, безлюдным. Безучастным в своем запрограммированном вперед движении по рельсам.

Вдоль скамейки под одеялом лежал безумный спаситель нескольких десятков заурядных психов, рассредоточивавшихся сейчас по платформе сабвея молча и незаметно.

Стирая воспоминания о произошедшем как можно скорей.

Мне показалось, что невольный наш спаситель поднял руку над одеялом и помахал мне на прощание.

«А не пошел бы ты к черту!» — крикнул я про себя.

Было бы хорошо, если бы он меня не услышал.

Александр МОЦАР

(Киев)

СЕЛЁДКА

Стандартная кухня в городской квартире. Плита, мойка, несколько табуреток расставлены вплитык к столу. В углу сытой утробой урчит холодильник.

Дверь на балкон открыта, хотя на улице не жарко. Видны многоэтажки типовой городской застройки. С улицы слышны детские голоса. Внезапный порыв ветра надувает парусами тюль. Появляется он. У него в руках нож.

Он не торопясь подходит к холодильнику, открывает его и достаёт селёдку. И он, и селёдка смотрят друг на друга магическими неодошевлёнными взглядами.

Он подумал, что нож весьма похож на узкое, отточенное тело кильки, и похотливо рассмеялся.

Никанор Лобковый, облизнувшись, с наслаждением вставил лезвие ножа в анальное отверстие селёдки, после чего резко провёл плохо заточенной сталью от одного до головы рыбы, вспоров тем самым ей брюхо. Он испытал неизъяснимо наслаждение. Хрюкнув, Лобковый достал кильку-лезвие из плоти и заорал. Из распотрошённого чрева вывалились Кричевский и Иванов. Так начался самый страшный день трёх обозначенных выше героев, который закончился неизвестно чем.

— Чепуха какая-то, — истерично пробормотал Иванов, брезгливо снимая с себя селёдочные кишки. — Так не бывает.

— Ты ещё добавь, что это сон, и ущипни себя, — ехидно огрызнулся в сторону Иванова Кричевский, унимая ладонью кровь из рассечённого при падении колена и болезненно щурясь от боли. — Ну, что стоишь, принеси бинты и йод, — прикрикнул он на Лобкового.

— Бинты и йод, — опустошённо повторил Лобковый и, трусливо оглядываясь, засеменял в комнату.

Открыв шкафчик, где хранились лекарства, он достал требуемые Кричевским бинт и йод. Прислушавшись к кухонной возне и нечленораздельному гулу голосов, Лобковый покосился на телефон и решил на всякий случай вызвать милицию, а также пожарную команду и скорую помощь. Тень его руки пала на мобильный телефон и тут же испуганно одёрнулась.

— Лобковый, — прозвучал у него за спиной матерый голос Кричевского, — там у тебя в холодильнике водка, так мы её...

— Да-да-да... да-да, конечно, — любезно согласился хозяин покрытой изморозью бутылки. — Я сейчас. Вот, кстати, йод и бинты.

— Ну, тогда идём, — застенчиво улыбнулся Кричевский. — Это не я, между прочим, водку нашёл — строго предупредил он. — Я по чужим холодильникам не лажу. Это Иванов...

Иванов так же виновато улыбнулся при виде Лобкового.

— Вот-с, нашёл, — нерешительно сказал он. — Думал, там йод, рану, значит, обработать Кричевскому. Я, знаете ли, всегда йод в холодильнике держу. Так вот, открыл, а там вот-с.

— Доставай, доставай, голубчик, — хлопотливо проговорил Лобковый. — Надо того... — неопределённо закончил он и испуганно посмотрел на селёдку.

Строгим, пронизательным, осмысленным-пустым взглядом смотрела селёдка на живую, безоглядную, всегда голодную природу и не видела ничего.

С этим ничто она говорила. Её разговор — молчание. Её молчание впитывалось в мозги немислимым страхом перед этой пустотой, вакуумом, космосом, бесстрастным осознанием смерти. Древним свитком с гомерическим изложением истины на забытом языке.

Страх перед этой истиной окутал Лобкового и с каждой секундой перерастал в неутолимую жажду резать, расчленять, рвать зубами, хохоча над смертью, оскорбляя то, что превратилось из живого в предмет, в точку, за которой пустота.

— Интересная метафора, — пронзительно посмотрев на Лобкового, сказал Иванов. Жизнь как написанный текст. Смерть — точка, а посмертие — аллюзии, вызванные этим текстом. Второй смысл, и третий — и сколько вообще возможных метафизических пластов. Насколько талантлив был творец при жизни, настолько глубоко и разнообразно его посмертие.

— В большинстве случаев текст очень прост, — ответил на это Кричевский. — Что-то вроде — «я козёл», ну, или «коза» — и, собственно, всё, точка. И в таком случае, и перед точкой козёл, и после неё то же самое животное. Чистый индуизм.

— Позвольте, я ничего не говорил, — опешил Лобковый. — Что вы несёте? Какая точка? Какие посмертные аллюзии и козлы?

— Как не говорил? — изумился в свою очередь Иванов.

— Наверное, подумал вслух, — предположил Кричевский.

— И не думал я думать, — уверенно ответил Лобковый. — Вернее, мог подумать. Что-то неопрятное во мне разметалось, злоба какая-то, что-то такое, что захотелось сожрать её.

— Кого её? — любопытствовал Иванов.

— Селёдку, — испуганным шёпотом ответил Лобковый. И, указав холёным пальцем на продукт питания, добавил: — Боюсь её.

— Перестаньте, — прервал Лобкового повышенным голосом Кричевский. — Это всё ваши фантазии. Как можно бояться селёдки? Вы что, шизофреник?

— А я вам скажу как, — ответил на это Иванов. — Нужно выдумать этот страх и поверить в него. Страхи все выдуманы. Впрочем, и не только страхи, и радости тоже, — Иванов самодовольно ухмыльнулся, проговорив эту банальность, и неожиданно предложил: — А давайте сожрём её, и бояться будет некого, вернее, не будет кого.

— Давайте! — согласился Лобковый и присел за стол. Он подставил под бутылочное горлышко свою рюмку. Дождался, когда прозрачная жидкость заполнит тару, и аккуратно, чтобы не расплескать напиток, снял бортиком рюмки нависшую на горлышке каплю.

— А всё-таки я о сюжете продолжу, — угрюмо сказал Лобковый. — Вот хряпну и продолжу.

Но он не продолжил. За него продолжил Кричевский, хряпнувший, так же, как и Лобковый, водочку из рюмочки.

— Сюжет, друзья мои очень банален. Примитивный сюжет, — начал он, но был тут же возмущённо перебит Ивановым.

— Ничего себе, примитивный. Вывалиться из брюха селёдки — это, по-твоему, примитив?

— Я говорю о сюжете, а не о твоей привычке жить как положено.

— О какой такой привычке? — растерялся Иванов.

— Ты привык жить по определённым правилам. Но вот правила изменились, и кто-то решил изменить сюжет. Вернее, закуртить его позабористее.

— Что ты мелешь? — удивился рассуждениям Кричевского Лобковий. — Кто это тебя с Ивановым мог посадить в селёдочное брюхо? Ты вообще, соображаешь, что говоришь?

— Ну, кто? — развёл руками Кричевский, — автор. И автор, судя по сюжету, не очень талантливый. Подумаешь, селёдка, — ухмыльнулся он.

— То есть ты хочешь сказать, что мы — герои литературного произведения? — скептически ухмыльнулся Иванов.

— В общем, я не знаю, — нервно ответил Кричевский. — Во всяком случае, иначе объяснить происходящее я не могу.

— И не могли, — взбеленился Лобковий. — Выпил — закуси! Вот, хоть селёдкой закуси.

Селёдка прицелом рассматривала пустоту. Из пустоты раздавались несдержанные реплики. Пустота назревала скандалом, как прыщ гноем.

— Ты соображаешь, что несёшь? Вот я, нормальный человек. Руки ноги, голова, комплексы неполноценности, эмоции — и я это вот всё не я, а я простой набор букв, который расставил некий долбак. То есть я состою не из плоти и крови... духа, чего угодно, а просто из слов... как там, в песенке. Голова, руки, ножки, огуречик, вот и вышел человечек. Так, что ли?

— Постой, постой, постой, постой, Лобковий, — активно жестикулируя, перебил тираду Иванов. — Вот интересно, в запале несколько раз упоминался автор — и не в лучших словах, то он долбак, то он бездарь. Вот, по моему, и доказательство, что твоя, Кричевский, версия, что мы всего лишь персонажи — тупая и не состоятельная.

— Ты хочешь сказать, что автор не мог себя опустить в глазах персонажей и читателей? — скривился Кричевский.

— О, как быстро сообразил. Именно! — довольно выдохнул Иванов.

— Разливай, — задумчиво приказал Кричевский.

После того, как водка была разлита по рюмкам и мгновенно выпита, Кричевский, убедительно щёлкнув пальцами, произнёс:

— Может быть, автор и не такой дурак, как мы думаем? Может быть, он специально выписал этот сюжетный поворот, чтобы соригинальничать. Мол, вот эти из селёдки уже поверили, что они не персонажи, так как автор не может себя не уважать, вернее, может не уважать себя как человека, но как литератора — ни в коем случае, а он вот так завертел всеми нами, вот и выходит, что и он не долбак, и мы по колено в сюжете.

Кричевский нагло улыбнулся.

— Какой поворот? — спросил Иванов.

— Ну, вот этот. Мы его оскорбляем мизераблем за некомпетентность сюжета и, как следствие, низкий художественный уровень самого произведения, а это всего лишь подстроено для того, чтобы мы не догадались, что вся наша милая компания — всего лишь жалкие марионетки в его плохом писании.

— Но мы же догадались. Вернее, ты так утверждаешь, — прокомментировал это путанное заявление Иванов.

— Нисколечки. Все в сомнениях, вот и сейчас уходим от догадки, — ухмыльнулся Кричевский.

— А вот интересно, — задумался, потерев лоб, Иванов, — если мы литературные персонажи, то в реальной литературе, а не в нашем сюжете, существовали или нет Достоевский, Джойс, Есенин? Ведь если я не настоящий, но при этом помню стихи Есенина и Блока, причём в изрядном количестве, а не парочку для контекста, то... — Иванов не успел закончить.

— Гипертекст...

— Это же шизофрения, — заверещал Лобковый. — Таким образом можно что угодно доказать. До чего фантазия дотянется. Ещё Писание приплёл, — Лобковый мощно ударил кулаком о стол. — Я не чьи-то слова! Я человек. И тоже помню дофига Есенина и Блока. Всё это большая фантазия.

Селёдка вздрогнула. Взгляд её оставался неизменно глубок и космичен.

— Фантазия, да не наша, — веско ответил на истерику Лобкового Кричевский. — И о Писании поговорить можно, — наставительно сказал он. — С большой буквы Писании. И о том, что в начале было. Помните?

— Ой, только не надо наставительно повторять о глобальном авторстве нашего дурдома и приписывать его Богу, — рассмеялся Иванов. — Это так банально.

— А я не о мире как таковом, — возразил было Кричевский, но тут же был перебит Ивановым.

— Ладно, ладно, я понял твою мысль...

— И что же это за мысль?

— Мы живём под диктовку. Вернее, я не так сформулировал, — замялся Иванов. — Все мы плод чей-то фантазии, — Иванов шлёпнул себя ладонью по ляжке. — Такое всё махровое. Подумаешь, вывалились из селёдки. Может быть, и другие вываливаются и не из такого, да помалкивают от греха подальше. Вот, кстати, Иона тоже в брюхе рыбы три дня просидел. И что? Все считают это сказочкой с моралью. А ведь просидел. Уверен, что просидел. Вот теперь уверен. Уверовал.

— Всё, хватит, тихо!

— В чём дело, Лобковый?

— А давайте просто тупо сидеть и ничего не делать. Вот так, просто: мы сидим, и ничего не происходит. Никаких событий и никакого повествования. Такой вот финал не литературный. С дулей финал.

Трое сидят вокруг селёдки.

Ничего не происходит.

— Ох-ох-ох, уже вечер.

— Ну, и нафига ты это сказал?

— Чтобы с ума не сойти, расплываюсь я как-то. Бесмысленно всё. Как будто в темноте.

— Ага, поверил. В темноте, значит. Как будто. Как будто книгу закрыли, не дочитав, и всё.

— Скорее, не дописав, — ответил Лобковый. — Я тут в тишине о Боге подумал. Ведь если Бог дал нам свободу, то мы свободны, а иначе, зачем мы ему? Зачем ему солдатики в коробочке? И не управляет он нами, не дёргает за ниточки. Бог в роли старенького мудрого кукловода смешон и не нужен. Я вот что думаю. Все пути, по которым мы движемся, придуманы, запланированы нами же самими. Если наша жизнь и вправду написана, то этот текст написан нами же, и ещё до рождения. Ведь всегда перед воплощением — замысел. А дальше? Всякий знает, что замысел и результат воплощения его часто разные. Часто бывает, что не получилось. Отвлёкся. Отвлекли. Забыл и не можешь вспомнить. Интуиция, промысел Божий — это всё наша древняя память о первоначальном замысле жизни. О творческом импульсе. О первом слове. О Боге. И ещё...

— Заткнись.

— Да замолчите вы или нет? А то он ещё, не дай Бог, что-нибудь напишет.

Олег НИКОФ

(Киев)

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

«Антисемит»

Это было, пожалуй, самое обещающее время в моей жизни... как, впрочем, и в жизни всего моего поколения. Бодрый и обаятельный Горбачёв, появляясь на телеэкране практически каждый день, внушал веру в то, что до счастья осталось совсем немного.

Была ранняя и тёплая весна. Я, пытаюсь стать филологом, ко второму семестру успел не только освоиться в «девичьем царстве» филфака, где парни на вес золота, но ещё и влюбиться.

Среди одногруппниц Элька — Эльвира Мацановская — выделялась звучным сочетанием имени и фамилии, а главное, парадоксальным несоответствием внешности и темперамента. Хрупкая фигурка и ахматовский профиль никак не вязались с огромной неуёмной энергией, которая проявлялась в каждом слове и поступке девушки. Я обожал её! Обожал её смех, огромные умные глаза, «игрушечные», тридцать пятого размера туфли... И то, что она не позволяла мне даже мысли о сексе — это мне тоже в ней нравилось. Смущало только одно: Элька, дочь заместителя министра мясомолочной промышленности республики, была еврейкой. В силу сложившихся стереотипов, этот факт никак не укладывался в планы моих роди-

телей, которые не то чтобы не уважали евреев, просто опасались чего-то неведомого, связанного с ними. Но я был влюблён, а для любви, как известно, преград не существует. Мы наслаждались каждой проведённой вместе минутой, ходили на пары взявшись за руки, легко и с удовольствием учились и ловили завистливые взгляды одноклассников.

В те славные, устремлённые в будущее времена, студентам вменялось в обязанность посещать раз в неделю так называемый «кураторский час», неизменной составляющей которого была политинформация. На одном из таких занятий я, как обычно, сидел с Сашкой Шереметом на галёрке и играл в «балду», пока старательные одноклассники рассказывали о забастовках в США и коварных планах НАТО. Куратор, отбывавший эту повинность с не меньшим цинизмом, чем студенты, старательно изображал искреннюю заботу о нашей политической осведомлённости. По этой причине, видимо, заметив, что мы с Сашкой игнорируем информацию о размещении крылатых ракет в Европе, он прервал докладчицу...

— А вот Никифоров, он лучше всех всё знает... Да, Никифоров? Вот встаньте и расскажите, что вы подготовили на сегодня!

Я медленно встал. Выдерживая люфт-паузу, пока мне передавали свежую газету, поймал косым взглядом на странице статью в жирной рамке. Выхватив первую строчку этой статьи и делая вид, что материал мною проработан дома, бодро начал, глядя прямо в глаза куратора:

— Вчера, девятого апреля 1985 года, — скосил глаза в текст и понял, что надо менять интонацию, — после продолжительной тяжёлой болезни... — мой голос стал таким же скорбным, как у Кириллова, когда он объявлял о смерти генеральных секретарей, — скончался... выдающийся советский физик... — трагическая пауза, — Бенцион... — невероятным усилием сдерживал я спазм сме-

ха, — Моисеевич... — аудитория прыснула хохотом, — Вул. «Вул» я скорее прокудахтал, чем произнёс, потому что сдерживаться сил уже не было.

Группа ржала так, что куратор вначале не нашёл, что сказать. После он постучал ладонью по столу и заметил:

— Это, конечно, одно из самых важных политических событий в мире... Садитесь.

Я сел — и вдруг увидел, что Элька решительно движется в мою сторону. Резкая, как сама Элька, пощёчина, отвешенная ею, наверное, первый раз в жизни, была нокаутирующей.

— Скотина! — громко, скорее даже звонко, произнесла Эльвира Мацановская и метнулась из аудитории...

В июле 1985 года меня специальным вузовским призывом «ушли» в армию. Что-то подсказывает, что всемогущий Борис Михайлович Мацановский — с подачи Эльвиры Борисовны — приложил к этому свою весомую руку.

Где ты теперь, моя гордая Элька?

Я больше не умею это слушать....

Я уже не могу лежать на боку — ни на левом, ни на правом. Так люди узнают своё устройство: когда впервые болит сердце, когда прихватывают почки... Вот и я чётко понял — откуда растут ноги. Точнее, где бедренные кости примыкают к тазу.

Жёсткий пол не позволяет лежать на боку дольше часа. Лёг на спину. Шапка — машинной вязки, плотная, купленная когда-то в Праге, бережёт макушку от «сталагмитов» шубы на стене. Я натягиваю шапку на глаза, чтобы свет не мешал... Надо заснуть.

Сегодня 30 декабря. Холод за окном жуткий, градусов 25. Я застёгиваю воротник куртки, и остаётся совсем немного незакрытых мест на лице. Лишь столько, чтобы своим дыханием не увлажнять мех воротника.

Пытаюсь согреться. Мелкие-мелкие снежинки, продуваемые ветром сквозь плохо пригнанные рамы окна, словно парашютисты — медленно опадают на мое лицо. Я чувствую, как на открытых участках щёк они мгновенно тают, даже не оставляя влаги. Мои глаза закрыты, и я пытаюсь поймать, уловить каждый такой привет из-за окна.

Надо заснуть.

Перед глазами — снег. Отчего-то вспоминается тот школьный вечер в начале восьмидесятых, когда я, впервые переборов мальчишеское стеснение, пригласил на медленный танец Маринку. Танец был долгим, играла — естественно — «Машина времени», «Снег». Я впервые «так» прикасался к (улыбаюсь) женщине, чувствовал запах её тела, волос. Тогда тоже была зима, и мы выходили покурить за угол школы. Вечер только начался, и я, уйдя на перекур, не мог справиться с нахлынувшими на меня чувствами... Помню, мне казалось тогда — всё, можно умирать, я видел счастье.

Я вернулся, надел верхнюю одежду и вышел на улицу. Сел на лавочку у входа и стал мечтать: «Так, женимся-то мы, женимся... Я — в военное училище, она — в медицинский. Потом — куда Родина пошлёт...». И снежинки кружили сальто вокруг моих мыслей и жёлтого фонаря, освещавшего совсем немного сумрачного пространства.

Когда Маринка вышла с подружками из школы — я так и сидел на лавочке. С наветренной стороны снег покрывал меня, как зубная паста щётку. Маринка стряхнула его варежками. Мы ещё долго шли к её дому и молчали. Она сама взяла меня под руку, и ничего, кроме её руки, я не чувствовал больше. У дома она остановилась, глянула на часы и, вдруг резко и неумело поцеловав, вбежала в подъезд... Дверь закрылась, издав резкий металлический хлопок...

— Двисти сорок пэрша, пидъём, млять, и на корыдор! — одновременно с грохотом задвижки врывается в мой сон голос попкаря.

Нас — шестнадцать человек в камере, рассчитанной на восьмерых. Так что лежим мы вплотную друг к другу, в зимней одежде, и сразу встать получается сложно.

— Бигом! Млять, я шо, повинэн чэкаты? — кричит попкарь и постукивает резиновой дубинкой себя по ладони. Мы выбегаем в коридор. Становимся лицом к стене. Коридорные осматривают камеру. Мы ждём, пока к каждому из нас по очереди подойдёт с металлоуловителем местный «сапёр». Он подходит ко мне, проводит вдоль спины, по ногам...

— Розвэрнысь.

Я разворачиваюсь к нему лицом. В районе сердца прибор издаёт тревожный писк. — Шо у кармани? — спрашивает спокойно «сапёр». И тут я вспоминаю, что вчера вечером, в надежде на сегодняшнюю встречу с адвокатом, написал на фольге из пачки сигарет послание на волю. Там — чёткая инструкция моим сотрудникам — что и как делать, пока я тут. Это ж надо было дураку написать маляву на фольге!

«Сапёр» лезет в карман свободной рукой. Я успеваю увидеть короткие, меньше сантиметра, выпуклые ногти на толстых обрубках пальцев. Он не нащупывает свёрнутый в несколько раз тонкий кусок фольги.

— В тэбэ щё, якась операция була? — опять спокойно спрашивает он...

— Нет, — отвечаю я и, понимая, что будут раздевать и искать, пока не найдут «залызяку», сам вынимаю блестящий квадратик из кармана...

— Кыдай на пол, млять...

Я опять стою лицом к стене и успокаиваюсь, когда вижу, что никто не стал поднимать «маляву», видимо, приняв её за случайный кусок фольги.

— В камеру, бегом, — командует молодой старлей, довольный, что утро прошло без ЧП.

В «хате» мы обнаруживаем обычный после утреннего шмона беспорядок: личные вещи, выпотрошенные из кульков и сумок, разбросаны по всему «подиуму», следы обуви попкарей на них — как печать на документе о нашем сегодняшнем статусе...

Покурив, я снимаю обувь, ложусь на своё место — до прогулки есть немного времени... Застёгиваю воротник, натягиваю шапку на глаза. Заснуть бы... И где-то далеко-далеко, тихо начинает играть музыка...

«Сегодня выпал снег, белым-бело. Взрослые тоже любят хорошую погоду, но они думают, размышляют, а мы словно пьём её. Взрослые, увидев снег, думают, что будет слякоть, чувствуют на ногах мокрую обувь... А хватит ли на зиму угля? Я же чувствую одну только белую, прозрачную, ослепительную радость... Почему? — А просто, снег! Я иду медленно, осторожно, мне жалко топтать эту радость. А вокруг всё играет, сияет, сверкает, переливается, живёт, и во мне — тысяча искорок... Как будто кто-то рассыпал по земле и в душе моей алмазный порошок. Посеял, и вырастут алмазные деревья, родится сверкающая сказка...»¹

Прошло уже много лет с той поры, а я так и не могу слушать «Машину»...

¹ Из магнитоальбома «Маленький Принц», группа «Машина времени».

Александр СПРЕНЦИС

(Киев)

АРАБЕСКИ

Насущное

Сейчас лучше всего не думать, не писать, не общаться. Читать только вывески и объявления. Смартфон открывать только тогда, когда знаешь, что придёт повестка в суд или дата визита к врачу.

Не смотреть собеседнику в глаза. Днём сидеть дома с задёрнутыми шторами. Разговаривать тихо и медленно. После каждых пяти слов говорить «извините!». И главное — правильно молчать! Это принципиально важно! Главное — молчать надо так, чтобы не вызывать у собеседника подозрения! На твоём лице должны пребывать безмятежность и нежелание болтать на всякие там темы... «Меня нет и не будет!..» — вот высший пилотаж ответственного человека!

Не выделяться! Даже если ты гений! Ну, не проявится сегодня твой гений — ничего страшного! Быть как все — гораздо важнее, чем быть непонятно кем. Нечего задирать нос!

Выходя на улицу, улыбайся! Тогда все будут знать, что ты не оставил труп на чердаке соседнего дома.

Счастливый человек — надёжный человек! Главное — не ссориться с серьёзными людьми! Они — всегда правы! А если даже и нет, то всё равно не твоё дело, почему они правы! Смирись и радуйся!

В паспорт заглядывай не реже чем раз в три дня. Открыл паспорт, посмотрел, сверился с зеркалом: а вдруг это не ты, а кто-то другой? Кто знает? В этих вопросах нужен независимый свидетель — жена, соседка или любовница.

Ты — некомпетентен, и с этим не надо спорить! Может быть, тебя вообще нет, и ты всего лишь конфигурация чего-то такого, о чем и знать не положено!

Поздний ужин

Ужин я клевал без всякого удовольствия. Уныние висело туманом в кухне. Вилка — цок-цок... В голове крутятся невесёлые песни вроде «Прощай, радость, жизнь моя». Пустота — мой собеседник, напарник и друг... Вилка — цок-цок...

Раньше были вопросы. Теперь вопросов нет, одни ответы... За тебя всё решили раз и навсегда. Прошлое стало будущим. Вилка — цок-цок...

В кафе

Дождь арестовал меня в кафе, и я, вкушая чай, созерцал струи дождя, танцующие на асфальте. Я вдруг понял, что чуда не будет. И помощи ждать неоткуда...

Мне стало грустно! «Небесные сферы» и «небесные силы» так и останутся красивыми словами на бумаге...

«Стучитесь — и вам откроют». Стучался. Не открыли... Это значит — пустота. Пустота пустот... Бесцветные поля пустоты.

А чего же ты хотел? Ведь недаром говорили мудрецы Востока: «Нет у человека опоры. Никакой».

За окнами плывет мир... Реки, озера, моря, океаны пустот... Всюду Царство Пустоты... Остались только я, печаль и Пустота...

Vesper

Ане Мирводе

...Ты спрашиваешь меня о смысле жизни, о том, что наиболее важно в жизни человека...

И мне кажется, что я смогу ответить на твой вопрос...

(...день угасал, и огромное солнце опускалось за горизонт...)

...Ты знаешь, я раньше думал, что знаю ответ на этот вопрос: всё окружающее мне указывало — вот нужно то, а вот нужно это... Успех, умение общаться, ухаживать, работа не хуже, чем у других, а может, и лучше, если повезёт! Умение реализовывать себя, карабкаться вверх: вообще и так, по лестнице...

Еще работать и трудиться, и еще раз трудиться до полного изнеможения, до седьмого пота!..

(...волны моря лижут ступни ног... а легкий бриз слегка касается твоей щеки... ветер уже холодноват, но всё ещё приятен в своих порывах...)

...Не то чтобы я сейчас думал иначе, но... немного по-иному... поменялся ракурс, взгляд стал другой на некоторые вещи... Даже думаю, что вот это «чуть-чуть» может быть весьма радикальной сменой взгляда на жизнь и на мир вообще. Но я еще подумаю!..

(...ты идешь рядом, красивая и спокойная...)

Да... ты просишь уточнить, что я имею в виду? Скажу: мне кажется, что для человека важны простые вещи — листья, река, закат, небо, деревья, эти мягкие облака, легкий бриз...

(...берег заканчивается, и начинается пригородное шоссе... ты стряхиваешь песок и надеваешь босоножки, а я держу тебя под руку, чтобы ты не потеряла равновесие...)

...В твоей воле — идти или брести вот просто так — вдвоем или в одиночестве. Или как мы сейчас с тобой... по теплому песку, рядом с волнами прибоя... а нет — сидеть у края дороги на лавочке и пить чай из стаканчиков...

Но... важно, чтоб и завтра, и послезавтра ты или ты вдвоём с кем-нибудь тоже могла пойти и насладиться летним вечером... и завтра и... всегда!

Я преувеличил? Ну да... но это так правильно!

...Бродить по берегу реки или моря, любоваться горячей полоской горизонта, прозрачной синевой неба, неземная красота которого вызывает мысли о Боге!..

(...мы обулись и пошли к набережной... вечер стал темнее и гуще...)

Конечно, я говорю о том, что ты знаешь или о чём догадываешься... конечно, но я бы добавил ещё своё, личное, так как я все это понимаю...

...Мне кажется, что неправильно всё это, т.е. всю эту фантастическую красоту и всё, что окружает нас, воспринимать как антураж, как дополнение к нашей жизни — успехам, достижениям, победам, поражениям и прочая, и прочая!..

Это не должно быть развлекательным фоном, на котором разворачивается драма нашей жизни, театра людских страстей!..

(...по всей набережной и прилегающей местности вспыхнули огни, и город стал жить вечерней жизнью... Уже почти нельзя было что-то различить в вечернем сумраке: то ли корабль, то ли какая-то шхуна или лодка, и лишь огни вырывали предметы из черной синевы...)

И теперь ты мне скажи — что значит эта красота и зачем она?

То, что вокруг нас, то, что нас окружает — нам не принадлежит — оно ничье, оно свободно и живет своей жиз-

ню! Его нельзя ни к чему пристегнуть или прикрепить. Эта непостижимая реальность имеет к нам отношение лишь самую малость, не больше!

Мы лишь наблюдаем или наслаждаемся, или страдаем в этом мире и надеемся, что это всё — неспроста, что это всё для нас, любимых, белых и пушистых!.. Я не против, но это, скорее всего, иллюзия, марево, сон!.. Реальность, то есть то, что есть вокруг — ни для чего и ни для кого. Она — ничья.

У неё нет хозяина и нет постоянного двора; нет, потому что её дом — везде, она — хозяйка всего, всех пространств и всех времён!

И она, как правило (или закон), не сильно привечает своих гостей — то есть нас с тобой, нас, всех живущих на этой планете. Она принимает всех, но при этом никого не любит; она безучастна ко всему на свете. И даже к самой себе. Да-да, даже к себе! Это не плохое или хорошее. Это просто — безнадежно для нас всех, для всех любящих её детей, как нас называют — детей Природы!

(...симфония вечера разрасталась — то там, то здесь резкие крики молодёжи нарушали душную густоту вечера, а из окон домов были слышны крики детей, не желающих уснуть... гирлянда огней проезжающих машин извивалась лентой до самого горизонта...)

И что же из этого следует, спрашиваешь ты...

Скажу так: ты смотришь, ты видишь — и этого достаточно!

Ты слушаешь и слышишь — и этого тоже достаточно! Больше ничего не нужно!

С этим трудно согласиться, но это так. Где бы ты ни была, чтобы ни делала — ты всего лишь та, кто смотрит и слушает.

Смотри и слушай. Не нужны никакие мысли, смыслы, значения, суждения и прочее.

Ты ничья — и мир ничей. Мир сам по себе — и ты сама по себе. Но вы — нераздельны!

Да, ты права: это нечто вроде медитации...

Но я бы хотел обойтись без терминов...

Если продолжить, то возможно пребывание в том, что я бы назвал сердцевиной бытия! Это постоянно изменяющаяся основа реальности, вечно текущая и неуловимо изменчивая!..

Мы можем её только ощущать (слух, зрение) и быть благодарны им за это!

Пора было прощаться: я провел тебя до самого дома, поцеловал руку и пошел в сторону дороги...

Огни проезжающих авто, как фонари, надежно освещали мой путь...

Вопрос

Я подошел к... Великому Шакьямуни и спросил:

— Как же это так? Почему всё так? И когда это закончится?

Шакьямуни взял меня под руку и отвел в сторону.

— Послушай, давай присядем и спокойно поговорим... Я понимаю твоё состояние и строй твоих мыслей. Подобные мысли и настроения не могут не волновать разумного человека. И здесь очень важно не потерять самообладания, сохранить душевное равновесие. Думаю, ты согласен с этим?

— !..

— Да. Теперь я вот что скажу: никто — я подчеркиваю — никто, никогда и нигде не ведаёт, и не владеет окончательным, или последним знанием о началах и концах этого мира. А также началах иных миров. Будущее — туманно и неопределенно. Смыслы — ситуативны. Всё, что происходит — результат борьбы или взаимодействия

гармонии и хаоса. Хаос — это стихии, а они — властелины мира и больше никто. Реальность — это гигантская таинственно-неведомая страна, не ведающая о самой себе, не понимающая своей силы и не понимающая саму себя, ибо неизмеримость и безграничность всего, что происходит, непостижима, и её невозможно окончательно осмыслить. Слишком много всего! Мир слишком избыточен. Мир сказочно изменчив и ежесекундно приращивается смыслами. Как бы человек ни напрягал весь свой разум, интеллект, всё равно в понимании событий он будет всегда позади!

— Так что мне делать?

— Мой совет: делай, что хочешь: все равно для Большого времени твоя деятельность смысла не имеет — будущее незаметно рассеет все твои деяния. Только исключи из своих действий надежду. Она способна лишь запутать твой внутренний мир. Хочешь что-то делать — делай. Не хочешь — отдыхай. Или — созерцай что-нибудь. Ты мне не поверишь, но я тебе скажу — ничто или никто в этом мире или Вселенной не владеет окончательным смыслом. Его просто не существует. Все смыслы — относительны. И поэтому успокойся и пойдти отдохни. А мне пора. Пока, юноша!

Шакьямуни похлопал меня по плечу и ушел... Я же медленно побрёл неведомо куда.

В конце пути

В старости есть своя прелесть — страсти уже меньше одолевают тебя, не сбивают с толку, и ты менее зависим от них!

...И когда ты любишься золотом осени, то проходящая красивая женщина уже меньше отвлекает тебя: впечатлила, но не больше... Твоё сознание и ум продолжают пребывать в созерцательно-возвышенном настроении...

Жизнь как бы подсушивает тебя, убирает лишнее, делает всё вокруг более прозрачным и даже невесомым... проступает основа твоей жизни, её суть, — ты в точке, которая на краю жизни и смерти, в полосе перехода от бытия к небытию... это как открыть дверь и закрыть.

Остатки страстей продолжают обуревать твою душу, а как же без этого? Всё, что было — всё остаётся! И боль, и отчаяние. Но порывов и любовей все меньше, а страданий и боли — всё больше. И это есть непреложный закон бытия!..

Функция

Есть в смартфоне такая функция: «Всё закрыть».

Да, вот такая интересная функция.

Мне кажется, что у человечества тоже есть такая функция: «Закрыть всё».

В том числе и себя. Причем «закрыть» окончательно...

Сергей КОРОЛЁВ

(Аугсбург)

ЧЕТВЕРТЫЙ АРХИВ

I

Чертенюк седьмого порядка Микитка ловко прихватил Сан Саныча за локоть и потащил вдоль унылых коридоров канцелярии. Полы в здании были выложены старым истертым паркетом. Местами плиток не доставало целиком, местами они были сколоты наполовину. Краска служебного светло-зеленого оттенка шелушилась и обнажала реликтовые слои предыдущего колера. Серая от старости штукатурка осыпалась, стыдливо оставляя толстый слой пыли на подоконниках. Адская канцелярия была местом обжитым, по-домашнему уютным, однако здесь добрую тысячу лет шел ремонт, на завершение которого уже никто не надеялся.

Микитка, долговязый черт с облезлым, праздно болтающимся хвостом и прыщавой физиономией, чем-то походил на гимназиста-переростка.

— Какие люди хаживали по этим коридорам, какие люди!.. — тараторил он. — Один Ошо чего стоил!.. Мощный был старик! Направо, пожалуйста.

Сан Саныч повернул направо. Из ближайшего кабинета раздался рык и повалили клубы дыма.

— Фаина Иннокентьевна, сколько раз можно повторять, здесь не институт благородных девиц! На работу

будьте любезны являться голой! — ревел демон-полу-волк и судорожно чесал задней лапой за ухом. — Вы же не по благу сюда попали! У вас в лучшие времена, помимо мужа, до трех любовников водилось! Это не считая мелких связей без видимой сексуальной ориентации. Кого вы стесняетесь?

— Не могу я, Амон Викторович, не могу. Вас я душой и телом люблю, — голосила Фаина Иннокентьевна и почесывала Амону Викторовичу хребет, — но посетители ваши — сущий кошмар! Они воняют! Как можно в этой вони голой сидеть! Я женщина! Скажите им, чтобы одеколоном пользовались!

— Вы, Фаина Иннокентьевна, не женщина, а дитя малое! — завыл Амон Викторович и лизнул Фаине Иннокентьевне ногу. — Это же ад! Ад! Понимаете?.. А посетители мои — демоны! Они должны плохо пахнуть. У них работа такая!

Сан Саныч невозмутимо шагал мимо кабинетов, слушая беспечную болтовню Микитки.

— А римских Пап сколько тут побывало? Уж никак не менее двух сотен! И каждый Папа — глыба! История в лицах! Теперь в лифт, будьте любезны.

Сан Саныч вошел в лифт. Настенные канделябры в виде драконов держались на честном слове. Позолота на подсвечниках облетела, лампочки электрических свечей почернели от копоти, но одна всё же горела. Микитка нажал подземный 82-й этаж и продолжил:

— В этом лифте я сопровождал саму Елену Петровну Блаватскую! Какая женщина!.. Её все чины вплоть до второго порядка боялись! А патриархи! Патриархи!.. Грозные люди! Один до того лютый попался, что вот этим канделябром чуть было мне череп не раскроил. Я ему: «Вам к Маммоне Валентиновичу. Он у нас мздоимцами заведует». А он мне: «Изыди, нечисть! Убью!» И за канделябр! Да, вот и приехали. Ваша дверь вторая налево. Всего хорошего.

Слева от лифта находился кабинет номер 666/4. Табличка на обшарпанной темно-коричневой двери гласила «Зав. архивом сектор 4. С. А. Анненберг». Сан Саныч постучал и, не дожидаясь разрешения, вошел. В небогато обставленном кабинете за массивным деревянным столом сидел бес четвертого порядка Самуил Апполионович Анненберг. В бесе не было ничего бесовского. Он был похож на обычного служащего, и разве что копыта, торчавшие из-под стола, выдавали его происхождение.

— Садитесь, милейший Сан Саныч. Садитесь и выпейте со мной чаю.

Бес тяжело поднялся, потер затекшие ноги, снял с верхней полки шкафа папку и бросил её на стол. Папка выстрелила пылью в душное пространство кабинета. Самуил Апполионович порылся в столе, выудил коробку с чаем, поднял трубку телефона и сказал:

— Зиночка, принесите кипятку, пожалуйста, — и тут же обратился к Сан Санычу: — Любезный Сан Саныч, как вы уже догадались, мы находимся в канцелярии исправительно-трудового учреждения, которое на Земле носит условное название «ад».

На слове «ад» бес сорвался на рёв, но быстро опомнился и ласково продолжил:

— Давайте будем откровенны, Сан Саныч, вы ведь понятия не имеете, зачем вас сюда пригласили.

Сан Саныч действительно не имел понятия. Он занимался управлением технологическими проектами в крупной строительной компании. «Может, надо стены покрасить или паркет переложить. Ремонт тут не помешал бы...» — подумал он.

— Зря теряетесь в догадках, дорогой Сан Саныч. Не нужно торопить события. Всему свой черед.

Самуил Апполионович взмахнул хвостом, и в тот же миг, как по мановению волшебной палочки, в кабинете

появилась Зиночка — женщина лет сорока, невысокая, крепкая, но ладно сложенная. Она была абсолютно голой, без украшений, косметики и даже заколок в густых каштановых волосах. В руках у нее был поднос. На нем стояли два стакана и миниатюрный чайничек с кипятком.

— А... — вполголоса проворчала она. — Новенький. Не ад, а дурдом, честное слово. Всяк дурак с одним вопросом: «где это я?».

— Зиночка, — скомандовал бес и ласково погладил женщину хвостом по животу, — закройте рот, а то я позову Семена Волоаковича, и он вас съест.

— Не пугайте, Самуил Апполионович, — спокойно ответила Зиночка и крепко сжала бесовский хвост. — Я пуганая! Не первый век тут работаю.

Секретарша оставила поднос на столе, прихватила какую-то папку и направилась к выходу. Самуил Апполионович тонкой струйкой цедил кипяток, провожая её нежным, полным восхищения взглядом.

— Умна, проста, чертовски обаятельна. Настоящая ведьма, — хитро подмигнул бес и продолжил: — Но вернемся к нашим баранам или, как у нас говорят, бафометкам. Прежде чем я ознакомлю вас с фронтом работ, хотелось бы получить письменное согласие. У нас, знаете ли, бюрократия почище земной. Вот тут распишитесь.

Сан Саныч взял бланк, пробежал взглядом стандартную форму рабочего договора и расписался.

— Замечательно, а теперь пройдемте, — бес указал на небольшую черную дверь.

Сан Санычу показалось, что минуту назад этой двери в кабинете не было, но он не стал любопытствовать и молча прошел за бесом. Стаканы остались стоять на подносе. Один из них была пуст. Бес распахнул дверь в хранилище, откуда сразу же дохнуло сыростью. На конторке у входа стояла небольшая масляная лампа. Она едва ос-

вещала стеллажи, которые расходились рядами во все четыре стороны и терялись во мраке. Им не было числа. Это был адский архив, сектор 4.

— Вот, Сан Саныч, ваше рабочее место. Пересмотрите стеллажи с 82-го по 7013-й на предмет целостности и сохранности содержимого. Здесь хранятся договоры о купле-продаже душ. Все документы должны быть читаемыми, имена, фамилии не испорчены сыростью и гниением. Ваш рабочий день длится двенадцать часов с двумя перерывами. Семь и девять минут. Зажигалка на всякий случай. Пожалуйста, возьмите. Всего хорошего.

Бес протянул Сан Санычу дешевую разовую зажигалку и раскланялся. Как только он вышел, дверь тут же исчезла, но Сан Саныч этого не заметил. Он снял папку с ближайшего стеллажа и встал за конторку.

«Абсолютно не по моему профилю! Неэффективно, нерентабельно, нерационально!» — подумал он и принялся за работу.

II

Молодые люди стояли на лестничной клетке возле таблички с изображением дымящейся сигареты. Юленька, по уставу, была голой, однако, в отличие от предыдущего поколения ведьм, позволяла себе вольности и носила легкие туфли. Нет, она не боялась простудиться. Полы в преисподней были теплыми круглый год. Уж чего-чего, а жара тут хватало! Туфли стали последним писком моды, и Юленька, как молодая ведьма, которая делала стремительную карьеру в адской канцелярии, считала своим долгом следить за подобными мелочами.

Миша носил гавайскую рубашку с пальмами, заправленную в широкие клетчатые бермуды, пошитые на манер колониальных. Пляжная одежда частично избавляла его от жары и не стесняла движений. Должность координатора в транспортном отделе, которую он получил не-

сколько месяцев назад, давалась ему с трудом. Нагрузка в текущем квартале выдалась такая, что даже бывалые грузчики кричали, а Миша не блистал физическими данными. Его комплекция больше располагала к размеренной работе в бухгалтерии, нежели чем к трудам на передовой у транспортников.

Вверх по лестнице спешил чертенок. Он остановился возле молодых людей и запричитал:

— Семен Волоакович опять разнервничались и дынули на посетителя пламенем. Посетитель в пепел, в кабинете пожар, в канцелярии скандал!..

Молодые люди остались безучастными к бедам чертенка. Они прекрасно знали начальника отдела кадров Семена Волоаковича Винного. Он имел привычку, будучи в скверном расположении духа, изрыгать пламя левой пастью, а в особо тяжелых случаях — одновременно тремя. Пожар потушат, в помещении приберут, Семена Волоаковича вызовут на ковер и лишат премиальных. Да ему-то что? Он в аду с тех времен, когда Коцит был солнечным курортом.

Чертенок, не дождавшись сочувствия, побежал дальше, и Миша, наконец, решил объясниться:

— Юля, я давно хотел с вами поговорить.

Юленька запрыгнула на подоконник, одну ногу свесила вниз, а вторую прижала к себе и манерно сложила руки на колене:

— Я вас внимательно слушаю, Михаил.

Миша смутился, щеки его порозовели, и, чтобы скрыть юношескую застенчивость, он стал шарить по карманам в поисках сигарет. Сам Миша не курил, но всегда держал при себе пачку для Юленьки. Пачка упала на пол, Миша наклонился поднять ее и украдкой бросил взгляд на ведьму. Она беззаботно смотрела в потолок, слегка покачивая ногой. Мише показалось, что температура его щек становится огнеопасной. Он вскочил, протянул сигареты и выпалил, как на плацу:

— Юля, милая Юля, я давно хотел вам сказать, я очень давно хотел вам сказать — я люблю вас и хочу на вас жениться.

Юленька с ногами забралась на просторный подоконник, села к Мише боком и закурила.

— То-то, смотрю, ты такой официальный. Прямо как у их темнейшества на приеме! — сказала она весело. — Так ты жениться надумал!

Миша не мог найти себе места. Он не знал, куда девать свой наивный, полный щенячьей преданности взгляд. За окном гора Гекла извергала очередную порцию дыма. На площади перед зданием черти загружали фуру туго связанными пачками бумаги. Четвертый архив переезжал в новый корпус. Возле памятника их темнейшеству губернатору объединенных кругов ада Сатане, сидела канцелярская братия. Памятник был излюбленным местом обеденного перерыва. Он располагался посреди небольшого бассейна и был окружен скульптурами василисков, изрыгавшими фонтаны темно-бурой мученической крови.

«Повсюду кровяца! Провалиться хочется!» — подумал Миша, глядя на фонтан.

— Миш, — сказала ведьма и затушила сигарету, — я не буду над тобой подшучивать или, хуже того, издеваться. Но я тебя очень прошу — оставь эти глупости про свадьбу. Выставят на посмешище, потом двести лет покоя не дадут.

— А чего я сказал-то? — пробурчал сконфуженный Миша.

— Ты, Миш, ничего не сказал, а я ничего не слышала, — строго ответила Юленька, спрыгнула с подоконника и перед уходом добавила: — Вечером после смены зайти. Поболтаем.

Неопытные черти принимали белокурую Юленьку за существо небесное и даже обходили стороной, опасаясь, как бы не вышло добра. Юленьке достался облик образ-

цовой святой. Кто бы мог подумать, что однажды в ней откроется дикая страсть к любовным интригам. Эта страсть привела к отравлению, жертвой которого стала она сама. После смерти её определили в адскую канцелярию, где молодую грешницу заприметил очень высокопоставленный бес. Через десять лет она показала прекрасные результаты и сдала экзамен на ведьму. По адским меркам, Юленька была молодым сотрудником. В канцелярии служили ведьмы со стажем в две тысячи и более лет. Что такое несчастные семь десятков, когда рядом с тобой ровесницы римских императоров!.. Юной ведьме не хватало выдержки и дисциплинированности, однако заводной, разгульный характер не мешал смотреть на жизнь прагматично. Она знала меру распутству, что в преисподней было крайне ценным качеством. Работа её вполне устраивала, отношения с коллективом — тоже. Умеренный, но регулярный разврат и полная рабочая занятость шли на пользу её подвижному уму и неугомонному характеру. Карьера стремительно летела вверх, хотя карьеристкой Юленька не являлась. Она просто делала то, что любила, и делала это хорошо.

Юленька умела заводить перспективные знакомства и, даже будучи страстно влюбленной в очередного чертенка, не теряла головы. Незадолго до знакомства с Мишей она увлеклась следователем из службы безопасности. Представительный, неглупый, с хорошо подвешенным языком, он резко шел в гору. Поговаривали, что он станет самым молодым бесом, сдавшим экзамены на четвертый порядок. Юленька была в восторге от его харизмы и немедленно бросила одного милого, но бесхарактерного клерка. Отношения развивались стремительно. Казалось, от страсти Юленька сошла с ума. Она была на взводе, хохотала, болтала без умолку, опаздывала на работу, словом, вела себя, как типичная влюбленная дура. По канцелярии поползли слухи, что ведьма пьет приворотные зелья. На-

чальство забеспокоилось. На Юленьку посмотрели с осторожностью. И тут без видимых причин произошел разрыв. Во всем, что касается личной жизни, Юленька умела держать язык за зубами, но для канцелярских сплетников не существовало тайн. Вскоре стали известны подробности. Оказалось, юный следователь водил знакомства с неблагонадежным элементом. Контрабандные напитки из рая, открытки с ангелами, райская музыка, поэзия, живопись — всё это находилось под строгим запретом. По долгу службы следователь имел неограниченный доступ к такого рода материалам, что оказалось губительным соблазном. Через полгода он загремел в девятый круг и сгинул там, среди зверских порядков нижнего ада. А что Юленька? Она не моргнула и глазом. Ни слёз. Ни вздохов. Ни капли сожаления. Вот такой характер.

В канцелярии трудились не покладая рук. Низшие чины и непосвященные по двенадцать часов, ведьмы и средние чины — по девять, у высших график был ненормированный. Миша принадлежал к непосвященным, к тому же транспортный находился в непрерывном аврале. К привычным курьерским заботам добавился переезд четвертого архива. Иногда пересменки сокращались до двух часов. Сегодня выдался именно такой день. Секретарша Лидия Петровна с утра потчевала Мишу снадобьем из волшебного чабреца, который ей привозили по знакомству из Лимба, и Миша худо-бедно держался на ногах.

Под конец смены Лидия Петровна перехватила его у входа в отдел и ласково сказала:

— Мишенька, отвлекитесь немного. Вы заработались. Отдохните!

Миша был очарован Лидией Петровной, тонким ароматом её волос, её бархатной кожей, морщинками в уголках глаз, великолепной фигурой. Он взглянул на секретаршу с восхищением, поцеловал руку и присел было рядом, чтобы передохнуть, но вспомнил о встрече с Юленькой.

— Лидия Петровна, чуть не забыл! У меня встреча! Убегаю! Улетаю! — взволнованно крикнул он и бросился к выходу.

— Ах, Миша, Миша, — прошептала Лидия Петровна, — долетаетесь!..

Миша всего два года летал по канцелярии, но местная братия давно привыкла к его кудрявой угольно-черной шевелюре, басыщему голоску и неуклюжей походке. Поначалу он натворил немало глупостей. В первый рабочий день Миша крикнул ведьме-вахтерше: «Дай вам Бог здоровья!». С тех пор, едва завидев юношу, ведьма с ужасом пряталась в гардеробной. Вскоре ему поручили доставить срочное письмо на имя главы канцелярии. Он торжественно вошел в кабинет, где шло плановое совещание, и с достоинством дворецкого английской королевы произнес: «Вам письмо!». Сослуживцы долго смеялись над этим случаем, а молодые чертенята за глаза прозвали его «Миша — вам письмо». Невероятные приключения длились до тех пор, пока Миша не застрял в лифте с инспектором технадзора. Юноша хотел доказать почтенному демону, что, несмотря на внешнюю ветхость, в канцелярии крепкая техника. Он подпрыгнул, и лифт тут же замер. Терпение начальства было исчерпано! Мишу попросили впредь пользоваться только лестницами, что для посыльного было суровым наказанием. Он осознал результаты своей разрушительной деятельности, однако унывать не стал и носился по зданию как угорелый, пока его старания не были вознаграждены. Мише предложили место координатора. Теперь в его обязанности входил переезд четвертого архива. Он понимал всю сложность возложенной на него миссии и старался максимально соответствовать занимаемому посту, то есть самозабвенно, по-детски важничал и строил из себя крупного начальника, чем немало веселил старожилков.

Миша заглянул в отдел снабжения. Служащие уже разошлись, но в приемной горел свет. Обнаженная по пояс

Юленька стояла возле окна и просматривала свежееотпечатанный бланк. На ней была прозрачная шелковая юбка зеленого цвета, в руках она держала легкую бежевую майку.

Нижнее белье в аду носили редко и только в специальных случаях. На ежегодное выступление их темнейшества, правителя шестого круга, мэра города Дита Сатьяна Мегидовича Фораса, знатным бесам и демонам полагалось надевать трусы с регалиями, а ведьмам и демонессам — специальные праздничные бюстгалтеры с эмблемами адских цехов.

Юленька убрала бланк в стол, накинула майку на голое тело и наконец заметила Мишу.

— А, Миша! — крикнула она. — Пришел! Давай спустимся в сад. Я ужасно проголодалась. Там киоск с эклерами и музыка. Ты любишь эклеры и музыку?

— Нет, я вообще не люблю сладкое, — соврал Миша, чтобы выглядеть взрослее.

— А музыку? — спросила Юленька и, не дождавшись ответа, продолжила: — Сегодня в саду Майлз Дэвис. Он невероятный! Просто невероятный!.. Как я счастлива, что он попал в ад!

Они спустились на первый этаж, вышли через восточный портал и повернули налево, в располагавшийся при канцелярии сад. Брусчатку, или тем более, асфальт в аду не использовали. Камни нагревались так, что ходить босиком становилось неприятно. Асфальт же просто плавился. Горячая и сухая земля преисподней была покрыта мелким, красноватого оттенка песком. В саду среди цератоний, под огромным испанским каштаном стоял деревянный помост. Слабое освещение, расположенное у сцены, немного разгоняло мрак, но в глубине было темно, и тонкие лучи прожекторов, словно разбрызганная по неосторожности краска, чередовались с густыми кляксами теней. Оркестр уже начал. Юленька взяла эклер и горячий шоколад, Миша — кофе. Публика прибывала, однако молодые люди успели занять место в дальнем углу.

— Обожаю запах каштана! — сказала Юленька и откусила эклер. — Миш, скажи, ты помнишь, как сюда попал?

— Нет, — печально ответил Миша.

— А чем ты занят, можешь рассказать?

— Это пожалуйста, — повеселел Миша и, заметно важничая, произнес: — Сейчас я в транспортном. Бес ты или человек, а транспорт всюду нужен. Работы море! Еле справляемся! Предыдущий координатор развалил всё до основания. Руки ему оторвать мало!..

— Значит, как сюда попал, ты не помнишь, — сделала заключение Юленька, — однако, чем занят, знаешь.

— Ну да, — неуверенно подтвердил Миша.

— Поэтому ты называешься полусознательный из касты непосвященных, — сказала Юленька и, поджав губы, сделала маленький глоток шоколада.

— Не понял! — Миша отхлебнул кофе и едва заметно поморщился. Сахар в кофе он не положил для пущей суровости. — И как же мне стать сознательным?

— Ответить на вопрос, кто ты и почему ты здесь.

— Проще простого! — воскликнул Миша. — Это я могу у Семена Волоаковича в отделе кадров узнать!

— Во-первых, не спеши узнавать, — сказала Юленька и кончиком языка слизнула крем с эклера. — Умножая знания, умножаешь скорбь, а здесь её и так хватает. Некоторые веками ходят в полусознательных, и ничего. Во-вторых, Семен Волоакович правду не скажет и, возможно, даже откусит голову. Личные данные служащих засекречены. Доступ к ним открыт только демонам высших порядков.

— Ясно! Я жизнь отдал транспортному, а меня будут тысячу лет держать в полусознательных! — пафосно воскликнул Миша.

— Жизнь ты отдал немного раньше, но «о, сколько нам открытий чудных...» — с усмешкой процитировала Юленька и продолжила: — Теперь о том, как это пересе-

кается с предложением руки и сердца. Браки в аду разрешены только порядкам не ниже четвертого, и только в исключительных случаях. Например, в церемониальных целях. В сущности, никакие это не браки, а бесовско-ведьминские тандемы. И, уж конечно, ничего близкого к привычному пониманию семьи в них нет. Звучали, и не раз, предложения ввести институт брака для усовершенствования контроля над грешниками, да только не жалуют у нас реформаторов. Покричали и забыли.

— Глупость! — возмущенно сказал Миша. — А как же продление рода!.. Потомство!..

— Мишенька, дорогой, — взмолилась Юленька. — Это ад! Какое продление рода?.. Рождаются и умирают на Земле. В аду живут и работают. Я видела, как доставляют удовольствие женам демоны первого порядка. Это было на ежегодной мессе посвящения в ведьмы. После официальной части накрыли столы, был праздничный банкет и оргия. Приемы, которыми там пользовались, не то что с продлением рода, но и с земной жизнью не очень совместимы.

— И как же мне быть? — печально спросил Миша. — Я люблю тебя.

— А чего тебе от меня надо? — спросила Юленька и откусила от эклера. — Близости? Так зачем жениться?

— Ну, свадьба — какие-никакие гарантии! — пробормотал Миша.

— Опять ты забыл, что тут ад, а не Земля. Это на Земле, в рамках хрупкой, коротенькой жизни всякий норовит вытребовать гарантии, а в аду гарантировано только одно — мы здесь навечно! Поэтому оставь мелкопоместный эгоцентризм. Хочешь владеть — владей, — Юленька положила ноги Мише на колени. — Но гарантий не требуй!

— Нет, ты не поняла! — возразил Миша и решительно добавил: — Я не всякий, и я хочу, чтобы ты принадлежала только мне!

— Вот-вот, рабовладельческий строй! — раздраженно заметила Юленька и убрала ноги. — Ты пойми, ни в аду, ни в раю, ни на Земле души не могут принадлежать друг другу. У души нет такого места, которым она могла бы кому-то принадлежать. Ну, и потом, у меня есть партнер.

— Я убью этого «партнера». Вызову на дуэль и застрелю! — решительно сказал Миша, а потом добавил неуверенно: — Или шпагой проткну.

Слово «партнер» он произнес с таким отвращением, что Юленька испугалась — не натворит ли мальчишка глупостей. Откуда ей было знать, что Миша сделал очередной глоток ненавистного горького кофе.

— Ты не кричи. Здесь за такие шутки знаешь, что бывает? Глазом не успеешь моргнуть, как отправят в нижние круги, — строго сказала ведьма.

— Наплевать! — храбрился Миша. — Ради любви и не такое терпят!

— Дурак ты, Миша, — огорченно заметила Юленька. — В аду никакой любви нет и быть не может. В аду отношения.

Миша обиделся на «дурака». Он пил кофе и страдал. А Юленьке было не до него. Она увлеченно смотрела выступление. Труба виртуоза звучала невероятно. Правильно было бы сказать, что она звучала божественно, если бы адский комитет по культуре не считал музыку Майлза Дэвиса образцовым примером бесовщины. Маэстро то опрокидывал слушателя в хаос диссонансных нот и запутанных прогрессий, то убаюкивал нежными лирическими мелодиями, а то и вовсе пугал длинными многозначительными паузами. Миша не слушал. Он был погружен в свои обиды. Наконец, он не выдержал и убежал.

На улице царил обычная суета. Легкие подземные толчки сотрясали сухую, горячую землю ада. Миша отправился к церкви святого ересиарха Нестора, где он часто

прогуливался после напряженного рабочего дня. Он спешил раствориться в толпах паломников, затеряться среди бродячих музыкантов, попрошаек, проповедников, прочего сброда. Здесь он прятался от неизвестности, окружавшей его с первых дней пребывания в преисподней. У него накопилась масса вопросов. Кем он был? Что натворил? Что ждет впереди? Увы, ответов никто не давал. Старшие чины ухмылялись и кормили отговорками «погоди, всему свое время». Младшие вовсе предпочитали сменить тему. Будущего у Миши не было, а прошлое он не помнил. И чем больше он размышлял об этом, тем глубже погружался в отчуждение.

Церковь святого ересиарха Нестора, огромное сооружение высотой в сто тридцать два метра, была выполнена в готическом стиле. Над стрельчатыми арками, обрамлявшими широкие галереи, возвышались фигуры великих демонов и ересиархов. По стандартам адского строительства, максимальная высота в пределах шестого круга была превышена на два метра, но всё же церкви было далеко до эбонитового трона, возведенного по приказу Сатаны к двадцатитысячному юбилею ада и установленного в девятом круге. Этот монумент более чем на километр возвышался над заснеженной пустыней Коцита.

Ад имел конусообразную форму. Нижние круги были значительно просторнее верхних, и потому правила застройки низов ничем не ограничивали безумную фантазию архитекторов. Там прославляли величие зла гигантскими стройками, на которых отбывали бесконечные сроки тысячи мучеников. Это был совершенно другой, не похожий на верхние круги ад. Жестокий, безысходный и могущественный.

Недалеко от центрального портала под барельефом, изображавшим костры инквизиции и кровавых рыцарей-крестоносцев, сидел нищий. Он расположился в стороне

от прожекторов, освещавших церковь в выгодном для туристов плане, но всё же так удачно, что меркурии и другая мелкая монета частенько падали в его шляпу. Нищий — крепкий мужчина преклонного возраста, был одет в рваный заношенный пурпуэн красного бархата и двухцветные шоссы. Правая их штанина была черной, а левая, некогда белая, представляла собой грязную бесцветную тряпку. Перед ним стояла табличка: «Погибал в Баб-эль-Мандебском проливе». Миша бросил несколько монет и пошел дальше, но полусонный нищий внезапно оживился и вызывающе крикнул:

— *Salve e protege, salve e protege!*

— Это вы мне? — спросил Миша.

— Спаси и сохрани вас Сатана! — повторил нищий.

— Спасибо, но этой фразой обычно поминают Бога, а не их превосходительство губернатора объединенных кругов, — вежливо ответил Миша.

— Поздно помянуть Бога, раз уж мы здесь! — прохрипел нищий.

Проворные чертенята-служки и чопорные, в пышных рясах, бесы-священнослужители, богатые ведьмы и знатные демонессы двигались мимо бесконечным строем. Мише стало любопытно, что за существо, безжалостно отвергнутое патриархальным обществом, скрывается под этими пыльными обносками. Что-то несуразное, возможно, едва заметное несоответствие между манерой говорить и внешним видом, привлекло его в нищем. А может быть, Миша просто хотел отвлечься от тяжелых мыслей о Юленьке. Так или иначе, он вырвался из общего потока, свернул на обочину и, ни капли не стесняясь, сел прямо в придорожную пыль.

— Я воевал за португальскую корону, — обиженно пробурчал нищий, как бы оправдывая своё положение.

В его осанке появилось нечто аристократическое. Он выпрямил спину, положил руки на колени и погрузился

в сон. Несмотря на убогий вид, бродяга был на голову выше окружающих. Он держался точно капитан прекрасной каравеллы, случайно застрявшей в пыли у грязных ног бесовской братии.

— Я штурмовал Гоа и Ормуз, — добавил он.

Услышав слово «Гоа», Миша невольно вздрогнул. Единственное, что осталось ему от земной жизни — бессмысленная фраза: «Пока ты слушал Гоа, она нашла другого!».

— Я, как гончий пес, обежал полмира, вгрызаясь в жирные бока арабов и индусов, — продолжал нищий. — И теперь я здесь, сижу под этими лживыми фресками и клянчу монетку у таких, как вы.

— Кто вы? Как вас зовут? — спросил Миша.

— У меня нет имени. Я забыл его, — мрачно ответил нищий. — Впрочем, если бы и вспомнил, то не стал бы произносить. Это слишком гордое имя, чтобы оборванец вроде меня пользовался им.

Миша заметил, что рядом с нищим, под левой его рукой, лежал клинок — богатая, изящная дага, ножны которой были инкрустированы золотыми узорами. Нищий больше не обращал на Мишу ни малейшего внимания. Но Миша и не думал уходить. Заметив драгоценное оружие, он окончательно убедился, что нищий не так прост, как кажется.

— Так вы португалец? — спросил юноша, чтобы поддержать беседу.

— Когда-то был им, — ответил нищий, не открывая глаз.

— Португалия, наверно, красивая страна, — мечтательно сказал Миша.

— Португалия — красивая страна? — переспросил нищий. — Да что эти захолустные лачуги по сравнению с величием Лиссабона!..

— Лиссабон... Как жаль, что я там не был! — подыграл Миша.

— Когда в город вернулась эскадра Васко да Гама с известием об открытии пути в Индию, — монотонно, как молитву, продолжил нищий, — на берегу среди толпы простолудинов было больше блеска и роскоши, чем на амвонах всех церквей ада. Это было время великих открытий. Мы были молоды, честолюбивы и преданы делу.

— Какому? — вежливо поинтересовался Миша, полагая, что речь идет о профессии.

— Что значит какому? — возмутился нищий и приоткрыл один глаз. — Великому делу завоеваний!

— Преданность делу теперь не в почете, — задумчиво произнес юноша. — Да и время завоеваний прошло.

— Любовь, юноша, теперь не в почете! — горько произнес нищий и открыл второй глаз. — Любовь к родине, любовь к женщине, любовь к жизни!

— Неправда! Я люблю! — признался Миша и добавил печально: — Ведьму.

— В аду нет любви, — резко оборвал его нищий. — Нет и быть не может.

— Я тут, значит, может! — возразил Миша.

— Вы молоды и мало что понимаете. Ад — коварное место, — назидательно заметил нищий.

— А вы... вы просто потеряли веру в себя! — парировал Миша, обиженным тем, что его поучают.

— Однажды, молодой человек, я перешел дорогу очень влиятельному демону, — безразлично, будто речь шла о ком-то другом, произнес нищий. — Повод был пустяковый. Я только пришел в ад и многого не знал. Он заявил, что европейцы никогда не были цивилизованными, что, несмотря на свой успех, экспансия на восток показала миру их варварское, неумытое рыло. Это был демон из пустынь Аравии. Сильный, свободный дух. Я вскипел, назвал его мерзавцем и предложил честный поединок. Меня

осмеяли и вышвырнули в нижние круги. Я триста лет провел на каменоломнях Коцита, днем и ночью деревенея от холода. На мне не было ничего, кроме истлевшей туники и разбитых сандалий. И теперь вы, юноша, предлагаете мне поверить в свои силы!.. Да что вы знаете об аде?

Нищий положил руку на плечо юноши и внезапно разгорячившись, сказал:

— Вы не такой, как все! Я вижу! У вас доброе сердце. Бегите! Бегите отсюда, пока вас не растоптали. На западе четвертого круга есть проход. Он предназначен для пилигримов. Там живет старый демон с наколкой трехглавого пса на запястье. Он выведет. Скажите только, что вас послал архитектор. Так в шутку меня звали когда-то.

— Нет, господин Архитектор, — испугавшись такой перспективы, резко ответил Миша. — Никуда я не побегу. Я люблю её, и она будет со мной, даже если все демоны ада встанут между нами.

— Тогда готовьтесь к худшему. Если вас не сотрут в порошок здесь, то это сделают в нижних кругах, — сказал нищий и потерял всякий интерес к беседе.

Миша, сконфуженный знакомством, поднялся, чтобы побыстрее скрыться в толпе. Теперь к изнуряющей неизвестности в прошлом добавилось предчувствие чего-то скверного и неотвратимого в будущем. Казалось, время душит его как удав — медленно сжимает кольца, не оставляя шансов на вдох. А глоток свежего воздуха, глоток надежды — ох как требовался.

Миша был типичным молодым энтузиастом, полным энергии, непоседливым, готовым взяться за любую работу. Однотипность задач и общая заикленность адского существования раздражали его. Он выдавал десятки рационализаторских предложений, но его кипучая энергия разбивалась о неприступный устав канцелярии. Мишу одергивали строгим выговором, и юноша отползал в сто-

рону, затаив обиду. Он не признавал никакой власти, кроме той, что соответствовала его убеждениям, его логике, его стремлениям и надеждам. Канцелярское начальство чувствовало эту опасную инфантильность и держало Мишу на коротком поводке. Как бы чего не вышло!.. Такое отношение юноша считал унижительным, но открыто заявить о недовольстве боялся. Он был прекрасно знаком с адскими порядками. Выше прочего в преисподней ценили субординацию и трудолюбие. За неуважение к старшим по званию строго наказывали. Поиски правды, справедливости, возмездия приводили в кабинеты службы безопасности, а оттуда в нижние круги. Однажды у него на глазах из канцелярии вывели совсем юного чертенка. Оказалось, он грубо обошелся с кем-то по телефону. Поговаривали, что с демонессой из свиты губернатора. Чертенок был избит, один рог отломан, одежда порвана. Больше его никто не видел. Лидия Петровна утверждала, что чертенок был хулиганистый, и поделом ему. Пусть сквернословит на каменоломнях девятого круга.

III

Отдельным жильем и личными пегасами в аду пользовались немногие. Даже демону третьего порядка с выслугой в полторы тысячи лет было нелегко получить квартиру. В коммуналке, где сразу после смерти преемника поселили Мишу, проживало еще четверо. Люция и Корнелий, служившие раньше в отделе по религиозному мракобесию. Отдел этот был расформирован, а старейшие его работники отправлены в бессрочный отпуск. Клава: невозможно было точно сказать, где она работает и сколько ей лет, однако развратничала она профессионально. И, наконец, средних лет безобидный чертенок седьмого порядка, церковный служака Пафнутий Пафнутьевич. Он частенько прикладывался к бутылке, но никогда не хулиганил и содержал себя в чистоте.

Адская коммуналка мало чем отличалась от земной. Сплетни, склоки и мелкие бытовые обиды переплетались с общими кухонными застольями, коллективными мероприятиями по борьбе с тараканами и дружным одобрением политики правительства. Не было разве что пресловутой борьбы за жилплощадь. Так не было и повода. Вечное существование в аду гарантировало стойкий моральный облик жильцов. Что наследовать и кому завещать, если всё необходимое дают раз и навсегда? Грешники отбывали сроки без надежд на перемены, а значит без соблазнов. Жилищный вопрос имел место, но решали его за счет безразмерных площадей нижних кругов. Они были открыты для каждого, что мотивировало обитателей Дита к образцовому поведению, и коммуналка была ярким тому примером. Сухие, чистые подвалы, уставленные банками с маринадами и соленьями, примыкали к ухоженным лестничным клеткам, где висели графики дежурств, подписанные кровью управдома.

Миша вернулся домой позже обычного. В квартире стояла мертвая тишина. Все спали. Он с обеда ничего не ел и мышью, чтобы не разбудить соседей, прошмыгнул на кухню. Вскоре послышались шаги и, как привидение, в темноте коридора возникла Люция.

— Ах, Мишенька! Это вы. Ну, как там канцелярия? — спросила она, зевая.

— Стоит на месте.

— Эх, избавились от нас, как от хлама, а ведь я помню времена, когда наш отдел был самым крупным после снабженцев.

— Снабженцы и сейчас любому фору дадут, — деловито заметил Миша и поставил чайник.

— Мишенька, вы же в транспортном работаете? С Лидией Петровной?

— Да! Точно. А вы знакомы? — удивленно спросил Миша и открыл пакет с сушками.

— Мальчик мой! В аду все друг с другом знакомы! — сказала Люция. — Я обещала Лидии Петровне рецепт пирожков. Помните? Ваши любимые.

— Да-да. С капустой, — ответил Миша и печально посмотрел на сушки.

Невысокая, полная Люция была ведьмой, из тех, что везде находят друзей, но нигде — настоящей страсти. Она не была адским существом, не прошла смерть-приемника и не переродилась в аду навечно. Люция и Корнелий были людьми — пилигримами ада. Они эмигрировали в преисподнюю по доброй воле откуда-то из-под Кёльна в те времена, когда алхимику и знахарке было сложно найти безопасное место в Европе. Супруги опасались гибели в застенках инквизиции. Мученическая смерть гарантировала им прямую путевку в рай, а это никак не входило в их планы. Однажды зимним утром 1632 года они вышли на прогулку и исчезли. Смотрящий демон проводил их до ворот ада, а далее — всё, как у любого беженца. Скитания в пламенеющих пустошах, лагерь для переселенцев, легализация, а после — работа в канцелярии. В отличие от многих адских существ, они были официально женаты. Это мало что решало, но иногда экстравагантности ради супруги представлялись — Корнелий и Люция Шнапстауэр.

— Скажу по секрету, — хитро сощурившись, прошептала Люция, — в руководстве есть мнение, что наш отдел надо восстановить. Повоюем еще, а?

— Повоюете, — согласился Миша.

— Знакомый демон поведал в конфиденциальной беседе, что там, — Люция многозначительно указала рукой на запад, — очередная волна религиозного фанатизма. Так передадите рецептик?..

— Конечно, передам.

— Спасибо!

— Скажите, Люция, почему вы так хотите вернуться? — спросил Миша, помешивая сахар. — Чем дома плохо? Убейте, не пойму! Вы столько лет отдали канцелярии! Пора на покой. Дайте дорогу молодым, деятельным!

Детская непосредственность, с которой Миша, сам того не понимая, говорил гадости, не оскорбила Люцию. Она печально посмотрела на него и, перебирая воспоминания, рассеянно ответила:

— Да-да. Нам так и сказали. А вы, наверно, еще не ужинали?

— Нет, — тут же оживился Миша и умоляюще взглянул на Люцию.

— Чаем и сушками сыт не будешь! Секундочку... — сказала она, и вскоре перед юношей появилась тарелка гречневой каши и миска с котлетами. А пока он с аппетитом уничтожал ужин, Люция рассказала историю одного процесса.

— Это случилось во время очередной охоты на ведьм. Канцелярия рассматривала дело некоего графа из одной очень известной фамилии. Граф этот получал немалые доходы от развития почтового дела и решил подмять под себя всю имперскую почту. Где-то ему удалось добиться желаемого титулами, где-то деньгами, где-то вовсе без усилий, но в одном из крупных центров он натолкнулся на серьезное сопротивление. Владелица местной почтовой службы, девушка простая, но неглупая, наотрез отказалась продавать фамильное дело. Начались судебные тяжбы. Они грозили затянуться на долгие десятилетия, и тогда наш душка-граф решил разобраться с конкуренткой при помощи местного инквизитора. За небольшую сумму была нанята монахиня. Она дала необходимые показания. Девушку обвинили в связях с дьяволом и бросили в тюрьму. Долгие месяцы её пытали, а затем, превратив в бесформенный кусок плоти, сожгли на костре. Душка-граф ни в чем таком участия не прини-

мал, на допросы не ходил, на казни не присутствовал. Он заполучил желаемое и вошел в историю как реформатор европейской почтовой службы. После смерти граф, разумеется, попал к нам. Несмотря на титулы, он стоял перед секретарем отдела по религиозному мракобесию босиком в мятых подштанниках. Граф оказался редким трусом. Он насмеялся, отнекивался и даже угрожал расправами. Ему быстро дали понять, где он находится. Тогда граф притих и дрожал, как осиновый лист. Вопрос заключался в том, куда отправлять? То ли в четвертый, за стяжательство и жадность, то ли в седьмой, за убийство. В четвертом можно валять дурака на товарной станции в самом сердце пламенеющих пустошей. Жара пятьдесят, погрузка-разгрузка булыжника, шесть часов на сон, стакан воды в день. В седьмом же графу пришлось бы туго. В нижних кругах трудотерапия предусмотрена не для всех. Там мучают ради удовольствия. Наш граф сильно напустил в подштанники и молил на коленях о четвертом. Вопрос несколько лет оставался открытым. Не хватало какого-то решающего фактора. Тогда Корнелий, он в тот момент присматривал за инквизиторским процессом в Швабии, внезапно явился с докладом и убедил всех, что после перехода почтовой службы под руководство графа, то есть полной централизации почты, произошел резкий скачок в развитии промышленности, наметились первые тенденции предстоящей индустриальной революции, в общем, бла-бла-бла. Я в этом плохо понимаю. Суть в том, что наш граф принес немало пользы европейской цивилизации. Вопрос был решен немедленно. Пока граф горланил похабные частушки, его осудили и отправили в четвертый на вечное поселение.

— Интересная история. Спасибо за ужин, Люция, — сказал Миша и собрался уходить.

— Погодите же! — взмолилась Люция. — Вы не дослушали!

— Разве еще не всё? — удивленно спросил Миша.

— Нет! — резко ответила Люция. — Не всё! Дело в том, что зверски замученная в подвалах инквизиции девушка была сестрой Корнелия. А вы говорите, молодые, деятельные!..

— По-моему, это глупо. Надо было упечь графа в седьмой! — бросил Миша небрежно и отправился спать.

Усталость мгновенно опрокинула его на металлическую кровать с жестким, как доска, матрасом. Его сон был поверхностным и беспокойным. Видения рассыпались на мириады сверкающих частиц, образовывали хороводы, перетекали из одного в другое и неизменно приводили к единственной вожделенной цели: «Юленька». Миша вздрогнул и посмотрел на часы. Была полночь. Он скинул одежду и долго ворочался, пытаясь соскочить с опасной бритвы полудремы. Наконец он притих и провалился в глубокий сон. Наступило чистое, безмятежное забвение.

IV

Следующий день подкинул столько забот, что Миша как угорелый носился по этажам и на бегу хлебал утренний кофе. Он ловил грузчиков, которые норовили отсидеться где-нибудь в подсобке у снабженцев. Он обрывал телефоны, умолял, просил и даже требовал дополнительные фуры. Он сам грузил и разгружал. Он работал на износ, лишь бы не выбиться из графика. В начале обеденного перерыва, взмокший, но довольный собой, Миша заглянул к Лидии Петровне:

— Лидия Петровна, я на прошлой неделе взял пачку титульной бумаги у Юленьки из снабжения, да позабыл отдать. Вот. Всё, как вы просили. Формат А4, с черным гербом.

— Спасибо, Мишенька, — секретарша подняла голову от документов, сняла очки и сказала: — Вы поосторожнее с этой Юленькой. Она ведьма молодая, амбициозная. Как бы чего не вышло.

— Что вы, что вы, она чудо! У нас дружеские отношения, — соврал Миша и перешел к главной цели своей беседы: — Лидия Петровна, скажите, вы с Семеном Волоаковичем из отдела кадров знакомы?

— Мишенька, дорогой, — сказала секретарша и откинулась на спинку стула. — Я работаю в аду уже триста девяносто семь лет. Семен Волоакович — около двух тысяч, и это только в отделе кадров. Разумеется, мы немного знакомы! В аду все друг с другом знакомы!

— Лидия Петровна, — доверительно сказал Миша, не уловив сарказма, — я хотел бы попасть к Семену Волоаковичу на прием. Как считаете, можно это устроить?

— Смотря с каким вопросом, — ответила Лидия Петровна.

— Хочу узнать кое-что из своего личного дела.

— Да вы с ума сошли! — воскликнула Лидия Петровна.

— А что такого? — наивно спросил Миша.

— Даже не думайте об этом! Семен Волоакович шуток не любит!

— Но от этого зависят мои жизнь и смерть! — воскликнул Миша.

— Смешной вы, Миша, — сказала Лидия Петровна, надела очки и принялась за работу. — Ваши жизнь и смерть уже ни от чего не зависят. Их больше не существует.

— Я всю эту философию не понимаю, — сказал Миша. — На следующей неделе обещаю вам новенький дырокол и десяток перьев. Вам какие, сирина или гарпии?

— Сирина, пожалуйста. Гарпию не люблю. Жестковаты и пачкают.

— Тогда, умоляю, Лидия Петровна, уговорите Семена Волоаковича меня принять! Сегодня же!

Секретарша посмотрела на юношу и назидательно, как опытный преподаватель, сказала:

— Миша, я сделаю это ради нашей дружбы, но запомните, ничего хорошего из вашей затеи не выйдет.

— Спасибо, дорогая Лидия Петровна! Спасибо! — воскликнул Миша. — Уверен — всё будет хорошо!

Миша ожесточенно бросился в бой, и время полетело быстрее адских пегасов. Он работал так, словно боялся не успеть, словно у него в запасе не было целой вечности. Молодые черти смотрели на него с нескрываемым презрением, но Миша, как ребенок, увлеченный игрой, не замечал косых взглядов. Это была опасная игра. Он хотел знать правду. Такие игры редко заканчиваются благополучно, однако, судя по азарту юноши, это была именно игра. Он прокручивал в голове десятки вариантов беседы с Семеном Волоаковичем, выдумывал искрометные фразы и представлял, как неоспоримой аргументацией добивается своего. Миша смаковал тот момент, когда в его руки ляжет заветная папка, когда он убедится, наконец, что попал в сюда за ужасные прегрешения. Правила игры требовали, чтобы в земной жизни он был как минимум великим злодеем. Иначе быть не могло! Иначе всё было бы слишком тривиально!

Около шести Миша, вопреки предостережениям Юленьки и Лидии Петровны, поднялся этажом выше, расправил гавайскую рубашу и постучал в дверь с табличкой «Нач. отдела кадров, С. В. Винный». Ответа не последовало, и тогда он осторожно приоткрыл дверь. Семен Волоакович сидел за столом, закинув крылья за спинку стула, хвост его крепко сжимал руку секретарши. Она стояла перед ним обнаженная и бесконечно испуганная.

— Верочка, сколько раз я должен повторять — ключ от кабинета в конце смены должен быть у вахтера, — флегматично выговаривал Семен Волоакович. — Не у вас в сумочке, не в двери, не у меня на столе, а у вахтера. И кабинет должен быть заперт.

— Я не специально, — всхлипывала Верочка. — Я допоздна осталась, уборку делала. Семен Волоакович, я пыль с подоконника стерла, цветы полила, пропылесосила, а потом ключ в двери забыла.

— Мне, Верочка, наплевать на ваши старания! — произнес демон и принялся листать какие-то документы. — Я вас в следующий раз на части разорву, ясно?.. А сейчас идите домой и возьмите день за свой счет. На вас лица нет.

Семен Волоакович резко отдернул хвост, Верочка пошатнулась, схватила одежду и бросилась вон. Она так ловко нырнула в дверной проём, что лишь слабый ветерок и сладковатый аромат её духов коснулись Миши.

— Входите, молодой человек, — простонал бес. — И дверь прикройте, а то черт знает что такое! Вторые сутки всё нараспашку! Не отдел кадров, а проходная!

Начальник отдела кадров был совсем не похож на демона. Кто бы мог подумать, что в бешенстве он способен испелить дотла или откусить голову?.. Чтобы не вызывать лишнего резонанса, Семен Волоакович принимал облик, максимально приближенный к человеческому. У него была одна вполне опрятная старческая голова, две руки и две ноги. Лишь огромные перепончатые крылья да мохнатый хвост напоминали об истинном его обличье. Миша понял, что дела обстоят не самым лучшим образом. Демон находился в скверном расположении духа. Юноша тихо прикрыл дверь и встал напротив Семена Волоаковича, как раз в том месте, где только что рыдала секретарша. Стула демон не предложил.

— Имя и что у вас? — произнес демон, не отрывая взгляд от папки, лежавшей перед ним на зеленом сукне стола.

— Мишей звать. Я из транспортного, — промямлил Миша и сдулся.

Его охватила паника. Из головы мигом вылетело всё, что он готовил для беседы. Возникла неприятная пауза.

— Так что у вас!.. — повторил демон и с грохотом захлопнул хвостом дверцу шкафчика с документами.

— Семен Волоакович, я к вам по личному. Мне бы на свое дело взглянуть. Я уже год, как проклятый, в транспортном туда-сюда, а всё полусознательный. Мне бы только понять, за что меня! А там я такие результаты дам, такие дела во славу ада... — затараторил Миша.

Демон изумленно поднял взгляд, осмотрел Мишу с ног до головы, расправил крылья и, казалось, решил разорвать наглеца в клочья. К счастью, этого не произошло. Раздался хохот — тонкий и манерный, такой, каким отвечает король на проделки шута. Юноша не мог понять, хочет демон от чистого сердца или этот спектакль предвещает крупные неприятности.

— Давно меня так не смешили, молодой человек! — сказал Семен Волоакович, немного успокоившись. — Как то бишь, вас зовут?

— Миша.

— Мишель, значит, — добродушно сказал демон. — Во-первых, Мишель, вы либо сумасшедший, либо провокатор. Информация такого рода закрыта даже для чинов многим выше моего. Во-вторых, я обязан доложить о вашей просьбе куда следует.

Семен Волоакович многозначительно ткнул хвостом в пол, но Миша не понял этого жеста и, запинаясь, спросил:

— А куда следует?

— Следует в службу безопасности. Ваша просьба, молодой человек, это чистый шпионаж.

— Семен Волоакович, я не шпион! — взмолился Миша.

— Я начальник отдела кадров, а не сотрудник безопасности. Не мне решать. У нашего руководства полно врагов! Кто дает гарантию, что вы не оттуда? — спросил демон и снова многозначительно ткнул хвостом, но на этот раз в потолок.

— Я не оттуда! Честное слово. Я только правду хотел узнать! — запричитал Миша.

— Правда, юноша, у нас дорого стоит, — назидательно заметил демон и снова углубился в изучение документов.

— Что же мне делать? — в отчаянии спросил Миша.

— Ждать неприятностей, — ответил демон. — Вы неплохой работник. Перспективный. Но слишком уж много за вами накопилось. Пора вам побеседовать с кем положено. Ну и потом, если я не доложу, за меня это сделают другие, и тогда дело может принять неожиданный оборот.

Семен Волоакович достал стакан, наполнил его водой из графина в виде черепа и принял две таблетки.

— Сердце пошаливает, — извиняясь, сказал демон. — Ваша задача, Мишель, прилежно трудиться, и тогда вы обязательно выберетесь из полусознательных. Дисциплина, спокойствие и труд. Вот ваши помощники.

— Семен Волоакович, меня сошлют в нижние круги? — промямлил испуганно Миша.

— Не говорите глупости, — ответил демон. — Побеседуем мирно, по-семейному. В канцелярии каждый через это прошел. Идите. Прием окончен!

Семен Волоакович обошелся с Мишей на первый взгляд грубо и даже коварно, однако нельзя было не заметить в нём дружескую иронию и некое подобие отеческого участия.

— Ну и денек, ну и денек, — пожаловался демон и хвостом прихватил юношу за ногу. — Молодой человек, раз уж завтра вам предстоит тяжелый день, сегодня рекомендую — развейтесь, сходите в музей. Там чудесная экспозиция Гойи. И передавайте Лидии Петровне нижайший поклон.

Миша захлопнул дверь и, как ребенок, тут же позабыл о страхе. Он взглянул на часы — смена уже десять минут как закончилась. «А почему бы нет?» — подумал он и стрелой полетел по лестницам, надеясь, что Юленька задержалась в гардеробе или на проходной. Еще мгновение, и Миша не застал бы её. Она уже сдала ключи и направлялась домой.

— Юля, погоди! — крикнул он, едва увидев в конце коридора белокурые локоны ведьмы.

— Миша? Ты чего это? — удивленно спросила она.

— Пойдем в музей, а? — сказал он, переводя дыхание. — Говорят, там выставка Гойи.

— Иногда ты меня удивляешь! — задумчиво сказала ведьма. — Да, я видела афишу. Если тебе нравится Гойя, то ты начинаешь нравиться мне. Пойдем.

Молодые люди не спеша направились к трамвайной остановке. Другой городской транспорт, кроме общественного, в преисподней встречался редко. Из общественного единственным был трамвай. Рельсы для трамвайных путей выплавляли из специальной стали, которую закалял огненным дыханием дракон Изиль. Дракон не был адским существом. Он работал по договоренности и брал с казначея Дита прилично — чистейшим золотом и девственницами. К слову сказать, найти девственницу в аду не самая простая задача. Однако шпалы из изильской стали стоили того. Они никогда не ржавели и не нагревались.

Музей находился неподалеку. Юленька и Миша проехали две остановки и пошли пешком. Улицы были переполнены служащими, спешившими домой после работы, однако тот переулочек, что вел от трамвайной остановки к музею, оказался пуст. Лишь старый черт-дворник лениво скреб граблями по горячему песку, да чертенок-гимназист сидел на обочине и ковырял в ранце. Погода стояла по адским меркам чудесная. Плюс сорок пять, солнечно, местами небольшие подземные толчки. Юленька была в отличном настроении, широко размахивала сумочкой и загребала песок туфлями. Наконец, она сняла туфли и пошла босиком.

— Миша, ты не обижайся. У меня назначена встреча, и весь музей мы осмотреть не успеем. Взглянем на работы Гойи, и назад, — беспечно заявила она.

— Встреча деловая? — спросил с надеждой Миша.

— Нет. Личная, — ответила Юленька.

Миша заметно погрузстнел. Он плелся рядом и с тоской посматривал на ведьму. Он ревновал. Юленька же не обращала внимания на перемены в его настроении. Она оказалась знатоком творчества Гойи и без умолку болтала об истории возникновения картин-близнецов «обнаженной» и «одетой» Махи. Безумный роман Гойи и герцогини Альбы, дикий нрав возлюбленной, жестокие страдания творца, его бессилие перед распутной аристократкой и, наконец, размолвка и самоубийство герцогини, которая выпила коктейль из вина и ядовитых красок — всё это Миша выслушал без особого интереса. А Юленька увлеклась! Она прекрасно знала историю и настолько живо передала все подробности, что Миша невольно провел параллели.

— Вот и я так же! Вот и ты со мной, как она с этим Гойей!.. — пробубнил он.

— Не говори глупостей. Он гений, она герцогиня, а мы с тобой простые служащие, — спокойно ответила ведьма. — К тому же мы в аду, а не на Земле. Здесь не до романов. Работать надо.

— Юль, я был у Семена Волоаковича, — вдруг сознался Миша.

— Это еще зачем? — спросила Юленька.

— Хотел узнать, что в моем личном деле, — насупившись, ответил Миша.

— Миша, ты придурок, — разозлилась Юленька. — Ты мне сейчас всё настроение испортил! Я же тебя нормальным адским языком просила — к Семену Волоаковичу не ходить!.. Хорошо, что он тебя на месте не разорвал.

— Он милый старик. Не понимаю, почему его боятся! — робко возразил Миша.

— Милый!.. — воскликнула Юленька. — Да ты хоть знаешь, какие у тебя будут неприятности?

— Знаю, — ответил Миша, хотя не имел ни малейшего представления о том, что его ждет. — Но я должен понять, кто я! Пока я полусознательный, мне житья не будет. Я как недоделанный какой-то! Я равным быть хочу!

— Миша, Мишенька, что ты несешь, — Юленька оставилась и кричала на него, как на сорванца-сына. — Каким равным!.. Кто недоделанный?.. Откуда ты взял этот бред? Ты понимаешь, что ты всё это выдумал?! Выдумал — и теперь творишь фантастические глупости, находясь под воздействием своих выдумок!

— Я узнаю, кто я, — проворчал Миша, обиженный тем, что с ним в очередной раз разговаривают, как с ребенком, — а потом ты будешь моей!

— Да что же ты за кретин такой! — закричала Юленька. — Я разок в шутку поцеловала тебя, и ты взбесился! Да это же смешно! У меня с каждым вторым такие отношения! Я ведьма! Я мужиков люблю, понимаешь?.. Всяких! С рогами, копытами, хвостами или без!

— Но если я стану сознательным, то ты будешь любить только меня! — не сдавался Миша.

— Ладно, пойдём Гойю смотреть. Жених хренов! — сказала Юленька, надела туфли, зажала сумочку под мышкой и стремительной деловой походкой направилась к музею.

Музей находился в здании, построенном по проекту Джакомо Кваренги в 1824 году. Заказ поступил от предыдущего мэра Дита. В здании планировалось разместить корабельные мастерские, но проект по строительству адского флота быстро похоронили. Природные водоемы преисподней можно пересчитать по пальцам, да и морские бесы оказались крайне недисциплинированными тварями. Вместо мастерских построили музей. Здание стояло на высоком стилобате черного гранита и было опоясано колоннадой из гранатового мрамора, добываемого в пламенеющих пустошах четвертого круга. У глав-

ного входа, куда вели тридцать широких ступеней, на каменных пьедесталах находились статуи двух псов, Гарма и Цербера. Они олицетворяли собой закон и порядок средних кругов. Нижние круги в шутку говорили, что верхи воняют псиной, а дракон Изиль вполне серьезно недоумевал, как можно выбрать в качестве эмблемы такое мелкое животное.

Двери в музей охранял черт-контролер. Он выглядел столь важным и суровым, что больше походил на демона из личной охраны Сатаны. Молодые люди вежливо поздоровались, заплатили по два меркурия и направились напрямиком к экспозиции Гойи. Их шаги отдавались гулким эхом в пустых залах. Посетителей было немного. Какой же нормальный бес после работы попрется глазеть на картины?.. Стояла такая тишина, что её страшно было нарушить даже шелестом одежды. В тусклом свете ламп, располагавшихся под высокими потолками, медленно оседала пыль. Юленька и Миша шли мимо коллекции эпохи Возрождения и, как зачарованные, смотрели на работы великих мастеров. Древние потрепавшиеся полотна Тициана, Боттичелли, Рафаэля вызывали у них трепет.

— Это что же, они все в ад угодили? — прошептал Миша.

— Не все, но многие. Особенно из эпохи Возрождения, — протяжно ответила Юленька. Она всё ещё злилась и потому манерничала, как дурной экскурсовод. — Тогда им покровительствовал сам Сатана. Позднее его хватка ослабла, и делами живописцев занялись в раю.

— Так здесь из рая тоже есть?

— Да, но для этого необходимо специальное разрешение. Автор должен пройти комиссию по адской культуре. Не всем удается.

— А кому удалось?

— Шагалу, например. Недавно приезжал. Уехал невероятно довольный!

Переходы между залами украшали массивные бархатные портьеры такого глубокого черного цвета, что, казалось, в них плещется грозовая синева. Стянутые золотыми подхватами, они были закреплены на чугунных крюках с набалдашниками в виде собачьей головы. Молодые люди осторожно продвигались вперед, боясь спугнуть величественное спокойствие древних полотен. Они долго бродили в поисках указателей, возвращались, плутали, но всё же приближались к цели.

В одном из залов они встретили незнакомца. Он был одет в темно-зеленый сюртук стиля «инкруаябль» с гигантским воротником, приправленным не менее внушительным галстуком. Его седые волосы, аккуратно уложенные на прямой пробор, великолепно гармонировали с белоснежной сорочкой. Штанов на нём не было. Из-под сюртука торчали козлиные ноги. Он двигался между картинами как можно осторожнее, стараясь не цокать копытами по полу, выложенному затейливыми мозаиками в духе сюрреализма. Юленька и Миша собирались незаметно проскользнуть мимо, но когда они уже стояли на пороге следующего зала, незнакомец произнес:

— Молодые люди, прошу вас, помогите. Я где-то оставил свой лорнет. Кто автор этих полотен?

— Магритт, — тут же ответила Юленька.

— Магритт? — задумчиво спросил бес. — И в каком же году он изволил попасть в ад?

— Он умер в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом.

— Ах, он из молодых! Большое спасибо, — бес повернулся и добродушно произнес: — Разрешите представиться — Лофарий Хлебников. Бес пятого порядка. Ныне нахожусь в бессрочном отпуске по состоянию здоровья.

— Очень приятно, ведьма Юля. Служу в канцелярии.

— Миша, — буркнул Миша.

— Молодые люди, — вежливо обратился козлоногий. — Если вас не затруднит, подскажите, пожалуйста, как пройти в залы с византийскими фресками?

— Судя по указателям, — ответила Юленька, — вам в том же направлении, что и нам. Это недалеко от экспозиции Гойи.

— Вы идете смотреть Гойю? — удивился бес. — Восхитительно! В вашем возрасте я интересовался разве что изображениями на игральных картах. В таком случае и я взгляну на Гойю. А если примете в свою компанию, то открою вам секрет, касающийся герцогини Альбы. Обещаю!

Миша мечтал провести время наедине с Юленькой, и потому появление старого беса его сильно огорчило. Он хотел возразить, но промолчал, насупился и тут же возненавидел себя за нерешительность. Зато Юленька была довольна. Юноша её решительно раздражал. Она нашла в бесе собеседника, который мог развеять её скверное настроение. Козлоногий заложил руки за спину, и компания двинулась в путь.

— Но для начала, чтобы не скучать в пути, я расскажу историю моей молодости. Историю любви, — сказал козлоногий.

— Разве в аду есть любовь? — спросила Юленька.

— Любовь есть всюду, уважаемая ведьма, — невозмутимо ответил бес и начал рассказ: — Это было очень давно. В те времена, когда ад и рай находились на пороге гражданской войны. Вы изучали историю ада?

— Да, — как прилежная ученица, выпалила Юленька. — Война началась в 301 году от рождества Назаретянина.

Совершенно верно, — подтвердил бес, — в раю пошли какие-то перестановки, полетели головы, была выбрана новая стратегия, а в аду губернатором объединен-

ных кругов был молодой и амбициозный Сатана. Он многое считал недопустимым, особенно антиадскую пропаганду на Земле, которую неофициально поддерживали высокопоставленные райские чины. Войну, как вы знаете, мы проиграли. Совсем недавно было подписано перемирие на весьма невыгодных условиях. После его подписания нас разделили на три области. Верхняя, средняя и нижняя. В каждой райских наблюдателей — как сельдей в бочке. Сатана формально является губернатором объединенных кругов, но на самом деле в его юрисдикцию входят только нижние три. Средние находятся в политическом хаосе. Наш мэр — большой либерал, а либерализм в преисподней — не самая удачная доктрина. Верхние остаются адом, но там правит райский ставленник, и жизнь наверху далека от наших суровых реалий. Впрочем, довольно о политике.

История моей любви началась за два года до войны, в 299 году от рождества Назаретянина. Тогда я был молодым бесом и прожигал жизнь в лучших притонах Земли. Это сейчас мы редко суем нос в земные дела, а прежде наш брат гулял по всей планете от Великой Китайской стены до ворот Рима. Тем летом я отправился по делу небольшого долга в Антиохию, одну из многих, что процветали на Ближнем Востоке. Я должен был забрать некую сумму у тамошнего жреца. Он сел играть в кости с моим товарищем, да продулся. Долг, как известно, платежом красен, но хитрый жрец не желал расставаться с деньгами. Во время игры он незаметно срезал волос с хвоста моего друга, воспользовался защитным заклинанием и сбежал.

Я прибыл в Антиохию ранним утром. Ночная прохлада ещё не отступила. В садах неуверенно щебетали птицы, по улочкам лениво бродили коты, ящерицы выбирали места погорячее и готовились прогреть ледяную кровь. Чрезмерное внимание к моей скромной персоне было ни к чему. Я оделся бродячим торговцем и отправился

к дому жреца. Погруженный в крепкий утренний сон, дом безмолвствовал. Я уселся в дорожную пыль и стал ждать. Меня дважды сморило, прежде чем ставни на втором этаже отворились и случилось то, что заставило меня забыть о цели своего приезда. В окне появилась невероятной красоты девица. Её ярко-рыжие волосы горели в лучах рассвета, как искры извергающейся Геклы. Девица была молода, крепка и даже немного грубовата, но зачем молодому и предприимчивому бесу экзальтированные неженки?.. Их в аду предостаточно. Словом, я полюбил!

Завести знакомство — бесу дело пустячное. Тремя днями позже мы резвились в полях за городом, а через неделю она объявила отцу, что намерена выйти замуж. Я мало что понимал в людских законах. Знал только, что будучи с ней, пока любовь не иссякнет, а земная любовь, знаете ли, имеет такое свойство. О долге отца я, разумеется, не вспоминал. О товарище своем — тоже. Так мы и жили в похоти и согласии два с лишним года, пока не пришла повестка. Счастье кончилось. Началась война. Моей Марине, так её звали, я сказал, что вынужден по семейным делам отбыть на родину, и отправился напрямик в адское пекло.

Как известно, райские и адские существа бессмертны, и пребывание как в раю, так и в аду бесконечно, но есть один фокус. Когда добро и зло находятся в близком контакте, наступает так называемый «момент истины», и обе сущности превращаются в поток заряженных частиц. Да что я вам рассказываю!.. Об этом любой чертенок знает! Война была в прямом смысле самоубийством. Никаких реальных столкновений быть не могло. Никто не хотел рассыпаться на атомы. Блиц, который планировали высшие чины, не удался, и началась затяжная стратегическая возня, полная обоюдного саботажа, информационных атак и удаленной борьбы за влияние на Земле.

Через год я вернулся на трехдневную побывку, но свою рыжую не застал. Оказалось, что старый дурак-жрец

случайно сжег оберег, и мой товарищ не замедлил явиться за долгом. Он тоже приударил за рыжей, но получил отказ. Тогда он осерчал, что часто бывает с бесами, и стал совращать её всеми доступными адскому выродку способами. Являлся ей то голубем, то драконом, морочил видениями, насылал сглаз и даже просил местных домашних спалить её хоромы. В результате со страху, а может, по глупости, она приняла крещение, что по тем временам было крайне неосмотрительно. Назаретянина считали кем-то вроде юродивого, а последователей его — придурковатыми. Папа-жрец был просто вне себя от ярости и вышвырнул рыжую из дома. Она жила в полях, на некогда облюбованных нами местах, а потом была схвачена и казнена за распространение христианской веры. Говорят, прежде чем отрубить голову, её долго пытали. А ведь ей не было и восемнадцати! Мой товарищ тем временем выбил из жреца долг и в качестве наказания отправил его в ад. Проткнул брюхо вилами. Словом, я приехал на пепелище.

— И что же, с тех пор вы с ней больше не виделись? — спросил Миша, нагнувшись к бесу, голос которого был едва слышен.

— Юноша, вы в своем уме? — удивленно спросил бес. — Я же сказал, она приняла мученическую смерть во имя Назаретянина. Она христианская святая! Как только мы приблизимся друг к другу ближе, чем на полметра, мы в виде протонов полетим в бескрайний космос! Понимаете?..

— Кошмар! Как же вы так спокойно об этом говорите?! — воскликнул Миша, и голос его эхом разошелся по залам.

— А как ещё быть с тем, чего не вернуть?.. — спросил козлоногий печально.

— Но вы хотя бы отомстили товарищу? — не унимался юноша.

— Я был молод, горяч. Как же не отомстить? Отомстил! — ответил бес. — Да разве месть сладка?

— Не просто месть, а справедливое возмездие! — возразил Миша. — Мерзавцев надо наказывать!

— Вы так считаете? — горько усмехнувшись, спросил бес.

— Убежден! — резко ответил Миша. — Нам ли в аду не знать, каково...

— Вот, Миша, мы и пришли, — вмешалась Юленька, чтобы одернуть юношу, который с присущим ему пафосом принялся рассуждать о справедливости.

— Давайте взглянем на полотно, — предложил козлоногий. — Я обещал открыть небольшой секрет. Сейчас самое время.

Миша вновь насупился и отступил в сторону. Юля и козлоногий подошли к картине. Полотно датировалось 1851-м годом, но Юленька уверяла, что это ошибка, и автор закончил картину сразу после смерти. На картине в присущей Гойе-портретисту манере была изображена дама средних лет с бокалом вина в руке. Рядом висела этикетка «Герцогиня Альба. Последний бокал. Франсиско Гойя. 1851».

— Я хорошо знал герцогиню. Мы были близкими друзьями. Истинно говорю, — едва слышно прошептал старый бес, — она не принимала яд. Её отравили.

— Кто же? — с ехидством спросил Миша из-за спины козлоногого.

— Некая весьма почтенная дама. Настолько высокопоставленная, что я не имею права произносить её имя, — не оборачиваясь ответил козлоногий.

— Ну вот! Получается, вы нас обманули. Секрет так и остался секретом! — сказал Миша и с демонстративным пренебрежением стал разглядывать другие картины.

— С ума сойти! — прошептала Юленька. — Я догадываюсь, кто мог это сделать! Это...

— Тссс, юная ведьма, — перебил её бес. — Даже у стен есть уши!

— Извините, пожалуйста, уважаемый Лофарий. Молчу.

— А по мне, так хоть бы она и сама отравилась. Какая разница?! — буркнул под нос Миша.

— Так... Хватит, — прошипела Юленька, которую вывело безобразное поведение юноши. — Нам пора. Ты не проводишь меня к выходу?

— Провожу, — угрюмо ответил Миша.

— Всего вам хорошего, молодые люди. Спасибо за компанию! — попрощался бес.

— До встречи, Лофарий, — кивнула Юленька и незаметно дернула Мишу за рукав.

Миша упрямо молчал. Тогда она схватила его за руку и потащила к выходу. Козлоногий вздохнул, покачал головой и отправился в полутьму зала византийской живописи.

В преисподней темнело стремительно. У выхода Юленька сухо попрощалась и помчалась вниз по ступеням. В тот же миг некто на гнедом пегасе вынырнул из темноты ночи, подхватил ведьму и унес её в неизвестном направлении. Миша не успел рассмотреть его лица, скрытого огромным черным капюшоном. «Кто? — терялся в догадках Миша. — Кто он, этот высокопоставленный демон — а обычные бесы на пегасах не летают, — кто? Вот стану сознательным, тогда всё откроется, не будет никаких тайн!.. Я в аду, и времени у меня — целая вечность!»

Юноша рисовал яркие картины будущего, одну прекраснее другой, но они тут же растворялись в бесцветной ночи скупо освещенного фонарями переулка. Вопреки фантазиям он медленно съезжал вниз, в яму отчаяния. Его пылкий характер требовал немедленного и счастливого

разрешения любого вопроса, при этом, желательно, без особых усилий. Но ад был не курортом, а исправительно-трудовым учреждением. Надеяться на чудо не приходилось. Любую награду нужно было заслужить и выстрадать. За этими размышлениями Миша незаметно добрался до остановки. Он вскочил на подножку трамвая и ещё раз бросил взгляд в бездонный колодезь неба. Ему показалось, что где-то высоко над крышами развеваются на ветру светлые кудри Юленьки. Он зло сощурился, будто взглядом решил покарать неизвестного обидчика, а затем, резко оттолкнувшись от поручней, прыгнул в вагон.

V

В коридоре возле ящиков со столярными инструментами лежала газета «Трудовой Дит». На первой странице под заголовком «Процесс века» красовалось огромное фото городского суда. На прошлой неделе закончился громкий процесс над группой пилигримов, которые нелегально возвращали на Землю отбывающих наказание грешников. Впервые на след этой банды напали в конце XIX века, когда из Дита исчез целый ряд бывших актеров комедии дель арте. Власти заявили, что сбежавшие не представляют опасности. В ход пошли отговорки, мол, в нижних кругах есть души пострашней, а охранка там тоже страдает. Происшествию не придали особого значения, провели ряд профилактических мероприятий — и захлопнули папку. Однако в 1945 году, когда в срочном порядке была собрана специальная райская комиссия по делам военных преступлений, адскому руководству задали непростой вопрос: «Каким образом эти души попали на Землю?». Дитские службисты кинулись искать виновных, отправили в каменоломни нескольких высокопоставленных демонов, но вразумительно ответить на вопрос не смогли. Началось расследование длиной в полвека. И вот несколько лет назад, благодаря широкой сети агентов, уда-

лось выйти на группу пилигримов. Под видом попрошаек, уличных актеров, проституток и прочего сброда они вербовали служащих канцелярии, для того чтобы получить доступ к личным делам грешников. Главаря банды, к сожалению, поймать не удалось. На скамью подсудимых попали два чертенка седьмого порядка и один пилигрим. Никто из обвиняемых не подозревал, что их «благая» деятельность может обернуться такими глобальными катастрофами, какие пережила Земля в первой половине двадцатого столетия. Прокурор популярно растолковал, почему нелегальная отправка душ на Землю опасна и последствия её непредсказуемы. Объяснил, что души, попавшие в преисподнюю за невинные шалости в одной эпохе, могут совершить невысказанные по тяжести преступления в другой. Напомнил об элементарных законах временной психологической несовместимости, которые обязан знать любой служащий на самой захудалой станции перерождения. Судьи возмущенно поохали, вынесли приговор, и компанию отправили в девятый круг.

Миша проснулся, умылся, на выходе из уборной схватил газету, стремительно ворвался на кухню, пролистывая последние новости, не менее стремительно съел бутерброд и так же стремительно умчался на работу. План горел, грузчики филонили, начальник отдела отдувался на планерке. Не успел Миша отправить первую машину с очередной порцией макулатуры, как в небе раздалось ржание пегасов, и возле транспортного приземлились двое. Первым был худой и высоченный, как каланча, старый демон, вторым — молодой бес с вытянутым змееподобным лицом и клубком шипящих аспидов на голове. Оба носили мундиры службы безопасности. Гости прошли в контору, не обращая внимания на поклоны и приветствия. Через несколько минут в дверном проеме показался шеф и жестами позвал Мишу внутрь. Выдавший виды начальник транспортного был явно напуган.

— Что вы еще натворили? — прошептал он и махнул рукой в сторону двери. — Идите, вас ждут.

В конторе стояла зловещая тишина. Все были погружены в работу, и даже молодые черти, болтавшие без умолку, чтобы как-то избавиться от безжалостной канцелярской скуки, теперь устали в столы и боялись поднять голову. Миша вошел в кабинет.

— Доброе утро, молодой человек, — вежливо сказал старый демон. — Присаживайтесь.

Миша догадался, что наступили те неприятности, о которых его предупреждали Юленька, Лидия Петровна и Семен Волоакович. Он покорно сел.

— Молодой человек, вчера вы были на приеме. Так? — задал вопрос старый демон и кивнул в сторону Семена Волоаковича. Тот, закинув ногу на ногу, сидел в дальнем углу и просматривал «Трудовой Дит».

— Так, — сказал Миша.

— Очень хорошо, — одобрительно сказал демон. — Отвечайте коротко, четко, по существу. С какой целью вы приходили?

— Я хотел узнать подробности личного дела, — смело ответил Миша.

Змееподобный, который стоял спиной к Мише и смотрел в окно, медленно повернулся, высунул раздвоенный язык и хищно прошипел:

— Чесстный!..

— погоди, Нагон Форкьевич! — одернул его старый демон. — Молодой человек, зачем вам потребовалось личное дело?

— Я хочу знать, за что попал в ад. Я не хочу быть полусознательным, — ответил Миша и устался в пол, как провинившийся ученик.

— Прекрасно и, главное, искренне, — заметил старый демон. — Это сильно облегчает нашу задачу и ваше положение.

В этот момент Семен Волоакович оторвал взгляд от газеты и сказал змееподобному:

— Нагон Форкьевич, друг любезный, отойди-ка от окна. Ничего не вижу. Совсем зрение ослабло!

Нагон тут же исполнил просьбу. Службисты смотрели на Семена Волоаковича с уважением и даже опаской. Миша заметил это. Он хорошо помнил, как волокли через канцелярию того хулиганистого чертенка, и надеялся на заступничество начальника отдела кадров в случае, если беседа «мирно, по-семейному» перерастет в серьезную трепку.

— Молодой человек, — продолжил старый демон, — ваши данные засекречены не для того, чтобы препятствовать, а как раз наоборот: чтобы помочь вам. Чтобы оградить от неприятностей.

— Оградить... — с усмешкой повторил змееподобный и добавил, не поворачиваясь к Мише: — В девятом будешь кофе без сахара трескать! Герой!

— погоди, Нагон Форкьевич! — повторил старый демон.

— Репликаторы по нём плачут! — поднажал Нагон, затем стремительно подошел к юноше и с издевкой спросил: — Знаешь, что такое репликаторы?

— Нет, — прошептал перепуганный Миша.

Аспиды на голове змееподобного изгибались и тихо шипели: «узнаешь, узнаешь, узнаешь».

— Нагон Форкьевич, я тебя прошу! Мишель поступил опрометчиво, но он хороший сотрудник. Обойдёмся без эксцессов, — вмешался Семен Волоакович.

Миша взглянул на него как на защитника униженных и оскорбленных. Недаром Семен Волоакович был начальником отдела кадров. Он умел расположить к себе.

— Мишель, — сказал он. — Репликаторы — это боксы, где отбывают наказание особо тяжкие грешники. Что там с ними делают, я не вправе рассказывать, однако основное вы должны знать: после исправительных процедур преступников восстанавливают при помощи нанорепликационных технологий, а использованные части тел выбрасывают. В нижних кругах полно тварей, для которых нет лучше корма, чем пара человеческих конечностей. Репликаторы требуют регулярной чистки. Служащие скребком счищают кожу со стен, подметают костную муку, выносят внутренности, сгоняют кровь в сточные каналы. Существует малоприятная должность — мойщик репликатора. Если не хотите распрощаться с канцелярией, Мишель, то мой совет — прежде всего забудьте о своём личном деле.

— Брось этот романтический бред! — начал было змееголовый.

— Да погоди ты, Нагон! — взмолился Семен Волоакович. — Прессуешь, как уголовника!

— Поймите, — вмешался старый демон. — Аду не нужны энтузиасты. Аду нужны рабочие единицы. Хотите безопасно существовать? Будьте как все.

— Я не могу быть как все. Я уже не как все! — вскрикнул Миша. — Все сознательные, а я не пойми кто!..

— В аду, Мишель, «не пойми кто» — порой залог успеха, — заметил Семен Волоакович.

— Слышь, герой, — ехидно прошипел Нагон: — в следующий раз прихвачу тебя на экскурсию. Поработаешь мойдодыром — год жрать не сможешь!

— Я бы на вашем месте, молодой человек, очень серьезно отнесся к словам Нагона Форкьевича, — сказал старый демон и резко оборвал беседу. — А теперь идите и работайте!

Миша вылетел из кабинета, не прикрыв дверь. Эти твари видели его насквозь. Они будто с первого дня следовали за ним по пятам. Откуда Нагон узнал про кофе? Случившееся не укладывалось в голову. Миша паниковал. Страх, ненависть и отвращение к себе смешались воедино. Он не понимал, как может существовать общество, в котором нет даже подобия личной жизни. У любого, самого распоследнего грешника должен быть маленький островок внутренней свободы. «Ад — исправительно-трудовое учреждение», — вспомнил он памятку на стене смерти-приемника. «В аду не место лжи и стеснениям», — процитировал он. «Индивидуалист — враг честного труда», — прошептал он. Так вот в чем смысл! Вот каково наказание! Они знают обо мне всё, я о них — ничего!..

Миша угрюмо отпахал смену и вернулся домой в полном отчаянии. На кухне хозяйничал Пафнутий Пафнутьевич. За окном начиналась буря. Мелкие частички песка кружились в горячем воздухе, забивались в щели между рамами, образовывали причудливые рисунки на подоконнике. Видимость резко упала. Соседние дома превратились в неясные мрачные очертания. Свет заходящего солнца сделался таким, словно карманный фонарик приставили к покрывалу из плотной ткани. Ад стремительно погружался в бордовый сумрак.

Пафнутий Пафнутьевич прикрыл форточку и обратился к Мише:

— Михаил, у вас неприятности?

— Не то слово, — ответил Миша.

— А вы в церковь ходите, — посоветовал Пафнутий Пафнутьевич и принялся колдовать солонкой над сковородой. — Помолитесь, и станет легче.

— Я неверующий, — сказал Миша.

— Ах, Миша, Миша! — воскликнул Пафнутий Пафнутьевич. — Какой вы еще ребенок! Откуда же в аду неверующие?

— Я первым буду, — огрызнулся Миша.

— Нет, Миша, ошибаетесь, — с горечью произнес служка. — Первым, уверяю, вы не будете.

Миша опять вспомнил встречу со службистами. Теперь, когда страх и отвращение заметно ослабели, остались только обида и желание отомстить. Особенно Нагону. С каким удовольствием он утопил бы эту мразь в фонтане возле канцелярии! Юноша, забывшись, стукнул кулаком по столу, испугался грохота и бросил короткий взгляд на Пафнутия Пафнутьевича. Тот либо ничего не заметил, либо сделал вид. Служка поставил на стол сковороду с яичницей и сел напротив. Миша почувствовал устойчивый запах перегара.

— Может, поужинаете со мной? — спросил Пафнутий Пафнутьевич.

— Нет, спасибо, — ответил Миша, положил локти на стол и вцепился пальцами в шевелюру. — Не до еды!

— А хотите, я расскажу одну историю? Уверяю, вам сразу полегчает, — сказал Пафнутий Пафнутьевич, характерно для выпившего растягивая гласные.

— Валяйте, — безразлично ответил Миша

Далее церковный служка медленно, будто каждое слово тяготило его, как непосильная ноша, поведал Мише следующее:

— Я жил уединенно. Прислугу не держал. Откуда взять средства молодому математику, недавно приступившему к диссертации? Раз или два в неделю ко мне заглядывал знакомый медик, и мы играли в шахматы. Я был странным юношей. Гулящая студенческая братия меня не слишком жаловала. Пирушки, официантки из пивных погребов, дуэли, мелкое хулиганство — всё это казалось мне глупым. Не помню точно, как во мне укрепилось чувство презрения к сокурсникам, но они казались мне пустышками. Профессор N считал мою работу перспективной,

и это придавало силы. Я трудился без устали и верил в то, что на меня возложена особая миссия — сделать выдающееся открытие. В свободное от занятий время я очень скучал по семье. Мама умерла от туберкулеза, когда я ещё учился в школе, но в деревне остались отец и сестры. Крепким здоровьем наша семья не отличалась. Уже тогда, за пятнадцать лет до смерти, я понимал, что мне не отвертеться от чахотки. Вскоре умерла старшая сестра, через два года — средняя. Присутствие смерти сделалось для меня обязательной частью существования. Когда неизлечимая болезнь забирает близких и вы не в силах этому помешать, смерть становится безжалостным наставником.

Вернувшись к работе после похорон сестры, я окончательно остыл к мирским делам. Однако в Бога тоже не уверовал. Соблюдал формальности, которые требовал отец — он служил деревенским пастырем, — но искренней веры не имел. Единственным богом для меня была наука. Я писал диссертацию, зарабатывал на хлеб репетиторством и мечтал хоть на недельку вырваться в родную деревню. Увы, это удавалось редко.

На завершающем этапе работы у меня начались головные боли. Знаете, такие специфические. От перенапряжения и усталости. Голову сжимало стальным обручем, мгновенно наступало чудовищное оупение, и я валился на кровать, как побитое животное. Но это полбеда!.. Настоящая беда пришла, когда я обнаружил в себе неконтролируемые приступы агрессии. Как человек благоразумный и воспитанный, я держал себя в руках, но приступы становились все тяжелее, из-за чего я перестал выходить из дома без особой нужды. Боялся что-нибудь натворить.

В то воскресенье я отправился на другой конец города. У меня был чудесный ученик,мышленный мальчик из семьи прилежных буржуа. Они не сэкономили на образо-

вании сына и платили мне в среднем больше, чем принято за такую работу. Я провел урок, получил плату, а после решил зайти куда-нибудь пообедать. Был конец июля, день выдался прекрасный. Я выбрал небольшой трактир с простой домашней кухней и столиками в саду. За обедом у меня опять начался приступ. Причина пустяковая. Мне подали теплое пиво. Однако собраться с силами не удалось, и я расплатился, не закончив трапезу. Когда я вышел на тропинку, ведущую из сада в проулок, мне навстречу выбежала девочка. Ей было года три, может, четыре. В руках она держала куклу, тряпичную самодельную куклу. Я прошел мимо, я уже стоял на мостовой, но...

В этот момент служка замер. Его лицо исказила едва заметная гримаса. Некая смесь ужаса и отвращения. Наконец он прошептал:

— Я ударил...

Он не осмелился произнести, кого. Местоимение «её» являлось неопровержимым свидетельством его болезни и одновременно — суровым, не подлежащим обжалованию приговором.

Он повторил:

— Я ударил. Пнул ногой и убежал.

Пьяный служка на мгновение впал в транс. Он закатил глаза и то ли молился, то ли подсчитывал что-то в уме. Миша с опаской смотрел на этот спектакль. Уж не горячка ли? Может, скорую?.. Однако Пафнутий Пафнутьевич быстро пришел в себя, открыл навесной шкафчик, достал бутылку, стесняясь, отхлебнул и продолжил:

— По дороге я скинул плащ, выбросил шляпу, взъерошил волосы, в общем, избавился от всего, что в полиции называют «приметами подозреваемого». Без приключений я добрался до дома и всю ночь, как пасьянс, раскладывал версии, которые предоставлю следователю в случае поимки. Ну, а утром первым делом выскочил на улицу и купил у мальчишки свежую газету. Нет. Не зашиб!

Пафнутий Пафнутьевич словно отрещивался от существования девочки, словно уговаривал себя, что её не существовало.

— Не зашиб. Только синяки и ссадины. Никто ничего не видел. Вскоре я рассказал другу-доктору о своей болезни. Он настоятельно порекомендовал оставить математику. Я не послушался и тогда пошел отсчет серым будням земного существования. Еще долгих пятнадцать лет я, не живой, не мертвый, тащил своё тело к могиле. Великолепное математическое будущее погибло, но на место выдранного лоскута не подошла ни одна заплатка. Я жил с дырой в сердце. Подрабатывал репетиторством, налегал на выпивку, да ежедневно ломал голову, как же это произошло. Сначала я винил во всем высокомерие и честолюбие — ведь я считал себя гением. Я мечтал показать университетским хлыщам, что не записной дуэлянт и пьяница, а скромный, прилежный трудяга достоин всеобщего восхищения. Потом я вспомнил, что в детстве получил серьезную травму головы, и стал всё списывать на физиологию. Туберкулез тем временем прогрессировал, и наконец, не найдя ответа, я скончался.

Пафнутий Пафнутьевич небрежно отодвинул тарелку с остывшей едой, подошел к шкафчику, сделал очередной глоток и торжественно продолжил:

— Знаете, Миша, в аду ответы находятся быстро. Меня определили служкой в собор святого ересиарха Нестора. Это и был ответ. Я понял нечто важное! Математикой я хотел осчастливить мир, преподнести ему новую изящную формулу, мнил себя демиургом. Я забыл, что сам являюсь частью этого мира, и далеко не самой лучшей его частью — завистливой, надменной, трусливой. Я должен был обратиться к внутреннему, позволить себе глоток свежего воздуха, зажечь свечу в собственной каморке, но вместо этого корпел над бумагами, пока не сошел с ума. В церкви ко мне пришло откровение — талант без веры обречен на безумие. Главная ошибка таланта заключается

в том, что труд он ставит превыше всего, обожествляет, делает его религией. Глупость! Любой труд, любое дело — это лишь малая часть огромного, и не замечают этого только узколобые идеалисты-неврастеники. Вера — единственное великое дело!

— Странно у вас получается, Пафнутий Пафнутьевич, — усмехнулся Миша. — Вы все твердите: себе, себе, себе, — и вдруг — вера!.. Уж не знаю, как здесь, но на Земле вера — это самоотречение, а не «себе, себе, себе».

— Да что вы земные-то пасторали сюда тащите! — взвизгнул Пафнутий Пафнутьевич. — У моего папаши главным после Бога был Назаретянин. Но ведь это чушь! Главным после Бога всегда был, есть и будет Сатана! Всю эту ересь про жертвенность во имя веры рассказывают для того, чтобы держать в узде паству. Это церкви касаются! Церкви, а не веры!.. И вопросы это дисциплинарные, а не духовные. Стоит же заглянуть в духовное, и Назаретянин — а тем более Папы с патриархами — никогда не стояли так близко к Господу, как тьма. Тьмой он награждает нас, чтобы мы ценили свет. Надо бы вам, Миша, в собор сходить, мессу послушать. Сразу разберетесь!

— Спасибо. Как-нибудь схожу, — машинально пообещал Миша.

Ему быстро наскучили религиозно-философские рассуждения подвыпившего служки. Миша лишний раз убедился, что Пафнутий Пафнутьевич горький пьяница, более того, услышанное заставило его взглянуть на соседа с отвращением. «Убогий, больной душой и телом мелкий черт», — подумал юноша. Он сухо поблагодарил за беседу и отправился в свою комнату.

Буря усиливалась, старые оконные рамы дрожали под натиском ветра и угрожающе скрежетали. Электричество час как отключили. Миша разделся и лег. Ему не спалось. Прошедшие дни были переполнены событиями. Юноше казалось, что за короткий срок он прожил целую веч-

ность. Миша не помнил прошлого, он боялся будущего, однако своё «сегодня» он знал в лицо, и лицо это корчило дикие гримасы. Стоило только прикрыть веки, как из пустоты являлся змеиный лик Нагона и шипел тысячами аспидов: «узнаешь, узнаешь, узнаешь». Наверное, Юленька права: в аду никакой любви быть не может. «Не может, не может, не может...» — повторяло эхо утомленного сознания. Миша вздрогнул, открыл глаза, но в полутьме комнаты, среди размытых очертаний простенькой мебелировки, взгляду было не за что зацепиться. Он повернулся на бок и принялся изучать узоры на старых пожелтевших обоях; вскоре усталость взяла верх, и он уснул.

Несколькими часами позже, где-то около трех, раздался стук в дверь. Миша не помнил снов. От них осталось только глубокое чувство страха, которое парализовало его. Он не мог, не смел пошевелиться. Спросонья ему казалось, что за ним пришел Нагон. Стук повторился. Оцепенение исчезло. Юноша быстро натянул шорты и метнулся к двери. На пороге стояла ведьма Клава, в длинной ночной рубаше из плотной белой ткани и свечой в руке.

— Миша, выручай, — прошептала Клава. — Не хотела никого беспокоить, но у меня, того гляди, окно вылетит! Щеколды сломало! Посмотри, а?..

— Да, конечно, — отозвался Миша и побрел, потирая глаза, в комнату ведьмы.

Он поставил свечу на подоконник и принялся изучать задвижки. Действительно, внешняя рама сильно стучала, но никаких повреждений он не нашел. Ржавый штырь шпингалета наполовину торчал наружу, и поэтому рама была прикрыта недостаточно плотно. Миша попробовал задвинуть шпингалет, но не смог. Тогда он обернулся, чтобы попросить у Клавы наждачку и машинное масло.

Клава стояла перед ним совершенно голая.

— Тут шпингалет ... — промямлил Миша.

— Я знаю, — сказала Клава низким, грудным голосом и опустила на колени.

Миша отступил назад, прислонился к стене и захлебнулся в кроваво-красной ночи. Дальнейшее никак не входило в его планы, более того, являлось оскорбительным по отношению к Юленьке. Однако он не испытывал угрызений совести. Ему было хорошо. Клава знала толк во всех видах чувственных безобразий. Незаметно для себя Миша оказался в центре такой вакханалии, что бывшее увлечение секретаршей из отдела снабжения показалось ему слабым, едва заметным огоньком среди бушующего океана страсти. Клава источала невероятные сочетания запахов. Muskus, сандал, молодой чеснок, чего только не было в этом букете!.. Запах сводил Мишу с ума. Пот лил с него так, словно он разгружал фуру с документами четвертого архива. Крепкая двуспальная кровать, выдавшая виды, жалобно скрипела. Клава стремительно и методично вела свою партию. Она подсказывала юноше ходы и постепенно загоняла его в угол. Кульминация не заставила себя ждать. Ведьма сдалась первой, и, глядя на её судороги, Миша окончательно потерял голову. Звериная натура взяла верх. Дыхание участилось. Он зарычал, содрогаясь над телом ведьмы, и наконец, выгнув спину, повалился на бок. А после наступила тишина. Комната погрузилась в нее, как раскаленная сталь в ледяную воду, и только стук внешней рамы нарушал покой.

— Уже давно за полночь, а света всё нет, — растерянно сказала Клава, глядя в потолок.

— Клава, ты такая... — начал Миша.

Клава положила ему руку на губы и сказала:

— Побереги комплименты для девочек из канцелярии. Мне оценки не нужны. Я о себе всё знаю.

Упоминание о канцелярии задело Мишу. Он вспомнил Юленьку и хотел было развести привычный высокоморальный сыр-бор, но впервые промолчал. Было

очевидно, что любые разговоры излишни. Он надел штаны и собрался было уходить, но Клава взяла его за руку и сказала:

— Иди за мной. Осталось уладить еще одно маленькое дельце. Без тебя я не справлюсь.

Она потащила Мишу по темным коридорам коммуналки к входной двери. Миша покорно следовал за ней. Он решил, что речь идет об очередном шпингалете. Парочка выскочила на лестничную клетку, а затем мигом поднялась на последний этаж. Клава щелкнула каким-то брелком, открыла люк чердака, и Миша обнаружил, что вверх ведет лестница — старая, ржавая, винтовая. Интерьер резко изменился. Лестница наматывала обороты вокруг покрытого плесенью и мхом столба из красного кирпича. Внешняя стена состояла из клепаных железных листов, проеденных до дыр ржавчиной. Наконец, они уткнулись в деревянную дверь, Клава откинула щеколду, и Миша застыл от удивления. Ничего похожего на крышу обычной пятиэтажки снаружи не было. Перед ними была прямоугольная смотровая площадка на верхушке древней зубчатой башни. Стояла тихая прозрачная ночь, одна из тех летних ночей, когда в стрекоте кузнечиков едва различимы плач свирели Пана и смех юных дриад. Клава проворно забралась на стену, вскинула руки к небу и крикнула:

— Какая ночь!.. Как хорошо, что я свистнула стик-портал у знакомого демона. Миша, иди сюда! Мы сейчас в первом кругу на сторожевой башне Лимба. Ближе к небу нам не бывать никогда! Иди, иди сюда!

Лимб считался свободной зоной. Здесь легально продавали марочное вино из райских виноградников, выступали ангельские хоры, встречались заезжие Серафимы и прочие высшие служители неба. Они проводили суровую небесную зиму поближе к жарким пустыням четвертого круга, чем доставляли немало проблем руководству преисподней. В службе безопасности с презрением смотрели на первый круг. С одной стороны, Лимб офи-

циально относился к аду, с другой, местная вертикаль власти полностью состояла из старейших обитателей, которые хранили устойчивый нейтралитет в событиях новейшей истории. Недавняя война казалась им временным недоразумением, за счет которого можно было пополнить казну. Дохристианские божества, герои и мыслители древнего мира делали ставку на туризм и торговлю, и потому Лимб процветал.

Юноша выбрался из душного лестничного пролета, сделал несколько робких шагов и вдохнул удивительно чистый, прохладный воздух. Над головой сияло звездное небо. Никогда еще не видел он такого стремительного движения звезд. Они мчались так быстро, точно невидимый киномеханик крутил ручку проектора с удвоенной скоростью. Некоторые то и дело срывались, покидали хордов и падали куда-то за горизонт.

Мише показалось, что он попал на Землю. Как забойщик после долгой смены, поднявшийся из шахты, он чувствовал усталость и вместе с тем невероятный простор. Душные закоулки Дита остались далеко позади и, воодушевленный внезапной свободой, он произнес:

— Пока ты слушал Гоа, она нашла другого.

Иллюзия тут же исчезла. Ему стало страшно. От обилия свежего воздуха закружилась голова и пересохло в горле. Мишу стало лихорадить.

— Голова кружится, — прохрипел он. — Пойдем обратно.

Клава опустила руки, пристально посмотрела на юношу и сказала:

— У-у-у, да ты, братец, совсем сдулся. А я не ради забавы тебя сюда притащила! Стик-портал — могущественный артефакт. С ним можно переместиться в любой круг. Одно нажатие, и ты уже в пламенеющих пустошах. Беги! Беги к пилигримам, а оттуда обратно на Землю! Тебе тут не место!

— Советовал уже бежать, — произнес Миша безразлично. — Нищий какой-то. Как его?.. Архитектор! Ерунда это всё.

— Архитектор? — переспросила Клава и рассмеялась. — Пожалуй, что да. Он архитектор!

Она села на край стены и свесила ноги вниз:

— Его зовут Афонсу! — крикнула она. — Давным-давно он был великим мореплавателем! Это он тебя заметил. У него нюх на таких, как ты.

— Так вы знакомы? — спросил Миша.

— Дурацкий вопрос. В аду все друг с другом знакомы, — ответила Клава. — Он сразу предложил вывезти тебя отсюда, но ты заупрямился. Тогда я решила сама договориться.

Клава поднялась, прыгнула со стены и подошла к Мише.

— Мы же договорились, правда? — сказала она ласково и прижалась к юноше.

— Я уже сказал — я никуда не побегу, — устало прошептал Миша.

Внезапно ему стало стыдно за прошедший вечер. За эту глупую связь. Он развернулся и неуверенной походкой побрел к лестнице.

— Ты идиот! — крикнула Клава вслед. — Идеалист долбаный! Свои дешевые страстишки ты принимаешь за любовь! А любви в тебе ни на грош! Одно позерство!

В этот момент на крыше появился Афонсу. Он неуклюже вывалился откуда-то из темноты и упал ведьме чуть ли не на голову. Миша с трудом узнал его. От нищего, клянчившего милостыню у церкви святого ересиарха Нестора, не осталось и следа. Перед Мишей стоял благородный старик с длинной белоснежной бородой, в черном котарди с низким поясом, на котором висела шпага и уже знакомая дага.

— Слегка промахнулся со стик-порталом. Прошу меня простить. Итак, Клавдия, у нас всё готово? Будем отправлять юношу? — сказал он деловым тоном.

— У нас-то готово, да юноша дурень. Не хочет юноша! — зло сказала Клава.

— Так... — произнес Афонсу и присел на парапет. — Ты уж извини, что я на «ты». Любезничать некогда. Ты понимаешь, кто я?

— Ещё бы, — ответил Миша, даже не взглянув на старика. — Оборванец из церкви.

— Ясно, — сказал Афонсу, на четверть вынул клинок из ножен и резким движением задвинул его обратно. — Тогда будем действовать иначе. Ты, кажется, мечтал о дуэли? Хотел проткнуть Юлькиного любовника шпагой?

— Не называй её Юлькой. Пожалуйста, — попросил Миша едва слышно и принялся тереть виски.

У него раскалывалась голова. Волны паники накатывали одна за другой. Он хотел поскорее оказаться в своей темной и душной комнате. Но Афонсу был неумолим. Он приблизился, крепко схватил юношу за плечи и, как трусливому солдату, скомандовал:

— В бой! Проверим, какой ты фехтовальщик. Клавдия, оружие!

Клава подала неизвестно откуда взявшийся клинок. Юноша неуверенно взял его и застыл в нелепой позе, поглядывая на спасительный путь к бегству. Увы, он понятия не имел, как пользоваться шпагой. Теперь, когда нужно было отбросить слова и действовать, Миша безвольно повис на руках Афонсу и ждал своей участи, как бычок, приготовленный на убой. Афонсу оттолкнул юношу, обнажил клинок, а затем стремительно для своего почтенного возраста встал в боевую стойку.

— Зачем этот маскарад? — промямлил Миша и выронил шпагу.

— Маскарад? — крикнул Афонсу и засмеялся. — А как же без этого маскарада ты решил защитить свою любовь? Ты же только о ней и болтаешь. Со всеми и с каждым. И даже с нищими!

Мише снова стало стыдно, но намек на то, что пришло время подкрепить слова делом, он не понял и стоял перед Афонсу, переминаясь с ноги на ногу.

— Я хочу домой. Зачем вы меня сюда притащили? — захныкал он и присел на корточки.

Афонсу подошел к юноше, поставил на ноги, встряхнул и повторил:

— В бой, ваше превосходительство болтун. В бой.

Клава вновь подала шпагу. Миша не мог не заметить её улыбки. Эта улыбка, как лезвие, полоснула по его гордости. Он достал шпагу из ножен и встал, широко раскинув руки.

— Убивайте, раз так.

Улыбка тут же исчезла с губ ведьмы. Афонсу резким ударом проверил, крепко ли сидит шпага в руках соперника. Готов ли тот к бою? Да. Он был готов! Впервые в жизни он был готов если не драться, то хотя бы без лишнего позерства сносить превратности судьбы. Афонсу это понравилось, и он начал бой, но скорее не ради победы, которая при желании могла наступить мгновенно, а ради того, чтобы дать юноше шанс исправить унижительное положение. Миша неуклюже размахивал оружием: то пытался проткнуть неприятеля подобием выпада, то рубил сплеча, как будто это была не шпага, а топор, — но Афонсу невозмутимо парировал удары без всякого намека на комичность ситуации. Наконец, для пущей строгости он заехал юноше эфесом по зубам. Миша сплюнул кровавую слюну и заметно приуныл. Афонсу понял, что фарс затянулся.

— А теперь, мой юный фехтовальщик, слушай внимательно, — он, как дирижёр, взмахнул шпагой, и на груди

у Миши появилась царапина. — Первое: четвертый отдел адской канцелярии переезжает уже пятьсот лет и будет переезжать еще пятьсот. Там одних архивов по продаже душ — тысячи бесконечных стеллажей. Таким образом, все твои планерки с графиками — чушь! Сизифов труд!

Миша прижал руку к груди, будто хотел поймать появившееся там пятно. Афонсу вновь взмахнул шпагой, и пятно перепрыгнуло на штанину чуть выше колена. После этого выпада Миша выронил оружие, окончательно потеряв интерес к дуэли.

— Второе: у нас огромная организация. Тысячи агентов. Мы тратим массу энергии и средств, мы рискуем собственными душами, чтобы вызволить таких, как ты. Я сутками сижу в пыли возле собора, шляюсь по самым грязным закоулкам Дита, вожу знакомства со всяким сбродом, от бывших чистильщиков-репликаторов до тварей из окрестностей Коцита, и всё это только для того, чтобы спасти тебя и тебе подобных.

— Так вот вы кто! Вы главарь банды. Это вы нелегально отправили те страшные души на Землю, — сказал Миша и опять опустил на корточки. — Вы уголовник.

— Замолчи и слушай! Да, всех этих будущих шизофреников — тиранов, маньяков-вождей, партайгеноссе и прочую сволочь — вытащили отсюда мы. Но у медали есть другая сторона. Заключается она в том, что благодаря нам за последние столетия на Земле родилось больше гениев, чем за всю предыдущую историю. Никто не знает, какой дорогой пойдет беспокойная душа. В перспективе Адольф Шикльгрубер должен был стать величайшим художником, не менее великим, чем Ван Гог, а Иосиф Джугашвили — учителем, не менее мудрым, чем Гурджиев. Но никто не дает гарантий! Мы ошиблись в выборе десятков, однако не ошиблись в выборе сотен, чьи имена с благодарностью будут вспоминать будущие поколения. Именно поэтому на нас охотятся как на небе, так и под землей.

Раю и аду не нужна сильная, мудрая, свободная планета. Им нужен разлагающийся отстойник — стадо, которое каждый пастух пасет на свой манер.

— Но я не великая душа и не гений. Я обычный канцелярский служащий, — в отчаянии сказал Миша.

— Дурак! — крикнул Афонсу. — Что ты знаешь о себе?! Ты можешь родиться новым Эйнштейном, Шагалом, Гессе!

— Да-да, — прошептал Миша сплевывая кровавую слюну. — Могу Шагалом, а могу шакалом.

— Риск того стоит! — резко сказал Афонсу.

— Нет, благородный Афонсу, не стоит, — возразил Миша. — Я домой хочу. На работу. К Юле. Я её люблю.

— Дурак! — заревел Афонсу. — Ты сам не знаешь, в какую игру впутался! Ты на волосок от гибели, и то, что ты называешь любовью — на самом деле яд в твоём воспаленном сознании. Поверь, тебе нужно бежать, иначе Нагон отправит тебя туда, откуда не возвращаются, туда, где не существует ни любви, ни вообще чего-либо человеческого.

Миша умолк. Казалось, он сдался. Афонсу подошел, наклонился к самому уху юноши и шепотом произнес:

— И наконец, третье: любовника твоей Юленьки зовут Семен Волоакович Винный.

— Об этом даже самому распоследнему чертенку известно! — злорадно добавила Клава.

Афонсу убрал шпагу в ножны, но в левой его руке осталась дага. Миша сидел, опустив голову в колени. Его лица не было видно. Клава вновь забралась на парапет и встала спиной к дуэлянтам. Она наслаждалась звездным небом первого круга — самым прекрасным небом во всей преисподней. Над черепичными крышами невысоких деревянных домиков, уютно расположившихся во круг башни, стоял туман. Светало.

— Первый круг гуляет до утра! Вино, танцы... Как я им завидую! — сказала она.

Миша поднял голову. По его щекам текли слезы. Он посмотрел на Афонсу и прошептал:

— Неправда.

— Миша! — крикнула Клава. — Ты так ничего и не понял?.. В аду нет и быть не может никаких секретов. Только слепые котята, как ты, барахтаются в луже собственных иллюзий! Откуда Нагону знать о твоём кофе без сахара? Откуда нам знать о Юльке? Откуда?..

— Винный пятьдесят лет назад избавился от Лидии Петровны, — добавил Афонсу. — Перевел её в транспортный. Слишком старая стала! Потом завел роман с молодой перспективной Юленькой. Со следующего понедельника она начинает работать в отделе кадров.

Миша молчал. Перед его глазами плыли кроваво-красные круги. Во рту стоял соленый привкус крови. Он был не в силах бороться с неизвестностью. Пустота пристально смотрела на него, и он не смел отвести взгляда.

— Убейте меня.

— Это пожалуйста, — равнодушно сказал Афонсу и вонзил дагу юноше в сердце.

Дул горячий ветер из пламенеющих пустошей четвертого круга. Клава стояла голая, лицом к восходу. Боль пронзила Мишу. Такая острая, что на мгновение в ней растворилось всё — люди, события, страхи, надежды и даже бескрайний сумрак адской неизвестности. Перед ним возник путь к избавлению. Он прижал ладонь к ране и с облегчением подумал, что даже в аду страданиям есть предел. «Смерть — это свобода, смерть — это знание!» — грянуло в голове Миши многократное эхо. «Смерть — это свобода! Смерть — это знание!» — возопил голос демона из смерти-приемника. «Смерть — это свобода! Смерть — это знание!» — прошептал он и повалился на спину. Он с нетерпением ждал того момента, когда перед гла-

зами умирающего пробегает вся жизнь, каждая её мелочь, каждая забытая деталь. Он ждал последнего откровения! Но напрасно. Боль быстро отступила, Миша открыл глаза, взглянул на раны и с удивлением обнаружил, что они затянулись. Лишь на груди красовался тонкий розовый рубец. Он сел и вопросительно посмотрел на Афонсу.

— В аду смерти нет, — спокойно сказал Афонсу и убрал дагу в ножны. — Смерти нет, и конца страданиям нет. Приготовься, у нас очень мало времени. Сейчас я переброшу тебя в пламенеющие пустоши. Там в курсе, кто ты. Получишь все необходимые инструкции, еду и ночлег. Готов?

Миша поднялся и подошел к Афонсу. Дуэль была закончена, но решающий удар так и не нанесен. Что-то произошло с юношей. Какое-то странное, неожиданное превращение. В нём умер инфантильный кучерявый лоботряс. Миша повзрослел за считанные секунды. Он говорил спокойно, уверенно и совсем не заносчиво.

— Знаете, Афонсу, вы, сами того не желая, открыли мне истину. Там, где нет смерти — нечего терять! Там, где страдания вечны — нечего бояться. Зачем возвращаться на Землю? Зачем возвращаться туда, где есть прекрасное прошлое и великолепное будущее, но нет и никогда не будет такого настоящего? В аду мой дом. Здесь меня многому научили. Здесь я стал настоящим человеком, и теперь, раз уж я человек, бежать мне как-то не с руки. Прошу вас, Афонсу, одолжите ваш клинок. Вскоре он мне пригодится.

Афонсу не мог не заметить перемен, произошедших с Мишей, и махнул рукой. Он без лишних вопросов протянул клинок, поклонился и исчез. Клава сказала, что встретит рассвет на башне, и, как только юноша нырнул в пролет винтовой лестницы, вызывающе крикнула небу:

— Таков твой замысел! Да? Таков твой проклятый замысел!..

А Миша спешил. Он летел по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. В коммуналке по-прежнему все спали. Он схватил лист, сел за кухонный стол и написал: «Семен Волоакович — мерзавец! Сегодня я вызову его на дуэль! Прощайте, Юля!». Затем он запечатал конверт и побежал на почту. Далее проулками — так было быстрее — он помчался в канцелярию, по дороге обдумывая, что сказать Винному в решающий момент.

На проходной былолюдно. Рабочий день только начинался. Миша перевел дыхание и спокойно прошел к лифту. В руке он сжимал заветную дагу, обернутую в свежий выпуск «Трудового Дита». Этот кусок стали, недавно побывавший в его сердце, напоминал о том, что теперь-то уж бояться нечего. Поначалу Миша сомневался — а не заглянуть ли в отдел снабжения, не сказать ли Юленьке что-нибудь на прощание. Но нет! Зачем?.. Он пришел к выводу, что поступок, на который он решился, не столько дело любви и ревности, сколько акт протеста, бунт против размеренности адского существования, революция одного маленького, но бесстрашного человека. Миша спешил навстречу репликаторам, и чувства к Юленьке теперь казались ему мелочными по сравнению с тем, что его ждало. Он — полусознательный — открыл великую тайну, главный просчет системы, главную её уязвимость — в аду смерти нет! Как же всё просто!.. В аду смерти нет!

Миша распахнул дверь и вошел в кабинет Семена Волоаковича.

— А, Мишель, вы что-то хотели? — не отрываясь от бумаг, произнес демон. — И почему без стука?

— Семен Волоакович! — сказал Миша громко, словно боялся не докричаться до демона. — Семен Волоакович, я хотел вам сказать, что вы ничтожество. Вы подлец!

— Что?! — удивленно произнес демон и взглянул на юношу.

— Вы знали о моих чувствах к Юленьке. Знали и молчали! Вы мерзавец! — произнес Миша и достал дагу.

Он планировал произнести обвинительную речь, после чего вызвать Семена Волоаковича на дуэль, но дальнейшее произошло настолько стремительно, что Миша не успел вымолвить ни слова. Облик демона мгновенно изменился, лицо флегматичного старика исчезло, и над широким остовом черных крыльев появились три огнедышащие пасти на тонких змеиных шеях. Семен Волоакович прошипел боевое парализующее заклинание на шумерском. Мишу ударной волной выбросило в коридор. Он влетел спиной в стену и сполз вниз. Вдоль стены по направлению к его голове тянулся кровавый след. Из нагрудного кармана гавайской рубахи вылетели фантики от конфет, пачка сигарет и какие-то скомканные бумажки. Семен Волоакович взял первую попавшуюся. На ней был рецепт пирожков.

Демон втащил тело юноши в кабинет, запер дверь и поднял трубку телефона.

— Алло, Юля?

— Да, Семен Волоакович.

— У вас в отделе пару склянок с корвалолом не завалялось?

— Что случилось, Семен Волоакович? — тревожно спросила Юленька.

— Да тут храбрец ваш на меня с ножом кидался. Перенервничал я. Сердце уже не то.

— Семен Волоакович, только не убивайте, умоляю, только не убивайте, — из трубки послышались Юленькины всхлипывания.

— Юля! Как я могу его убить? Он давно умер! — раздраженно сказал Семен Волоакович.

— Ой, простите, простите, это я с перепугу. Семен Волоакович, миленький, я вас умоляю, — Юленька от

всхлипываний перешла к монотонному плачу. — Не надо его в репликаторы. Пощадите, Семен Волоакович!

— За что тебя люблю, Юлька, так это за то, что ты всё делаешь с перепугу!.. — ответил демон. — Чертенка с корвалолом пришли. Сама сюда ни ногой. Вечером перезвоню.

Миша лежал в углу. Он уже пришел в себя, но действие боевого заклинания еще не закончилось. Казалось, мир вокруг его неподвижного, искалеченного сознания стал ватным. Сквозь белые хлопья спертого канцелярского воздуха он видел, как Семен Волоакович разговаривает по телефону. Он не слышал, с кем и о чем, но догадывался, что демон звонит в службу безопасности. «Наверно, Нагону», — подумал Миша.

— Алло, Лидия Петровна, голубушка.

— Да, Семен Волоакович.

— Ваш координатор сегодня на работу не выйдет. Я думаю, он вообще не вернется в транспортный отдел.

— Семен, я тебя прошу, только не в репликаторы, — послышался крайне серьезный и в то же время умоляющий голос Лидии Петровны. — Семен, ради нашего прошлого, я тебя прошу.

— Да вы что все?! Обезумели от него, что ли?! — воскликнул демон. — Одна, вторая!.. Черт знает что!

— Сеня, я тебя очень прошу, только не в репликаторы, — повторяла Лидия Петровна.

— Ладно. Посмотрим. Пришли всё, что по нему накопилось. Сделаю что смогу.

Действие заклинания ослабело. Миша уже мог шевелить руками и даже попытался сесть. Демон заметил, что юноша пришел в себя, приблизился, опустился на корточки и холодно произнес:

— Значит, так, Мишель, после всего, что случилось, я позволю себе перейти на «ты». Мой тебе совет — лежи,

не двигайся, если не желаешь попасть в репликаторы. Скоро приедет бригада «Скорой помощи», тебе сделают укол, и всё останется позади. Ты хотел знать, за что попал в ад? Пожалуйста, я с удовольствием расскажу. На Земле, Мишель, ты был рядовым бездельником, ди-джействовал в ночных клубах для граждан сомнительного поведения. Там же пристрастился к порошочкам. Вскоре психика твоя полыхнула и сгорела. Подружка ушла. Друзья отвернулись. И однажды в пасмурный осенний день ты хватил лишку. То ли от жадности, то ли совсем с катушек слетел. Дозой, что ты себе вколол, можно было слона убить! Вот так закончились твои земные гастроли. Пойми, Мишель, никакой ты не герой, а обычный наркоман, и никакого возврата твоей убогой душе не будет, потому что ты — шлак вселенной. Ты наслушался рассказов Афонсу и Клавдии, а они только милостью нашего мэра на свободе ходят. Большой либерал их превосходительство Сатьян. Случись тебе убежать к пилигримам, переродиться на Земле все равно крайне сложно. Некоторые сотнями лет скитаются по пламенеющим пустошам и ждут свой счастливый билет. Ты что же думаешь?.. Сел и поехал?.. Там такой контроль, что найти нелегальное тело и добраться до Земли — это один случай на десятки тысяч! Лежи спокойно, Мишель, и ни о чем не думай. В репликаторы я тебя не отдам. Вот укольчик сделаем, ты же любишь укольчики, очистим твою буйную голову от глупостей, и начнешь новую жизнь.

Демон улыбнулся своему остроумию и, довольный беседой, оставил Мишу в покое. Вскоре раздался стук. В кабинете появилась бригада «скорой» — два чертенка-санитара и ведьма-врач. Ведьма положила на стол бланк и деловым тоном попросила подписать. Демон охотно расписался, но посетовал, что это уже седьмой координатор за пятьдесят лет. Ведьма сказала, что давно пора запре-

тить полусознательным работать в госучреждениях, и сделала Мише инъекцию. Некоторое время юноша метался глазами, искал поддержку среди бесовских рыл, но рыла оставались безучастными, и, наконец, он опустил веки, чтобы провалиться в небытие.

VI

Чертенюк седьмого порядка Микитка аккуратно взял Мишу за локоть и медленно, как тяжелобольного, повел по коридорам. На свежескрашеных в служебный светло-зеленый цвет стенах висели таблички «не прислоняться». Старый потёртый паркет был выломан и разбросан вдоль стен. Сумрак коридоров умело скрывал глубокие морщины старой штукатурки, и она, пользуясь таким подарком судьбы, выглядела юной и белоснежной. В адской канцелярии вот уже тысячу лет полным ходом шел ремонт, на завершение которого никто не надеялся.

Микитка чертовски устал и был в скверном расположении духа. Он по привычке тараторил, но как-то бездумно, нехотя. Его вертялый хвост свисал, как мокрая тряпка, и тащился за ним по полу, собирая пыль.

— Эх, Миша!.. Это хорошо, что сегодня моя смена! Я тебя в лучшем виде доставлю. Без приключений. Другие, знаешь, издеваются, проказничают. А я нет, — жалостливо сказал он.

Миша безразлично плелся мимо запертых кабинетов и темных лестничных пролетов, по пустым коридорам и рекреациям. Рабочий день давно закончился. За окнами стемнело, и лишь гора Гекла освещала бордовыми искрами черное небо над Дитом.

— Меня попросили остаться на часик-другой, чтобы проводить тебя без лишнего шума. А что? Сверхчасовые нам прилично оплачивают! — печально рассуждал Микитка. — Да и не могу я тебя вот так бросить. Юленька просила, Лидия Петровна...

Чертенюк умолк, испугавшись, что сболтнул лишнее, и осторожно покосился на Мишу. Юноша не обращал внимания на его болтовню. Чертенюк нажал кнопку вызова, но ждать не пришлось. Лифт стоял на этаже. К стенам кабины были прикручены тяжелые канделябры в виде драконов. Позолота на подсвечниках облетела. Одна из четырех электрических свечей хитро подмигивала и как бы намекала: «Вот возьму и погасну». Микитка вновь нажал кнопку, и лифт отправился на восемьдесят второй подземный этаж.

Нижние этажи были полностью отведены под архивы. Канцелярская братия редко заглядывала в эти трущобы. На восемьдесят втором царили мрак и гробовая тишина. В преисподней экономили на всем, в том числе и на электричестве. На ночь свет отключали. Коридор слабо освещала дежурная лампа возле лифта.

— Кабинет второй налево. Можешь не стучать. Самуил Апполионович в курсе, — сказал чертенюк и вильнул хвостом. — Ну, бывай.

Микитка последний раз с жалостью взглянул на Мишу, сжал кулачки — держись, мол парень, не унывай! — и умчал наверх. Миша без стука вошел в кабинет номер 666/4. За столом в полутьме дремал бес четвертого порядка Самуил Апполионович Анненберг.

— Михаил! Входите! — тут же проснувшись, крикнул бес и схватил телефонную трубку. — Зиночка, у меня посетитель. Принесите, пожалуйста, кипятку. Будем чаевничать.

Самуил Апполионович пришел в четвертый архив чертенюком седьмого порядка в те далекие времена, когда верхние этажи занимала адская гимназия. Он был одним из старейших работников канцелярии. Когда Винный попал в ад, Самуил Апполионович уже сдал экзамены на беса и делал успешную карьеру. Он блестяще начал и

всего за несколько сотен лет дослужился до четвертого порядка, однако потом в нём что-то сломалось. Никто не знал причины столь резких перемен. Поговаривали, что он повздорил с кем-то из высших чинов, чуть ли не с самим Сатаной. Так или иначе, выше бес не поднялся и, как вековая пыль, осел в архивах.

— Ах, Михаил! — добродушно сказал бес. — Вам решительно повезло, что вы попали в архив! Скажу вам по секрету — здесь есть места, где можно побыть наедине с собой.

В кабинет вошла Зиночка. В руках она держала поднос. На нем стояли два стакана с чаем.

— Самуил Апполинович, вы его и правда чаем напоите. В последний раз. Я уж все приготовила, — сказала она, стараясь не смотреть на Мишу, и вышла.

— Хорошо, Зина, хорошо. Не зверь же! Сам понимаю, — прошептал ей вслед бес и обратился к Мише. — Вам сколько сахара?

— Четыре, — ответил Миша, уставившись в пол.

— Я тоже сладкий люблю, — сказал Самуил Апполинович и достал из стола папку. — Михаил, проблемы четвертого вы знаете лучше меня. Переезжаем! Выбились из сил. Крепкие руки и светлая голова у нас на вес золота. Таких балбесов присылают, что хоть волколаком вой! Недавно один чуть весь архив не спалил. Теперь лампы запретили, работаем с фонариками. Вы, друг сердечный, подпишите вот здесь. Пустая формальность, и всё же.

Бес бросил на стол бланк рабочего договора. Миша, не читая, подписал и сделал глоток крепкого горячего чая. Он, как губка, впитывал безмятежность канцелярского подземелья. Огромные зеркальные шары воспоминаний ещё вращались в его сознании, но стоило пристально взглянуть на их поверхность, как они тут же разлетались на сотни осколков, собрать которые он уже не пытался. Его вполне устраивал этот бестолковый ка-

лейдоскоп прошлого. Он не потерял памяти, нет, он просто смотрел назад безучастно, как бы со стороны. «А как ещё быть с тем, чего не вернуть?» — вспомнил Миша фразу козлоногого и добавил: «Да и вообще, стоит ли об этом думать?». Он сделал еще глоток и решил больше не возвращаться к мыслям о прошлом. Они были чужими, и он прогнал их.

— Допивайте, и нам пора, — сказал Самуил Апполионович и указал хвостом на небольшую черную дверь.

Миша поставил стакан, уверенно подошел к двери и открыл её. Из темноты дохнуло сыростью. Возле входа на конторке лежал карманный фонарик.

— Здесь хранятся договоры о купле-продаже душ. Все документы должны быть читаемыми, имена, фамилии — не испорчены сыростью и гниением. Пересмотрите все стеллажи с 82-го по 7013-й, — скороговоркой выпалил бес — Ваш рабочий день длится двенадцать часов с двумя перерывами. Семь и девять минут. Батарейки для фонарика. Вот, держите. Новенькие. Хватит лет на триста. Всего хорошего.

Миша взял фонарик и отправился в непроглядную тьму.

— Слава Богу, один, — подумал он. — Слава Богу.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Андрей Гуцин. Стрела Зенона</i>	5
<i>Игорь Шестков. В музее</i>	5
<u>Анатолий Николин.</u> Монета Харону	53
<i>Владимир Порудоминский. Музей Анны Франк</i>	84
<i>Станислав Бельский. И другие неприятности</i>	94
<i>Борис Марковский. Уравнение Дирака</i>	136
<i>Людмила Загоруйко. Гиацинты и Сарабанда</i>	143
<i>Григорий Вахлис. Докопаться до червей</i>	168
<i>Михаил Окунь. Последняя цифра на свете</i>	173
<i>Елена Мордовина. Профнепригодность</i>	173
<i>Марк Зайчик. Судьба Льва Иваныча</i>	195
<i>Геннадий Кацов. Метро. Теракт</i>	212
<i>Александр Моцар. Селёдка</i>	218
<i>Олег Никоф. Точка невозврата</i>	226
<i>Александр Спренцис. Арабески</i>	232
<i>Сергей Королёв. Четвертый архив</i>	240

Літературно-художнє видання

СЕРІЯ «Бібліотека “Крещатика”»
Заснована у 2023 році

**МУЗЕЙ ОДНОГО
РАССКАЗА**

Антологія

(російською мовою)

Макет обкладинки і верстка
Друкарський двір Олега Федорова
Формат 60x84 1/16. Наклад 200 прим. Зам. № 4057
Папір 80 офсет. Друк цифровий. Ум. друк. арк. 19,5
Гарнітура «Cambria».
Підписано до друку 18.04.2025 р.

Видавець Федоров О. М.,
«Друкарський двір Олега Федорова»
Адреса: а/я 24, Київ-205, 04205, Україна,
e-mail: relaks-oleg@ukr.net

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 3668 від 14.01.2010 р.

Віддруковано в друкарні ТОВ «7БЦ»
Адреса: 07400, Київська обл.,
м. Бровари, б-р Незалежності, 2/148
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 5329 від 11.04.2017 р.

«Прогулка по музею... по несуществующему, призрачному музею... путешествие по метамирам — очевидная метафора внутренней жизни. Особенно часто нас заносит в два мира, в зал страхов и ужасов, там материализуется и случается то, чего мы больше всего боимся, и в зал исполнения наших тайных желаний. Иногда обе эти сферы непостижимым образом соединяются, превращаясь в одно многосложное пространство...»

И. Шестков, «Музей»



**ДРУКАРСКИЙ ДВІР
ОЛГА ОВДОРОВА**



9 786178 484057